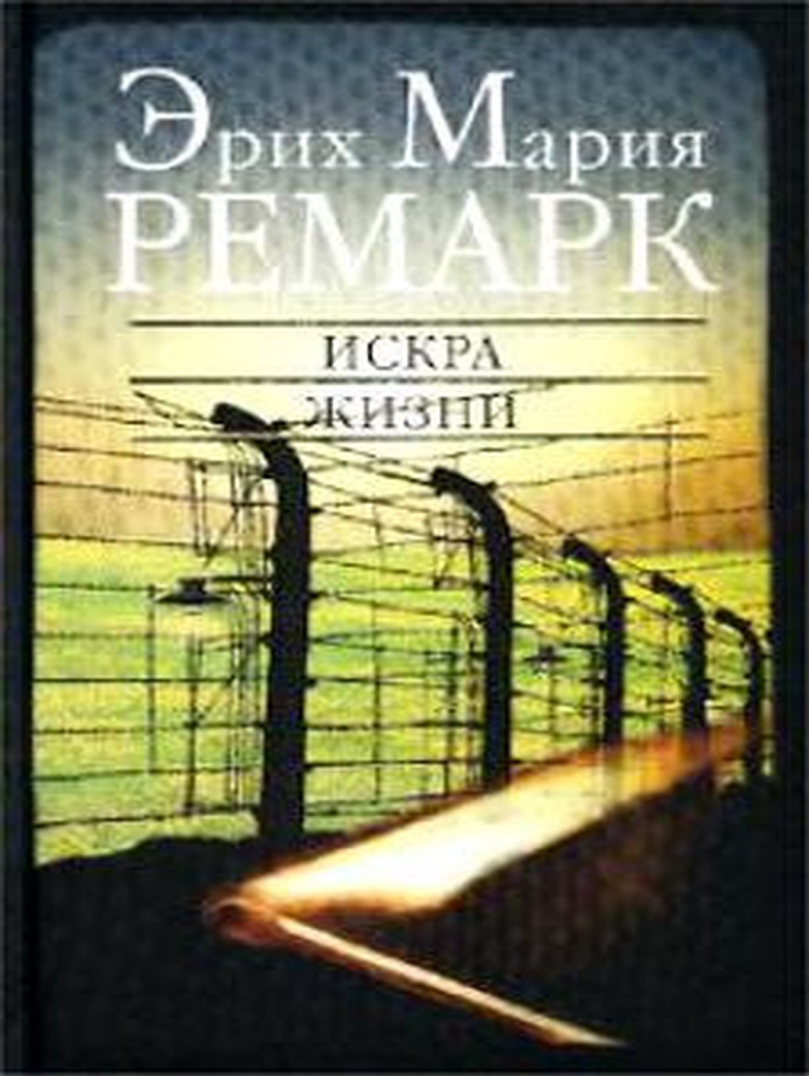
Эрих Мария
РЕМАРК
ИСКРА
ЖИЗНИ

Искра жизни
Эрих Мария Ремарк

Эрих Мария Ремарк. Искра жизни
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

XXII
XXIII
XXIV
XXV

Эрих Мария Ремарк
Искра жизни

I

Скелет под номером пятьсот девять медленно приподнял голову и открыл глаза. Он не понимал, забытье это или просто сон. Здесь между ними особой разницы не было. И то и другое означало погружение в глубинные трясины, из которых, казалось, уже ни за что не выбраться наверх: голод и изнеможение давно уже сделали свое дело.

Пятьсот девятый лежал и настороженно прислушивался. Это было старое лагерное правило; никто не мог знать, с какой стороны надвигается опасность, но пока ты замер, всегда есть шанс, что тебя не заметят или примут за мертвого. Простой закон природы, по которому живет любая букашка.

Он не услышал ничего подозрительного. Перед ним — полусонные охранники на башнях с пулеметами, сзади него — тоже все спокойно. Он осторожно повернул голову и оглянулся.

Концлагерь Меллерн мирно дремал под солнцем. Большой плац для переклички, который эсэсовцы в шутку называли «танцплощадкой», был пуст. Только на мощных деревянных сваях-

крестах висели четверо с завязанными за спиной вывернутыми руками. Их так высоко подвесили на веревках, что ноги не касались земли. Два кочегара крематория забавлялись, кидая в них из окна кусочками угля. Но ни один из четырех вот уже полчаса не подавал признаков жизни.

Бараки трудового лагеря выглядели безлюдными. Внешние коммандос еще не вернулись. По улице сновало только несколько дневальных. Слева, у больших входных ворот, перед бункером для штрафников сидел, потягивая кофе, шарфюрер СС Бройер. Ему специально поставили на солнце круглый столик и плетеное кресло. Весной 1945 года хороший кофе в зернах был редкостью.

Только что Бройер удушил двух евреев, которых шесть недель гноили в бункере. Пожилой еврей его просто раздражал, а тот, что помоложе, оказался упорнее — он еще довольно долго брыкался и кряхтел. Бройер посчитал свой поступок филантропическим деянием, заслуживающим компенсации. Дежурный передал ему к кофе еще тарелку с пирожными «баба». Бройер ел медленно, с удовольствием. Больше всего он любил изюм без косточек, которым обильно было нашпиговано тесто. Вяло усмехнувшись, Бройер прислушался к угасавшим звукам лагерного ор-

кестра, который репетировал за садами. Звучали «Розы с юга», любимый вальс коменданта лагеря оберштурмбанфюрера Нойбауэра.

Пятьсот девятый находился на противоположной стороне лагеря, у деревянных бараков — от большого трудового лагеря их отделял забор из колючей проволоки. Эти бараки называли Малым лагерем. Здесь держали узников, которые настолько ослабели, что не могли больше работать. Они попадали туда, чтобы умереть. Поэтому бараки всегда были переполнены. Нередко умирающие лежали друг на друге даже в коридорах или же издыхали под открытым небом. В концлагере Меллерн не было газовых камер, что являлось предметом особой гордости коменданта. Он с радостью подчеркивал, что в Меллерне люди умирают естественной смертью.

Официально Малый лагерь назывался щадящим отделением. Однако лишь немногие узники находили в себе силы, чтобы продержаться в этом «щадящем» режиме более одной-двух недель. Такая немногочисленная, но упорная группа обитала в двадцать втором бараке. С некоторой долей мрачного юмора они называли себя ветеранами. Пятьсот девятый был в их числе. Четыре месяца назад его доставили в Малый лагерь, и

ему самому казалось чудом, что он все еще жив.

Черный дым тянулся над крематорием. Ветер гнал его в направлении лагеря, и клубы медленно опускались над бараками. Они пахли чем-то жирным и сладковатым, вызывая тошноту. Даже после десяти лет пребывания в лагере Пятьсот девятый так и не сумел привыкнуть к этому запаху. Сегодня в этих клубах дыма среди прочих был и прах двух ветеранов — часовщика Яна Сибельского и университетского профессора Йоеля Буксбаума. Оба умерли в двадцать втором бараке. У Буксбаума не было трех пальцев на руке, семнадцати зубов, ногтей пальцев на ногах и части полового члена. Всего этого он лишился в ходе «перевоспитания в полезного человека». На культурных вечерах в казарме СС идея насчет полового члена вызывала дикий хохот. Она пришла в голову недавно прибывшему в лагерь шарфюреру Гюнтеру Штейнбреннеру. Просто, как все великие затеи, укол высокопроцентной соляной кислотой — вот и все. В результате Штейнбреннер сразу снискал себе уважение коллег.

Мартовский послеобеденный час оказался мягким, пригревало ласковое солнышко, но Пятьсот девятый никак не мог согреться, хотя кроме собственных на нем были вещи трех дру-

гих — куртка Йозефа Бухера, пальто старьевщика Лебенталя и драный свитер Йоеля Буксбаума, который удалось перехватить в бараке, прежде чем забрали труп. Но когда рост метр семьдесят восемь, а вес — менее семидесяти фунтов, не согревают и самые теплые меха.

Пятьсот девятый имел право полежать под солнцем еще полчаса. Потом надо вернуться в барак, чтобы уступить взятые «напрокат» вещи вместе с собственной курткой тому, кто дожидался своей очереди. Такая была договоренность между ветеранами. С окончанием холодов некоторые в этом больше не нуждались. Они были настолько изможденны, что после страданий зимой желали только одного — спокойно умереть в бараках. Но старший по команде Бергер следил за тем, чтобы теперь каждый, кто еще мог ползать, хоть некоторое время провел на свежем воздухе. Следующим шел Вестгоф, за ним — Бухер. Лебенталь отказался; у него было более важное дело.

Пятьсот девятый снова посмотрел назад. Лагерь находился на возвышенности, поэтому сквозь колючую проволоку сейчас видно весь город. Это был древний город со многими храмами и валами, с липовыми аллеями и извилистыми переулками, над лабиринтом крыш возвышались

колокольни церквей. На севере расположилась новая часть с более широкими улицами, центральным вокзалом, густонаселенными домами, фабриками, меде- и железоплавильными заводами, на которых работали лагерные коммандос. Дугой извивалась река с отражавшимися в ней мостами и облаками.

Пятьсот девятый опустил голову. Даже мгновение было тяжело держать ее высоко. Вид дымящихся фабричных труб в долине только обострял чувство голода.

Причем не только в желудке, но и в голове. Желудок на протяжении многих лет был приучен к этому постоянному ощущению, утратив любое другое, кроме непроходящего глухого желания поесть. Голод в мозгу еще страшнее. Он никогда не смягчался, вызывал галлюцинации, терзал человека даже во сне. Так Пятьсот девятому потребовалось целых три зимних месяца, чтобы изгнать воспоминание о жареной картошке. Он везде ощущал ее запах, даже в вонючем баракесортире. Теперь его преследовали сало и глазунья на сале.

Он бросил взгляд на никелевые часы, которые лежали рядом с ним на земле. Их одолжил Лебенталь. Они были ценным достоянием бара-

ка. Поляк Юлий Зельбер, который давно умер, несколько лет тому назад нелегально пронес их в лагерь. Пятьсот девятому оставалось еще десять минут. Но он решил ползти обратно в барак. Ему не хотелось больше дремать: никогда не знаешь, проснешься или нет. Он еще раз внимательно осмотрел лагерную улицу. Но и теперь ничего не бросилось в глаза, что могло предвещать опасность. Впрочем, он и не думал о ней. Осторожность была скорее привычкой старого лагерного «волка», нежели проявлением настоящего страха. Из-за вспышки дизентерии в Малом лагере был объявлен не очень строгий карантин, поэтому эсэсовцы появлялись здесь довольно редко.

В последнее время был значительно ослаблен контроль. Война все больше давала о себе знать, поэтому части войск СС, которые героически пытали и уничтожали беззащитных узников, были отправлены на фронт. Сейчас, весной 1945 года, в лагере оставалась лишь треть прежней численности войск СС. Внутреннее управление давно почти полностью осуществлялось самими заключенными. В каждом бараке были староста блока и несколько старших по помещениям. Рабочие коммандос подчинялись бригадирам и

мастерам, а весь лагерь — лагерным старостам. Причем все они были из числа заключенных. Их действия контролировались начальником лагеря, начальниками блоков и начальниками отрядов. Это были обязательно эсэсовцы.

Поначалу в лагере держали только политических заключенных. Потом с годами из провинции и переполненных тюрем города стали привозить немало уголовных преступников. Эти группы отличались друг от друга цветом матерчатых треугольников, которые кроме номеров нашивались на одежду всех узников. Матерчатые уголки политических заключенных были красного цвета, уголовников — зеленого. Евреи носили еще желтый уголок, поэтому оба треугольника образовывали звезду Давида.

Пятьсот девятый натянул на спину пальто Лебенталя и куртку Йозефа Бухера и пополз к бараку. Он ощутил большую усталость, чем обычно. Силы его были на исходе, казалось, земля под ним пошла ходуном. Он замер, закрыл глаза и набрал в легкие воздуха, чтобы чуточку передохнуть. В этот момент в городе завыли сирены.

Поначалу их было только две. А вскоре уже гудел весь расположенный внизу город. Сирены выли с крыш и улиц, с башен и фабрик. Город

распластался под солнцем, как парализованный зверь, который видит свою надвигающуюся смерть, но не способен от нее убежать. Сирены и паровые свистки пронзали небо, в котором все было тихо.

Пятьсот девятый мгновенно прижался к земле. При объявлении воздушной тревоги запрещалось выходить из бараков. Он мог бы вскочить и побежать, но для этого требовались силы, а их-то у него не было. К тому же до барака было достаточно далеко, да и какой-нибудь новенький нервный охранник мог открыть по нему огонь. Пятьсот девятый был похож на человека, замертво рухнувшего на месте. Такое случалось нередко и никого не удивляло. Воздушная тревога ведь продлится недолго. За последние месяцы ее объявляли в городе чуть ли не через день, причем ничего особенного не происходило. Самолеты пролетали мимо: их целью были Ганновер и Берлин.

Завыли и лагерные сирены. Некоторое время спустя — повторная воздушная тревога. Завывание то нарастало, то затихало, словно на гигантских граммофонах со скрежетом раскручивались бракованные пластинки. К городу приближались самолеты. Пятьсот девятому и это

было знакомо, но происходящее по ту сторону колючей проволоки его не касалось. Непосредственным противником был ближайший к нему пулеметчик, который в любой момент мог заметить, что Пятьсот девятый жив.

Он мучительно вздохнул. Спертый воздух под пальто казался ему черной ватой. Он лежал в очень неглубокой лощине, как в могиле, и постепенно уверовал в то, что это действительно его могила и что он никогда уже не сможет из нее выбраться, что это уже конец и он останется здесь лежать и умрет наконец-то во власти последней слабости, с которой так долго боролся. Он попробовал было сопротивляться, но все бесполезно; он еще острее ощутил странное смиренное предчувствие, которое распространялось в нем и вне его, словно все вдруг застыло в ожидании —и город, и воздух, и даже свет. Это как в первый момент солнечного затмения, когда в красках угадываются тускнеющий налет свинца и смутное представление о лишенном солнца мертвом мире — пустота, бездыханное ожидание: еще раз пройдет смерть мимо или нет.

Удар был несильным, но неожиданным. Он последовал с той стороны, которая по сравнению с любыми другими казалась ему наименее

вероятной. Пятьсот девятый ощутил этот удар как толчок прямо в живот глубоко из-под земли. Одновременно на завывание извне наложился высокий металлический стремительно нараставший свист. Он напоминал звуки сирен и вместе с тем резко отличался от них. Пятьсот девятый не мог понять, что было раньше — удар из-под земли или свист с последующим разрывом. Но он точно знал, что ни того, ни другого раньше при авианалетах не было. Когда же это повторилось еще ближе и сильнее, над и под ним, ему сразу стало ясно, что это такое: самолеты впервые не пролетели мимо. Они бомбили город.

Вновь задрожала земля. Пятьсот девятому показалось, что подземные резиновые дубинки обрушили на него всю свою мощь. Вдруг он полностью сбросил с себя оцепенение. Смертельная усталость развеялась, как дым в порыве ветра. Каждый толчок из-под земли отзывался в голове. Некоторое время он еще лежал неподвижно, затем приподнял пальто настолько, что смог разглядеть распластавшийся в долине город.

Там, внизу, медленно и игриво представал его взору словно устремленный ввысь вокзал. Он казался почти изящным, его золотой купол парил над деревьями городского парка и растворялся

в их тени. Мощные взрывы, казалось, не имели к этому никакого отношения — все развивалось слишком медленно, и грохот зенитки растворялся в этом, как тявканье терьера в раскатистом лае огромного дога. При очередном мощном толчке закачалась одна из колоколен церкви Св. Катарины. Она падала очень плавно, медленно раскалываясь на несколько кусков — словно все происходило в замедленной съемке.

Теперь между домами, как грибы, вздымались фонтаны черного дыма. Пятьсот девятый все еще не воспринимал, что вокруг творится разрушение. Ему казалось, что там, под ним, резвятся невидимые великаны. В незатронутых бомбами кварталах города, как и прежде, мирно поднимался дым из труб. В реке, как и прежде, отражались облака, а облачка от зенитных залпов окаймляли небо словно подушку, которая лопалась по всем швам, выбрасывая светло-серые пушистые хлопья.

Одна бомба упала далеко за городской чертой в луга, примыкавшие к лагерю. До сознания Пятьсот девятого все еще не доходило чувство страха. Ведь все происходило слишком далеко от того узкого мира, известного только ему одному. Страх можно было испытывать тогда,

когда горящей сигаретой прижигают глаза или мошонку; когда тебя неделями морят голодом в бункере, своего рода каменном гробу, в котором нельзя ни стоять, ни лежать; когда тебе отбивают почки на «кобыле»; когда попадаешь в застенок для пыток, что в левом крыле около ворот; когда предстаешь перед Штейнбреннером, Бройером или перед начальником лагеря Вебером. Но даже это все блекнет по сравнению с Малым лагерем, в который он попал. Надо было спешно все забыть, чтобы найти в себе силы для продолжения жизни.

Кроме того, за десять лет существования концлагеря Меллерн пытки превратились в несколько утомительную рутину — даже молодому идеалистически настроенному эсэсовцу со временем становилось скучно мучить скелеты. Когда поступали крепкие, способные на страдания новички, вспыхивал порой старый патриотический дух. Тогда по ночам снова доносилось знакомое завывание, а команды СС были чуточку оживленнее, как после сытного жаркого из свинины с картошкой и краснокочанной капустой.

Внешне все лагеря на территории Германии в военные годы производили вполне гуманное впечатление. В основном в них умерщвляли людей

газом, забивали насмерть и расстреливали или заставляли работать до изнеможения, до голодной смерти. То, что в крематории иногда сжигали и живых, объяснялось не столько злым умыслом, сколько переутомлением и тем, что некоторые скелеты уже давно утратили подвижность. Такое случалось и тогда, когда массовая ликвидация помогала быстро подготовить место для новых транспортов. Даже обречение неспособных работать на голодную смерть практиковалось в Меллерне без особых крайностей. В Малом лагере все еще было что есть, и ветераны, такие, как Пятьсот девятый, даже устанавливали «рекорды» долгожития.

Бомбардировка вдруг закончилась. Только зенитка продолжала стрелять. Пятьсот девятый выше приподнял пальто, чтобы видеть ближайшую сторожевую башню с пулеметом. На ней никого не было. Он посмотрел направо, потом налево. Но и там на башнях охранников не было видно. Команды СС спрятались в укрытии. Рядом с казармами у них были крепкие бомбоубежища. Пятьсот девятый отбросил пальто и пополз в сторону колючей проволоки. Опираясь на локти, он стал разглядывать распластавшуюся долину.

Город горел со всех сторон. То, что прежде про-

изводило умилительное впечатление, сейчас превратилось в жуткую реальность: огонь и разрушение. Желтый и черный дым, как огромный моллюск уничтожения, поселился на улицах, пожирая дома. Город пронзали языки пламени. Мощный столб искр взметнулся у вокзала. По разрушенной колокольне церкви Св. Катарины, как серые молнии, взбегали огненные языки. А позади, как ни в чем не бывало, во всем своем золотом величии возвышалось солнце. Таинственным казалось, что, как и прежде, в голубизне и белизне светило яркое солнце и что вокруг спокойно и безучастно в его мягком свете грелись леса и поля, словно неведомая темная кара проклятия коснулась только этого города.

Пятьсот девятый, забыв все правила предосторожности, смотрел вниз. До сих пор он видел город только через колючую проволоку и никогда в нем не был. Но за лагерных десять лет город стал для него чем-то большим.

Поначалу город был для него почти символом невыносимой утраты свободы. День за днем Пятьсот девятый взирал сверху вниз на город с его беззаботной жизнью, когда сам, в результате особого обращения начальника лагеря Вебера, едва мог ползать; он разглядывал город с его

церквами и домами, когда сам, с вывернутыми руками, раскачивался на кресте; он видел город с его белыми баржами на реке и мчавшимися навстречу весне автомобилями, в то время как сам из-за отбитых почек мочился кровью. Когда он рассматривал город, ему жгло глаза: было пыткой все это видеть из-за проволоки, пыткой, которая добавлялась ко всем прочим в лагере.

И тогда он возненавидел этот город. Время шло, но там ничего не менялось, несмотря на все происходившее здесь, наверху. Изо дня в день поднимался дымок из кухонных печей, обладателей которых нисколько не интересовал дым печей крематориев. На спортивных площадках и в парках города царило радостное возбуждение, в то время как сотни загнанных до смерти людей испускали последний вздох на лагерной «танцплощадке». Толпы радостных в предчувствии отдыха людей каждое лето отправлялись из города в леса, в то время как колонны заключенных тащили на себе из каменоломен тела умерших и убитых. Он ненавидел этот город, ибо считал, что он и другие узники навсегда забыты им.

Наконец стала угасать и эта ненависть. Борьба за корку хлеба заслонила все остальное, в том числе и осознание того, что ненависть и воспо-

минания в той же мере, что и боль, способны разрушить надломленное «я». Пятьсот девятый научился замыкаться в себе, забываться и ни о чем больше не думать, кроме как просто о выживании. Равнодушный неизменный образ города обернулся лишь мрачным символом неизменности и его собственной судьбы. Теперь этот город горел. Он чувствовал, как у него дрожали руки. Он пытался подавить это ощущение, но не смог. Оно даже усилилось. Вдруг все в нем стало аморфным и бессвязным. От боли раскалывалась голова. Казалось, что она полая и кто-то изо всех сил колотит по ней изнутри.

Он закрыл глаза. Он не хотел этого. Он не хотел в себе новых ощущений. Он растоптал и похоронил все надежды. Его руки скользнули на землю, и он опустил лицо на ладони. Город его больше не интересовал. Ему хотелось, чтобы солнечные лучи спокойно падали на грязный пергамент кожи, который обтягивал его череп. Он хотел дышать, давить вшей и ни о чем не думать — как уже давно делал это прежде.

Но он никак не мог с собой совладать. Дрожь не проходила. Он перевернулся на спину и вытянулся. Над ним распростерлось небо с облачками от зениток. Они быстро рассеивались, и ветер раз-

гонял их. Некоторое время он пролежал в таком состоянии, но потом и эта поза стала ему невмоготу. Небо превратилось в бело-голубую пропасть, в которую, казалось, он норовил слететь. Он повернулся и приподнялся. Он не смотрел больше на город, а смотрел на лагерь. Он впервые разглядывал его, словно ждал оттуда помощи.

Бараки, как и прежде, дремали под солнцем. На «танцплощадке» все еще раскачивались четверо на крестах. Шарфюрер Бройер исчез, но из трубы крематория продолжал валить дым. Правда, не такой густой, как раньше. Наверное, сжигали детей или дали команду прекратить работу.

Пятьсот девятый заставил себя внимательно наблюдать за всем происходящим. Это был его мир. Этот мир неумолимо продолжал существовать и без остатка владеть им. Происходившее там, по ту сторону колючей проволоки, Пятьсот девятого нисколько не касалось.

В этот момент умолкла зенитка. Ему показалось, что лопнула покрышка и из нее с шумом вырвался воздух. На мгновение померещилось, что все было, как во сне, и только теперь все происходит наяву. Резким движением он повернулся.

Нет, ничего не пригрезилось. Город оставался

на своем месте и горел. Вокруг были черный дым и разрушения, и все это имело к нему некоторое отношение. Он не мог больше разобрать, куда попала бомба. Он видел только дым и огонь, все остальное расплылось — впрочем, какое это имело значение: ведь город горел, город, который казался неизменным, неизменным и несокрушимым, как лагерь.

Пятьсот девятый вздрогнул. Вдруг почудилось, что сзади на него направлены все пулеметы со всех сторожевых вышек лагеря. Но ничего не произошло. На башнях пусто. Безлюдно и на улицах лагеря. От этого ему не стало спокойнее — дикий страх вцепился в него мертвой хваткой и резко встряхнул.

Он не хотел умирать! Теперь! Именно теперь! Он торопливо схватил свои одежки и пополз обратно. Завернув себя в пальто Лебенталя, он стонал и ругался. Протаскивая пальто из-под своих коленей, Пятьсот девятый продолжал ползти к бараку — торопливо, в каком-то возбужденном замешательстве, словно старался убежать еще от чего-то, кроме смерти.

II

В двадцать втором бараке было два крыла, и в каждом по старосте. Ветераны ютились во второй секции второго крыла. Это была самая узкая и сырая часть, но их это совсем не волновало. Главным было то, что они здесь все вместе. Это придавало каждому силы. Смерть считалась такой же инфекцией, как тиф, а в одиночку при всеобщем море, хочешь того или нет, и подыхать легче. Вместе проще было сопротивляться невзгодам: если у кого-то опускались руки, товарищи помогали ему выстоять. Ветераны в Малом лагере жили дольше потому, что у них было больше еды, они продолжали жить, так как сумели сохранить отчаянную толику сопротивляемости.

В «ветеранском» углу сейчас жило сто тридцать четыре скелета, хотя площадь была рассчитана на сорок. Кровати из досок, по четыре яруса в высоту, голые или со старой гнилой подстилкой. Было лишь несколько грязных одеял, за которые, когда умирал их обладатель, разгоралась ожесточенная борьба. На каждой кровати лежало не меньше трех-четырех человек. Даже для скелетов

это было слишком тесно, ибо плечевые и тазовые кости не усыхали.

Чуть больше места получалось, если спать на боку, как сардины в банке. Тем не менее по ночам довольно часто слышался глухой стук — кто-нибудь во сне падал с досок на пол. Многие спали сидя на корточках; у кого вечером умирал товарищ, мог считать себя счастливчиком. Умерших выносили из барака, и счастливчик, правда, до прибытия пополнения, мог свободнее вытянуться хоть на одну ночь.

Ветераны облюбовали себе угол слева от двери. Их оставалось еще двенадцать человек. Два месяца назад было сорок четыре. А доконала их зима. Все они понимали, что наступил последний этап. Рационы постоянно уменьшались, иногда в течение одного-двух дней вообще нечего было есть. Тогда кучи покойников возвышались около барака.

Из двенадцати один рехнулся, вообразив себя немецкой овчаркой. У него больше не было ушей. Ему их отгрызли во время дрессировки эсэсовские собаки. Самого юного, мальчика из Чехословакии, звали Карел. Его родители погибли, их прахом удобрял картофельное поле в деревне Вестлаге какой-нибудь благочестивый крестья-

нин. Ведь пепел сожженных в печах крематория фасовали по мешкам и продавали как искусственное удобрение. Оно было богато фосфором и кальцием. Карел носил значок политического заключенного. Ему было одиннадцать лет.

Самому старому ветерану было семьдесят два года. Он был евреем, боровшимся за право носить бороду. Борода имела отношение к его религии. Хотя эсэсовцы ему это запретили, он снова и снова пытался ее отращивать. Поэтому в лагере он каждый раз попадал на «кобылу», где его жестоко избивали. В Малом лагере повезло: здесь контроль был не такой строгий. Эсэсовцы страшно боялись вшей, дизентерии, тифа и туберкулеза. Поляк Юлиус Зильбер назвал старика Агасфером, потому что он пережил без малого дюжину голландских, польских, австрийских и немецких концлагерей. Сам Зильбер умер от тифа, возродившись кустом примулы в саду коменданта Нойбауэра, которому пепел покойного достался бесплатно; а вот имя Агасфер осталось. В Малом лагере лицо старика осунулось, но зато выросла борода, ставшая рассадником нескольких поколений породистых вшей.

Старостой крыла секции был Эфраим Бергер, в прошлом врач. Его профессия была очень кстати,

потому что смерть не отходила от порога барака. Зимой, когда скелеты в гололед падали и ломали себе кости, он сумел кое-кого спасти, накладывая им шины.

В госпиталь из Малого лагеря никого не брали. Там лечили только трудоспособных. В Большом лагере гололед зимой также не представлял особой опасности. Дело в том, что в самые неблагоприятные дни улицу посыпали пеплом из крематория. И вовсе не из внимания к заключенным, а для того, чтобы сохранить природную рабочую силу.

Бергер был одним из немногих заключенных, который получил разрешение покидать Малый лагерь. Несколько недель он проработал в морге крематория. Старосты помещений, как правило, могли не работать, но врачей не хватало. Поэтому его туда и откомандировали. Для барака это было выгодно. Через дежурного по лазарету, с которым Бергер был давно знаком, иногда удавалось получать лизоль, вату, аспирин; был и флакон йода, который он прятал под своей соломенной подстилкой.

Однако самым полезным из ветеранов был Лео Лебенталь. Он поддерживал тайные связи с черным рынком лагеря и, по некоторым сведениям,

даже кое с кем за его пределами. Как ему удавалось, точно не знал никто. Было известно только, что отношение к этому имели две проститутки из расположенного неподалеку от города заведения «Летучая мышь». Молва утверждала, что причастен был еще один эсэсовец. Но об этом никто толком ничего не знал. Лебенталь же словно и рот воды набрал.

Он торговал всем, чем угодно. Через него можно было получить сигаретные бычки, морковь, иногда картошку, кухонные отбросы, кости, а порой и ломоть хлеба. Он никого не обманывал. Главным для него был оборот. Ему и в голову не приходило тайно делать запасы для самого себя. Торговля, а не то, чем он торговал, помогала ему остаться живым.

Пятьсот девятый пролез через порог двери. Падавшие со спины косые лучи солнца на мгновение залили его уши восковым и желтым светом на фоне темного тела.

— Они бомбили город, — проговорил он, тяжело дыша.

Ему никто не ответил. Пятьсот девятый ничего не мог разглядеть. В бараке после наружного света казалось еще темнее. Он закрыл и открыл глаза.

— Они бомбили город, — повторил он, — Вы разве не слышали?

И на этот раз никто не откликнулся. Теперь рядом с дверью Пятьсот девятый увидел Агасфера. Взъерошенные волосы спадали на лицо в шрамах, на котором сверкали испуганные глаза. Он сидел на полу и гладил овчарку. Она рычала от страха.

— Гроза, да и только! Тихо, Волк, тихо!

Пятьсот девятый пополз дальше в глубь барака. Он никак не мог понять, почему вокруг такое равнодушие.

— Где Бергер? — спросил он.

— В крематории.

Он положил пальто и куртку на пол.

— Никто не хочет выйти наружу?

Он посмотрел на Вестгофа и на Бухера. Те молчали.

— Ты же знаешь, что это запрещено, — проговорил, наконец, Агасфер. — Пока объявлена воздушная тревога.

— Отбой уже был.

— Нет еще.

— Был, был. Самолеты улетели. Они бомбили город.

— Ты это довольно часто повторяешь, — про-

бурчал кто-то из темноты.

Агасфер поднял глаза.

— Может, в наказание за это они расстреляют пару десятков из нас.

— Расстреляют? — захихикал Вестгоф. — С каких пор здесь расстреливают?

Овчарка залаяла. Агасфер потянул ее к себе.

— В Голландии после воздушного налета они обычно расстреливали от десяти до двадцати политических. Согласно официальному объяснению, чтобы им не пришли в голову ошибочные мысли.

— Но здесь не Голландия.

— Я знаю. Просто сказал, что в Голландии расстреливали.

— Расстреливать! — просопел презрительно Вестгоф. — Ты что, солдат, чтобы выставлять такие претензии? Здесь только вешают и забивают до смерти.

— Для разнообразия можно было бы и расстрелять.

— Заткните свои дурацкие пасти, — раздался тот же голос из темноты.

Пятьсот девятый присел рядом с Бухером и закрыл глаза. Он все еще видел клубы дыма над горящим городом и слышал глухие разрывы.

— Думаете, сегодня на ужин нам дадут чего-нибудь пожрать? — спросил Агасфер.

— Черт возьми! — отозвался голос из темноты. — Что тебе еще надо? То ты хочешь, чтобы тебя расстреляли, то требуешь еды.

— Еврей должен иметь надежду.

— Надежду! — снова захихикал Вестгоф.

— А что же еще? — спросил невозмутимо Агасфер. Вестгоф поперхнулся и вдруг разрыдался. Он уже несколько дней никак не мог успокоиться из-за своей ненависти к бараку.

Пятьсот девятый открыл глаза.

— Наверное, они ничего не дадут нам сегодня поесть, — сказал он. — В отместку за бомбардировку.

— Надоел ты со своей проклятой бомбардировкой, — прокричал голос из темноты. — Заткнись же ты в конце концов!

— Здесь найдется что-нибудь поесть? — спросил Агасфер.

— О, Боже! — вопрошающий из темноты чуть не подавился от этой новой идиотской остроты.

Агасфер не обратил на реплику ни малейшего внимания.

— В лагере Терезенштадт некто по забывчивости являлся обладателем плитки шоколада. Когда

его привезли в лагерь, он спрятал шоколадку и забыл про нее. Молочная шоколадка из автомата. Да еще на оберточной бумажке был изображен Гинденбург.

— Что еще? — проскрипел голос как из преисподней. — Паспорт?

— Нет. Но благодаря этой шоколадке мы продержались целых два дня.

— Кто там никак не угомонится? — спросил Пятьсот девятый Бухера.

— Один из тех, кто прибыл вчера. На новенького. Ничего, скоро успокоится.

— Миновало, — внимательно прислушавшись, сказал Агасфер.

— Что?

— Там. Это был отбой. Последний сигнал.

Вдруг стало очень тихо. Потом послышались шаги.

— Убери овчарку, — прошептал Бухер.

Агасфер затолкал рехнувшуюся собаку между кроватями.

— Лежать! Тихо! — Он так ее отдрессировал, что та стала выполнять команды. Если бы ее обнаружили эсэсовцы, то ей, как сумасшедшей, немедленно сделали бы укол, чтобы уничтожить.

Бухер отошел от двери.

— Это Бергер.

Доктор Эфраим Бергер был маленького роста с покатыми плечами и совершенно лысой яйцеобразной головой. Глаза у него были воспалены и слезились.

— Город горит, — сказал он, входя в барак. Пятьсот девятый выпрямился.

— И что они говорят об этом там?

— Не знаю.

— Как это? Ты ведь наверняка что-нибудь слышал.

— Нет, — устало возразил Бергер. — Когда была объявлена тревога, они перестали жечь трупы.

— Почему?

— А я откуда знаю? Приказали, и все тут.

— А эсэсовцы? Ты видел, как они себя вели?

— Нет, не видел.

Сквозь ряды нар Бергер прошел вглубь. Пятьсот девятый смотрел ему вслед. Он ждал Бергера, чтобы с ним поговорить, а теперь тот казался ему таким же безучастным, как и все остальные. Пятьсот девятому это было просто не понять.

— Не хочешь выйти из барака? — спросил он Бухера.

— Нет.

Бухеру было двадцать пять лет, из которых семь лет он провел в лагере. Его отец был редактором какой-то социал-демократической газеты: достаточно, чтобы бросить сына за решетку. «Если он отсюда выйдет, то сможет прожить еще сорок лет. Сорок или пятьдесят. А вот мне уже пятьдесят. Мне, наверное, суждено прожить еще десять, самое большее двадцать лет. — Он вытащил из кармана какую-то деревяшку и стал ее жевать. — Чего вдруг полезли эти мысли?» — подумал он.

Вернулся Бергер.

— Пятьсот девятый, с тобой хочет поговорить Ломан. Ломан лежал в глубинной части барака на нижней кровати без соломенной подстилки. Ему так хотелось. Он страдал острой формой дизентерии и не мог больше вставать. Он считал, что так будет опрятнее. Но так опрятнее не было. Однако все к этому уже привыкли. Почти у каждого был понос. Для Ломана это было пыткой. Он умирал и словно извинялся каждым судорожным позывом своих внутренностей. Его лицо было таким землисто-серым, что он казался бескровным негром. Он повел рукой, и Пятьсот девятый склонился над ним. Глазные яблоки у Ломана светились желтоватым цветом.

— Видишь это? — прошептал он, широко рас-

крыв свой рот.

— Что? — спросил Пятьсот девятый, рассматривая синее нёбо.

— Сзади справа — здесь золотая коронка.

Ломан повернул голову в направлении узкого окна.

— Да, — проговорил Пятьсот девятый. — Вижу. — Хотя он, признаться, ничего не видел.

— Выньте ее.

— Что?

— Выньте ее, говорю! — прошептал нетерпеливо Ломан.

Пятьсот девятый посмотрел на Бергера. Тот покачал головой.

— Она ведь крепко сидит, — заметил Пятьсот девятый.

— Тогда вырвите зуб. Он уже качается. Бергер это умеет. Он в крематории этим тоже занимается. Вдвоем вам легче будет сделать.

— К чему это?

Веки у Ломана поднялись и медленно опустились. Они были как у черепахи. У него не осталось больше ресниц.

— Вы же сами знаете. Деньги. На это купите еду. Лебенталь обменяет.

Пятьсот девятый молчал. Выменять золотую

коронку на еду было небезопасно. Как правило, золотые пломбы регистрировались при поступлении заключенных в лагерь, потом в крематории их вытаскивали и собирали. Если эсэсовцам удавалось выяснить, что заактированной коронки или пломбы нет, ответственность ложилась на весь барак. Пока пломба не возвращалась на место, людей морили голодом. Человек, у которого однажды нашли пломбу, был повешен.

— Выдергивайте, — проговорил Ломан, тяжело дыша. — Это несложно.

— У нас нет щипцов.

— Тогда найдите проволоку! Согните ее!

— У нас и проволоки нет.

Глаза у Ломана закрылись. Силы оставляли его. Губы слегка подергивались, но слова уже угасали. Тело казалось безжизненным и распластанным, и только темные иссушенные губы еще оставались крохотным источником жизни, в который вливалось свинцовое безмолвие.

Пятьсот девятый выпрямился и посмотрел на Бергера. Ломан не мог видеть их лица — мешали доски нар.

— Ну как он?

— Теперь уже поздно, в общем конец.

Пятьсот девятый кивнул. Так уже часто бывало:

наступало эмоциональное опустошение. Косые солнечные лучи осветили пятерых, которые, как высохшие обезьянки, сидели на четвереньках на самых верхних нарах.

— Наверное, скоро сыграет в ящик? — спросил кто-то, зевая и потирая подмышки.

— Чего вдруг?

— Тогда его место достанется Кайзеру и мне.

— Получишь, получишь свое.

В лучах равнодушно льющегося света кожа вопрошавшего напоминала леопарда: вся была усеяна черными пятнышками. Он жевал гнилую солому. Чуть поодаль на других нарах двое выясняли отношения. Эти обладатели тонких высоких голосов обменивались бессильными ударами.

Пятьсот девятый почувствовал, как Ломан теребит его за штаны. Он немного сполз с нар и, наклонившись, прошептал:

— Выдергивайте, вам говорю. Пятьсот девятый присел на край кровати.

— Мы ничего не сможем выменять. Это слишком опасно. Никто не станет рисковать.

У Ломана задрожали губы.

— Она не должна им достаться, — с трудом проговорил он. — Только не им! Я заплатил за нее сорок пять марок. В 1929 году. Только не им!

Вырывайте зуб!

Вдруг он скривился и застонал. Кожа лица стянулась только вокруг глаз и губ — остальных мышц, которые могли бы выражать боль, уже просто не было.

Мгновение спустя тело Ломана вытянулось и вместе с вышедшим из груди воздухом вылетел жалкий звук.

— Это не твоя забота, — успокоил его Бергер. — У нас еще есть немного воды. Не беспокойся. Мы все уладим.

Некоторое время Ломан лежал без движения.

— Обещайте мне, что вы выдернете зуб, прежде чем меня унесут, — прошептал он. — Вам же это по силам.

— Хорошо, — сказал Пятьсот девятый. — Когда ты сюда попал, коронку зарегистрировали?

— Нет, только обещайте мне! Договорились?

— Договорились.

Глаза Ломана сузились и успокоились:

— Что все это означало, там, снаружи?

— Бомбы, — заговорил Бергер. — Город бомбили. Впервые. Американские самолеты.

— О-о…

— Да, — сказал Бергер тихо и твердо. — Развязка уже скоро! Близок час отмщения, Ломан!

Пятьсот девятый поднял глаза. Бергер еще стоял и не мог видеть его лицо. Он видел только его руки. Они то сжимались, то разжимались, словно душили чье-то горло, то отпускали, то придавливали опять.

Ломан не шевелился. Он вновь закрыл глаза и почти не дышал. Пятьсот девятый не был уверен, понял ли тот все, что сказал Бергер. Он поднялся.

— Он умер? — спросил кто-то на верхних нарах, не переставая чесаться. Остальные четверо сели на корточки рядом с ним, как автоматы. В их глазах зияла пустота.

— Нет.

Пятьсот девятый повернулся к Бергеру.

— Для чего ты ему это сказал?

— Для чего? — спросил Бергер, и лицо его передернулось, — Для того! Разве не ясно?

Луч света образовал вокруг его яйцевидной головы розовое облачко. В отравленном спертом воздухе казалось, что от него идет пар. Его глаза сверкали. В них было полно влаги, но такими они были почти всегда из-за хронического воспаления. До Пятьсот девятого стал доходить смысл сказанного Бергером. Но разве от этого умирающему было легче? Может быть, стало, наоборот, тяжелее. Он наблюдал, как муха села

на синевато-серый глаз одного из «автоматов», ресницы которого в ответ даже не задрожали. «А если это все-таки было утешением? — подумал Пятьсот девятый. — Наверное, даже единственное утешение для угасающего человека». Бергер повернулся и по узкому проходу двинулся назад. Ему приходилось перелезать через лежавших на полу. При этом он был похож на птицу марабу, шлепающую по болоту. Пятьсот девятый следовал за ним.

— Бергер, — прошептал он, когда они миновали проход, — ты действительно веришь в это? Во что? Пятьсот девятый не мог решиться повторить сказанное. Ему казалось, что тогда все это куда-то улетит прочь.

— В то, что сказал Ломану. Бергер посмотрел на него.

— Нет, — проговорил он.

— Нет?

— Нет. Я в это не верю.

— Но, — Пятьсот девятый прижался к дощатой стойке, — зачем ты это сказал?

— Для Ломана. Но я в это не верю. Никакого отмщения не будет, никакого — никакого — никакого!..

— А город? Город-то горит!

— Город горит. Многие города уже сгорели. Это ничего, ничего не значит.

— Как же не значит? Должно!

— Нет! Нет! — упрямо шептал Бергер с отчаянием человека, который уверовал в свою фантастическую надежду, чтобы сразу же ее похоронить. Его бледный череп раскачивался, а из покрасневших от раздражения глазных впадин сочились слезинки.

— Горит маленький город. Нам-то что до этого? Ничего! Ничего не изменится. Ничего.

— Кое-кого они расстреляют, — заметил Агасфер с пола.

— Заткнись ты там! — прокричал все тот же голос из темноты. — Заткните же, наконец, ваши проклятые глотки.

Пятьсот девятый устроился на своем месте у стены. Над его головой находилось одно из немногих окон барака. Оно было узким, высоко расположено и в это время пропускало немного солнечных лучей. Свет доходил до третьего ряда дощатых нар. Все остальные ярусы находились в постоянной темноте.

Барак построили всего год назад. Пятьсот девятый помогал его ставить. Тогда он еще принадлежал к трудовому лагерю. Это был ста-

рый бревенчатый барак, который перевезли из закрывшегося концлагеря в Польше. В один прекрасный день четыре таких разобранных барака прибыли на городской вокзал. Они пахли клопами, страхом, грязью и смертью. Из них и образовался Малый лагерь. Потом пригнали следующий транспорт нетрудоспособных, предоставленных самим себе умирающих узников с востока. На все земляные работы потребовалось только несколько дней. В барак продолжали загонять больных, немощных, калек и нетрудоспособных. Так Малый лагерь превратился в постоянно действующий.

Солнце отбрасывало сжатый четырехугольник света на стену и выхватывало поблекшие названия и имена. Это были имена бывших узников барака в Польше и Восточной Германии. Они были накарябаны карандашом на бревне или выцарапаны кусками проволоки и ногтями.

Пятьсот девятому было известно много таких. Он знал, что вершина четырехугольника именно теперь извлекает из темноты имя в рамке из глубоких линий: «Хайм Вольф, 1941». Это имя, вероятно, начертал Хайм Вольф, когда уже точно знал, что ему суждено умереть. А имя свое он обвел линиями для того, чтобы никто из род-

ственников не смог составить ему компанию. Тем самым ему хотелось окончательно закрепить тот факт, что он был и останется один. «Хайм Вольф, 1941» — линии тесные и строгие, чтобы уже никто не приписал свое имя. Это было последнее заклинание судьбы отцом, надеявшимся на спасение своих сыновей. Однако ниже, под линиями, вплотную, словно желая прилепиться, были начертаны еще два других имени — «Рубен Вольф и Мойша Вольф». Первое имя начертано вертикально и неуверенно, почерк явно ученический; второе — с наклоном и гладко, с достоинством без нажима. Рядом другой рукой написано: «Все уничтожены в душегубках».

По диагонали снизу под сучком было нацарапано на стене ногтем: «Jos, Meyer» и еще «Lt. d. R. EK 1, 2». Это означало: Йозеф Мейер, лейтенант запаса, кавалер Железного креста первого и второго класса. Видимо, Мейер никак не мог этого забыть. Ведь в первую мировую войну он был на фронте. Как офицер удостоился боевых наград. Поскольку он был еврей, ему пришлось попотеть за эти награды вдвое больше, чем любому другому. Затем, опять же потому, что еврей, он был брошен в тюрьму и уничтожен, как паразит. Он несомненно был убежден в том, что из-за его

боевых заслуг к нему была проявлена большая несправедливость, чем к другим. Но он заблуждался. Просто ему выпала более мучительная смерть. Несправедливость заключалась не в буквах, которые он присовокупил к своему имени. Они были лишь жалкой иронией.

Солнечный четырехугольник скользил дальше по стенам. Хайм, Рубен и Мойша Вольф, имена которых высветила лишь вершина четырехугольника, снова растворились в темноте. Зато солнечный луч выхватил две новые надписи. Одна состояла из двух букв: «Т.Л.». Тот, кто нацарапал их ногтем, уже не придавал такого значения собственной персоне, как лейтенант Мейер. Даже к собственному имени он относился в общем-то равнодушно. Тем не менее он не желал сгинуть абсолютно бесследно. Под его инициалами вновь появилось полное имя. Карандашом было приписано: «Тевье Лейбеш со своими близкими». А рядом, размашистее, начало еврейской молитвы каддиш.

Пятьсот девятый знал, что через несколько минут солнечный луч упадет на другое стершееся свидетельство: «Напишите Лео Сэндерсу. Нью-Йорк». Название улицы уже невозможно было разобрать. Потом шло: «Vat…» и после кусочка

сгнившего дерева: «…tot. Sucht Leo»[note 1]. Лео, видимо, удалось бежать. Только вот надпись оказалась бесполезной. Ни один из узников барака не смог разыскать Лео Сэндерса в Нью-Йорке, ибо никто не вышел пока отсюда живым.

Пятьсот девятый отсутствующим взглядом смотрел на стену. Еще когда он с кровоточащими кишками лежал в бараке, поляк Зильбер назвал ее стеной плача. Он тоже знал большинство имен наизусть и поначалу даже заключал пари, на какое из них первым упадет солнечный луч. Вскоре Зильбер умер, а имена в ясные дни, как и прежде, пробуждались к призрачной жизни, чтобы затем снова кануть в темноте. Летом, когда солнце подымается выше, высвечивались выцарапанные ниже имена, а зимой четырехугольник смещался выше. Но были еще многие другие русские, польские, еврейские имена, оставшиеся навсегда невидимыми, потому что солнечный свет до них не доходил. Барак возводили в такой спешке, что некогда было обстругивать стены. Никто даже не пытался расшифровать надписи. Кому, скажите, придет в голову такая глупая идея — жертвовать драгоценными спичками, чтобы

---

note notes: Note1
…умер. Ищите Лео *(нем.)*.

испытать еще большее отчаяние?

Пятьсот девятый отвел взгляд в сторону; ему не хотелось сейчас это видеть. Вдруг он как-то по-особенному ощутил свое одиночество, словно что-то незнакомое вызвало его отчуждение от других людей, и они перестали понимать друг друга. Какое-то мгновение он еще медлил, но потом уже не мог выдержать. Он на ощупь снова выполз наружу.

Сейчас на нем были только собственные лохмотья, и сразу стало зябко. Он выпрямился во весь рост, прислонился к стене барака и оглядел город. Он не знал точно, почему — но больше не хотелось, как прежде, сидеть на четвереньках. Он хотел стоять на ногах. Охранники на сторожевых башнях Малого лагеря все еще не появлялись. Контроль на этой стороне никогда не был уж очень строгим: кто едва ходил, сбежать все равно не мог.

Пятьсот девятый стоял у правого края барака. Рельеф лагеря определялся кривизной окружающей цепи холмов. Поэтому отсюда он мог обозревать не только город, но и казармы войск СС. Они располагались по ту сторону колючей проволоки и ряда деревьев, еще не одевших весеннюю листву. Отдельные эсэсовцы бегали пе-

ред ними взад и вперед. Другие сбились в группы, возбужденно поглядывая на лежащий под ними город. Преодолевая подъем, подкатил огромный, серого цвета автомобиль. Он остановился перед квартирой коменданта, расположенной в стороне от казарм. Нойбауэр уже ждал на улице. Он сразу же сел в машину, и та понеслась прочь. Пятьсот девятый знал, что у коменданта в городе есть дом и семья. Он внимательно провожал машину взглядом и настолько увлекся, что не услышал, как кто-то тихо прошел по дорожке между бараками. Это был староста блока двадцать второго барака Хандке, приземистый тип, предпочитавший обувь на резиновом ходу. Он носил зеленый уголок преступников-уголовников. По характеру Хандке был безобидный, но когда озлоблялся, не раз избивал людей до полусмерти.

Он не спеша подошел ближе. Завидев старосту, Пятьсот девятый мог бы, конечно, попробовать сбежать — признаки испуга обычно удовлетворяли элементарные претензии Хандке на собственное превосходство, но он этого не сделал.

— Что ты здесь делаешь?

— Ничего.

— Так уж ничего? — Хандке плюнул Пятьсот

девятому под ноги. — Ты, жук вонючий! Может, что нафантазировал, а? — Он повел льняными бровями. — Только ничего не выдумывай! Отсюда вам все равно не выбраться! Вас, политических собак, мы прежде всех пропустим через дымовую трубу.

Он снова сплюнул и повернул обратно. Пятьсот девятый затаил дыхание. Целую секунду он ощущал за спиной темную стену неприязни. Хандке не терпел его, и обычно Пятьсот девятый старался его избегать. Он наблюдал за Хандке до тех пор, пока тот не скрылся за сортиром. Угроза на него не подействовала. Угрозы были в лагере привычным делом. Он размышлял только о том, что за этим скрывалось. Хандке тоже что-то почуял, иначе бы ничего не сказал. Может, он даже слышал что-то от эсэсовцев.

Пятьсот девятый глубоко вздохнул и снова посмотрел на город. Дым голубой пеленой застилал крыши домов. Снизу сюда едва долетали глухие сигналы пожарных машин. Со стороны вокзала доносился беспорядочный грохот, словно там взорвались боеприпасы. Внизу, у горы, машину коменданта лагеря занесло на повороте. У увидевшего все это Пятьсот девятого вдруг вытянусь лицо, задрожало от смеха. Он смеялся все силь-

нее и сильнее, беззвучно и судорожно. Он не мог припомнить, когда смеялся в последний раз; он смеялся и не мог остановиться. Он осторожно оглядывался по сторонам, и поднимал свой бессильный кулак, и сжимал его, и продолжал смеяться, пока тяжелый кашель не перехватил дыхание. Это был безрадостный смех.

III

«Мерседес» мчался вниз по дороге, которая вела в долину. Рядом с шофером сидел оберштурмбанфюрер Нойбауэр. Это был грузный мужчина с рыхлым лицом, которое выдавало в нем любителя пива. Белые перчатки на широких ладонях светились в лучах солнца. Он заметил это и снял их. «Зельма, — размышлял он, — Фрейя! Дом! Никто не отвечал по телефону».

— Быстрее! — поторапливал он. — Быстрее, Альфред! Еще быстрее!

На подъезде к городу они почувствовали запах гари. Чем ближе, тем более едким и густым становился дым. У Нового рынка им встретилась первая воронка от взрыва. Здание сберегательной кассы рухнуло и горело. Приехавшие пожарные пытались спасти соседние дома, но безуспешно. Из воронки на площади пахло серой и кислотами. У Нойбауэра свело живот.

— Поезжай на Хакенштрассе, Альфред, — проговорил он. — Здесь нам не проехать.

Шофер развернул машину и помчался по широкой дуге через южную часть города. Здесь дома

с маленькими садами мирно дремали под солнцем. Ветер дул северный. Воздух был ясен. Но когда они пересекли реку, снова запахло гарью, а на улицах этот запах висел уже как тяжелый осенний туман.

Нойбауэр теребил коротко подстриженные, как у фюрера, усы. Раньше он накручивал их, как у императора Вильгельма. «Ох, уж эти спазмы в животе! Зельма! Фрейя! Прямо чудо-дом! Ну как же меня всего перекрутило, нет сил!»

Им пришлось еще дважды пускаться в объезд. Вначале бомба угодила в мебельный магазин. Снесло фасад дома; часть мебели стояла еще на этажах, остальная, разбросанная по улице, горела среди развалин. Потом им встретился салон-парикмахерская, перед которым выброшенные взрывной волной восковые бюсты растаяли и превратились в безобразные пугала.

Наконец, машина завернула на Либигштрассе. Нойбауэр высунул голову из окна. Вот и его дом! Палисадник! А вот прямо на траве терракотовый карлик и такса из красного фарфора. Никакого ущерба! Все стекла целы! Спазм в желудке прекратился. Он поднялся по ступеням и открыл дверь. «Повезло, — подумал он. — Колоссальное везение! В общем так оно и должно быть! Ну поче-

му именно со мной это должно было случиться?»

Он повесил свою фуражку на крючок из оленьих рогов и пошел в жилую комнату.

— Зельма! Фрейя! Где вы?

Никакого ответа. Тяжело ступая, Нойбауэр подошел к окну и распахнул его. В саду за домом работало двое русских заключенных. Они на мгновение подняли взгляд и продолжали прилежно копать землю.

— Эй! Большевики!

Один из русских остановился.

— Где моя семья? — прокричал Нойбауэр. Человек ответил что-то по-русски.

— Оставь свой гнусный язык, идиот! Ты ведь понимаешь по-немецки! Или я должен подойти к тебе и хорошенько объяснить?

Русский уставился на него.

— Ваша жена в погребе, — сказал кто-то из стоящих за спиной Нойбауэра.

Он повернулся. Это была прислуга.

— В погребе? Ну да, конечно. А где были вы?

— На улице, всего на минуту. Девушка стояла в дверях с раскрасневшимся лицом и сверкающими глазами, словно только что пришла со свадьбы.

— Говорят, уже сотня людей погибла, — про-

лепетала она. — На вокзале, медеплавильном заводе и еще в церкви…

— Молчать! — прервал ее Нойбауэр. — Кто вам это сказал?

— Люди, в городе…

— Кто? — Нойбауэр сделал шаг вперед. — Антигосударственные разговоры! Кто это только выдумывает?

Девушка испуганно сделала шаг назад.

— Там в городе… не я… кто-то… все…

— Предатели! Подонки! — бушевал Нойбауэр. Наконец-то он разрядил накопившееся в нем напряжение. — Банда! Свиньи! Болтуны! А вы? Что у вас там за дела в городе?

— Я… ничего.

— Убежали со службы, не так ли? Распространяете всякую ложь и небылицы! Но мы все выясним! Мы во всем разберемся! Внимательно и обстоятельно! А теперь марш на кухню!

Девушка выбежала из комнаты. Нойбауэр глубоко втянул воздух, закрыл окно. «Ничего не случилось, — подумал он. — Они наверняка в погребе. Почему мне сразу это в голову не пришло?»

Он достал сигару и закурил. Потом поправил мундир, расправил плечи, осмотрел себя в зерка-

ле и спустился вниз.

Его жена и дочь сидели рядышком в шезлонге, приставленном к стене. Над ними в широкой золотой рамке висел цветной портрет фюрера.

Погреб был оборудован как бомбоубежище в 1940 году. Нойбауэр велел построить его тогда лишь из престижных соображений. Патриотические настроения требовали подавать в таких вещах положительный пример. Никто ведь всерьез не думал о том, что Германия может подвергнуться бомбардировке. Заявление Геринга, что если, при наличии люфтваффе, вражеские самолеты отважатся на это, он готов будет сменить свою фамилию на Мейера, было воспринято каждым честным немцем вполне серьезно. К сожалению, все сложилось иначе. Типичный пример коварства плутократов и евреев: выставлять себя слабее, чем на самом деле.

— Бруно! — Зельма Нойбауэр поднялась и зарыдала.

Белокурая и дородная, она была в халате из светло-розового французского шелка с кружевами. Нойбауэр привез его в 1941 году из своего парижского отпуска. Щеки ее дрожали, а слишком маленький рот с трудом пережевывал слова.

— Все кончилось, Зельма. Успокойся.

— Кончилось… — она продолжала жевать, будто слова были для нее непомерно большими кенигсбергскими битками. — Надолго ли?..

— Навсегда. Они улетели. Налет отбит. Они больше не вернутся.

Зельма Нойбауэр поправила на груди халат.

— Кто это говорит, Бруно? Откуда ты знаешь?

— Мы сбили не меньше половины всех самолетов. Они побоятся прилететь снова.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю я, знаю. Сейчас они застали нас врасплох. В следующий раз мы будем держать позиции совсем по-другому.

Жена перестала жевать.

— И это все? — спросила она. — Это все, что ты можешь нам сказать?

Нойбауэр знал, что все не так.

— Тебе этого мало? — спросил он поэтому достаточно резко.

Жена уставилась на него. Ее светло-голубые глаза увлажнились.

— Да! — вдруг пронзительно закричала она. — Мне ого мало! Ерунда все это, да и только! И верить этому нельзя! Чего только мы не слышали! Сначала нам рассказывают, как мы сильны, что ни один вражеский самолет не достигнет

Германии, а они вдруг над нами.

Потом убеждают, что они больше не прилетят, мол, отныне мы их всех сбиваем на границах, а вместо обещанного прилетает самолетов в десять раз больше и беспрерывно воздушная тревога. Теперь они, в конце концов, добрались до нас даже здесь, ты же хвастливо объявляешь, что они больше не прилетят, мол, мы им покажем!

Как нормальный человек может во все это верить?

— Зельма! — Нойбауэр невольно бросил взгляд на портрет фюрера, подскочил к двери и захлопнул ее. — Черт подери! Возьми же ты себя в руки! — прошипел он. — Ты хочешь всех нас погубить? Что ты так кричишь, ты с ума сошла? Он стоял совсем рядом с ней. Через ее толстые плечи фюрер продолжал холодно глядеть на ландшафт Берхтесгадена. На какое-то мгновение Нойбауэр чуть не поверил, что фюрер слышал весь разговор. Зельма не видела фюрера.

— С ума сошла? — визжала она. — Кто с ума сошел? Я? Нет! Мы прекрасно жили до войны, а теперь?

Теперь? Хотелось бы мне знать, кто здесь сошел с ума? Нойбауэр схватил жену за руки и так встряхнул, о голова у нее заходила из стороны в

сторону и она смолкла. Несколько заколок выпало, волосы распустились, она поперхнулась и закашлялась. Нойбауэр выпустил ее из своих объятий, и она, как мешок, плюхнулась в шезлонг.

— Что с ней? — спросил он свою дочь.

— Ничего особенного. Мама очень возбуждена.

— Отчего? Ведь ничего не случилось.

— Как это ничего не случилось? — жена взялась за старое. — С тобой, конечно, ничего там, наверху! Но мы здесь одни…

— Тихо! Черт возьми! Не так громко! Я для того вкалывал пятнадцать лет, чтобы своим воплем ты все разом перечеркнула? Думаешь, не найдется таких, которые только и ждут, чтобы занять мое место?

— Это была первая бомбардировка, папа, — спокойно заметила Фрейя. — До сих пор ведь у нас только объявляли воздушную тревогу. Мама постепенно привыкнет.

— Первая? Конечно, первая. Надо радоваться, что до сих пор еще ничего не случилось, вместо того, чтобы кричать всякую чушь.

— Мама нервничает, но она привыкнет.

— Нервничает? — Нойбауэра раздражало спокойствие дочери. — А кто не нервничает? Думаешь, я не нервничаю? Просто надо уметь

держать себя в руках. Иначе может произойти всякое.

— Все одно! — рассмеялась Зельма. Она лежала в шезлонге, растопырив свои неуклюжие ноги. На ногах были розовые шелковые туфли. Розовый цвет и шелк она считала верхом элегантности. — Не нервничать! Привыкать! Тебе хорошо говорить!

— Мне? Почему вдруг?

— С тобой ничего не случится.

— Что?

— С тобой ничего не случится. А мы здесь в ловушке.

— Это же полная ерунда! Здесь все равны. Почему вдруг со мной ничего не случится?

— Ты чувствуешь себя в безопасности там, наверху, в своем лагере!

— Что? У нас нет таких погребов, как у вас здесь. — Это была неправда. Нойбауэр бросил сигарету и затоптал ее сапогом.

— Потому что вам они не нужны. Вы расположены вне города.

— Можно подумать, это что-нибудь да значит! Если уж бомба настигает цель, она ее поражает.

— Лагерь бомбить не будут.

— Вон как? Это что-то новое. Откуда у тебя та-

кая информация? Может, американцы сбросили листовки, сообщив об этом? Или тебя специально проинформировали?

Нойбауэр посмотрел на свою дочь. Он ожидал одобрения этой шутки. Но Фрейя перебирала бахрому плюшевой скатерти, расстеленной на столе рядом с шезлонгом. Вместо дочери ответила жена.

— Они не станут бомбить своих людей.

— Ерунда. Здесь у нас нет американцев. И англичан тоже. Только русские, поляки, всякая балканская сволочь и немецкие враги отечества, евреи, предатели и преступники.

— Они не станут бомбить русских, поляков и евреев, — произнесла Зельма с тупым упрямством.

Нойбауэр резко повернулся к ней.

— Ты знаешь массу всяких вещей, — сказал он тихо с глубокой злобой. — А теперь хочу тебе еще кое-что сказать. Они вообще не представляют себе, что за лагерь там наверху, ясно? Они видят только бараки. Они вполне могут принять их за военные бараки. Они видят казармы. Это наши казармы СС. Они видят здания, в которых работают люди. Для них это фабрики и мишени. Там, наверху, во сто раз опаснее, чем здесь. Поэтому я и не хотел, чтобы вы там жили. Здесь, внизу, нет

поблизости ни казарм, ни фабрик. Доходит это до тебя или нет?

— Нет.

Нойбауэр пристально посмотрел на жену. Зельма еще никогда не была такой. Он не понимал, какой бес и нее вселился. Это был не только и не столько страх. Вдруг он почувствовал надвигающийся разрыв с собственной семьей. И это тогда, когда им особенно важно быть вместе. Раздраженный, он снова бросил взгляд на дочь.

— Ну, а ты? — спросил он. — Ты что думаешь? Молчишь, словно в рот воды набрала.

Фрейя Нойбауэр встала. Ей было двадцать лет. Тоненькая, с лицом желтого цвета и выступающим лбом, она не была похожа ни на Зельму, ни на своего отца.

— Мне кажется, мама уже успокоилась, — проговорила она.

— Что? Как это?

— Мне кажется, она успокоилась.

Нойбауэр выдержал паузу. Он ждал, что жена еще что-нибудь выкинет.

— Ну, хорошо, — проговорил он наконец.

— Может, пройдем наверх? — спросила Фрейя.

Нойбауэр настороженно посмотрел на Зельму. Он все еще не доверял ей. Он должен был объяс-

нить жене, что ей ни в коем случае нельзя ни с кем ничего обсуждать. Даже с прислугой. Но его опередила дочь.

— Наверху будет лучше, папа. Там больше воздуха.

Он все еще пребывал в нерешительности. «Лежит передо мной, ну прямо как мешок с мукой, — подумал он. — Пора бы уж ей сказать что-нибудь разумное».

— Мне надо в ратушу. В шесть часов. Дитц позвонил, надо обсудить кое-что.

— Не беспокойся, папа. Все в порядке. Нам надо еще приготовить ужин.

— Ну, что ж, — решился Нойбауэр. Хорошо, хоть его дочь сохранила присутствие духа. На нее он мог положиться. Она плоть и кровь от его плоти и крови. Он приблизился к жене. — Ладно. Забудем все, что произошло, Зельма, а? Всякое бывает. В конце концов, это мелочь. — С улыбкой, но холодным взглядом он оглядел ее сверху вниз. — Не так ли, а?

Она молчала. Он обнял ее толстые плечи и погладил.

— Ну, а теперь пойдите и приготовьте ужин. После этого переполоха хорошо бы чего-нибудь вкусного, ладно?

Она равнодушно кивнула.

— Так-то оно лучше.

Нойбауэр почувствовал, что все кончилось. Его дочь была права. Зельма не станет больше говорить вздор.

«В конце концов, я ведь ради вас приобрел этот прекрасный дом с надежным погребом, вместо того чтобы поселиться там, наверху, рядом с грязной бандой мошенников. И я каждую неделю провожу здесь, внизу, несколько ночей. Интересы у нас одни. Поэтому нам надо быть вместе».

— Итак, приготовьте что-нибудь вкусненькое на ужин, не мне вас тут учить. И принесите сюда бутылочку французского шампанского, хорошо? Его у нас достаточно, не так ли?

— Да, — ответила жена. — Его у нас еще достаточно.

— И еще, — молодцевато сказал группенфюрер Дитц. — До меня дошли слухи, что некоторые господа намерены переправить свои семьи за город. В этом есть доля истины?

Все молчали.

— Я не могу этого допустить. Мы, офицеры СС, должны подавать пример. Если мы станем вывозить свои семьи еще до того, как будет отдан общий приказ о том, чтобы оставить город,

это может быть неправильно понято. Нытики и критиканы немедленно этим воспользуются. Поэтому я надеюсь, что без моего ведома никаких шагов в этом направлении предпринято не будет.

Стройный и импозантный, в элегантно подогнанной униформе, он смотрел на стоявших перед ним людей. Каждый из них смотрел прямо перед собой, полный решимости и непричастности к сказанному. Почти все собирались вывезти свои семьи; но об этом нельзя было прочесть ни в одном взгляде. Каждый размышлял одинаково: Дитцу легко говорить, у него не было семьи в городе. Выходца из Саксонии распирало лишь тщеславие выглядеть как прусский гвардейский офицер. А это очень просто: что не касается тебя лично, всегда можно осуществлять с безграничным рвением.

— Это все, господа, — сказал Дитц. — Еще раз хочу напомнить: уже началось массовое производство нашего новейшего тайного оружия. По сравнению с ним бомба Фау-1 — ничто. Лондон лежит в развалинах. Англия постоянно под обстрелом. В наших руках основные порты Франции. У противника огромные трудности со снабжением, и он скоро будет сброшен в море.

Эта операция уже в стадии непосредственной подготовки. Мы накопили огромные резервы. Больше я ничего не могу рассказывать, но данная информация получена из высших инстанций: через три месяца победа будет наша. Это время нам надо выстоять. — Он вытянул руку перед собой. — За работу! Хайль Гитлер!

— Хайль Гитлер! — проревела группа подчиненных.

Нойбауэр покинул, здание ратуши. «О России он вообще ничего не сказал, — подумал Нойбауэр. — О Рейне тоже. О прорыве Западного оборонительного вала и того меньше. Продержаться! Легко сказать, особенно ему. У него нет никакой собственности. Он фанатик, да и только. У него нет, как у меня, торгового дома вблизи вокзала. Он не имеет отношения к изданию „Меллерн цайтунг“. Он не владеет даже землей. А у меня все это есть. И если все это взлетит на воздух — кто мне хоть как-то это компенсирует?»

Площадь перед ратушей вдруг заполнилась людьми. В подъезде установили микрофон. Должен был выступать Дитц. С фасада взирали сверху вниз каменные, с немой улыбкой, лики Карла Великого и Генриха Льва. Нойбауэр сел в свой «мерседес». — Герман Герингштрассе, Альфред.

Торговый дом Нойбауэра был расположен на углу Герингштрассе и Фридрихсаллее. Это было крупное строение с модным салоном на нижнем этаже. Нойбауэр велел остановиться и обошел дом вокруг. Лопнуло только два стекла в витрине. Он окинул взглядом расположенные на верхних этажах конторы. Они были в черном дыму после взрыва на вокзале, но пламени не было видно. Наверное, и здесь лопнула пара стекол.

Нойбауэр постоял немного. «Двести тысяч марок, — подумал он, — вот сколько это стоило, если не больше». Он заплатил за все пять тысяч. В 1933 году дом принадлежал еврею Йозефу Бланку. Он требовал за дом сто тысяч да еще плакался, что немало на этом теряет, поэтому не отдаст дешевле. Отсидев две недели в концлагере, он продал за пять тысяч марок. «Я действовал вполне достойно, — размышлял про себя Нойбауэр. — А мог бы получить дом вообще бесплатно. Бланк подарил бы мне свой дом, после того как над ним изрядно покуражились. Я же дал ему целых пять тысяч марок. Приличные деньги. Разумеется, не все сразу. Тогда еще у меня не было столько. Но я все выплатил, как только поступили первые взносы за аренду. Бланк и с этим согласился. Легальная сделка. На добровольной основе. Но-

тариально заверена». Что Йозеф Бланк в лагере потерял глаз, сломал руку и еще кое-что — все это было достойной сожаления случайностью. Таких приказов Нойбауэр не отдавал. Его и не было при этом. Он только велел взять Бланка под стражу, чтобы его не обидели сверхусердные эсэсовцы. За все прочее отвечал начальник лагеря Вебер; просто страдающие плоскостопием неуверенно держатся на ногах.

Нойбауэр обернулся. К чему он вспомнил это? Что с ним случилось? Ведь все давно поросло быльем. Жизнь есть жизнь. Если бы он не купил этот дом, это сделал бы какой-нибудь другой член партии. И заплатил бы меньше. Или вообще ничего. Он же действовал легально. По закону. Ведь фюрер сам сказал, что верные ему люди достойны вознаграждения. Да не самую ли малость он, Бруно Нойбауэр, ухватил по сравнению с великими? Например, с Герингом или Шпрингером, гауляйтером, который был портье в гостинице, а стал миллионером. Нойбауэр никого не грабил. Он просто совершил дешевую покупку. Финансовое покрытие сделки было обеспечено. У него есть все квитанции. Все официально заверено.

Взметнулось пламя в районе вокзала. Послышались взрывы. Наверное, это были вагоны с

боеприпасами.

Красные отблески запылали над домом, словно начала сочиться кровь. «Чушь какая-то, — подумал Нойбауэр. — У меня действительно плохо с нервами». Он снова сел в машину. Жить рядом с вокзалом — это очень удобно для деловых контактов, но страшно опасно при бомбардировке; тут есть из-за чего поволноваться.

— Гроссештрассе, Альфред!

Здание редакции «Меллерн цайтунг» нисколько не пострадало. Об этом Нойбауэру уже сообщили по телефону. В редакции как раз выпустили специальный номер. Его вырывали у продавцов прямо из рук. Нойбауэр видел, как тают белые стопки газет. Один пфенниг с каждого проданного экземпляра принадлежал ему. Появились новые разносчики с новыми пачками и сразу же унеслись на своих велосипедах. Спецвыпуск давал дополнительную прибыль. У каждого разносчика было не меньше двухсот экземпляров. Нойбауэр насчитал их семнадцать. Это означало дополнительно тридцать четыре марки. По крайней мере, хоть что-то положительное есть и в авианалете на город. Полученной выручкой он мог покрыть часть расходов по замене стекол в витринах. Хотя, что он говорит? Они же были за-

страхованы. Но это — если продолжается выплата страховки. При всем нанесенном ущербе. Но они заплатят! По крайней мере, ему. Полученная же им чистая прибыль сегодня составляет тридцать четыре марки.

Он купил спецвыпуск. В нем уже был напечатан краткий призыв Дитца. Весьма оперативно. Рядом сообщение о том, что два вражеских самолета сбиты над городом, половина других над Минденом, Оснабрюком и Ганновером. Статья Геббельса о бесчеловечном варварстве — бомбить мирные города. Несколько ярких изречений фюрера. Сообщение о том, что члены гитлерюгенд отправились на поиск летчиков, выпрыгнувших с парашютом. Нойбауэр выбросил газету и зашел в табачную лавку на углу.

— Три сигары «Дойче вахт», — сказал он.

Продавец выставил целый ящик. Нойбауэр выбирал с равнодушным видом. Сигары были плохого качества. Сплошь из буковой листвы. Дома у него были сигары получше, импортные — из Парижа и Голландии. Он спросил марку «Дойче вахт» только потому, что лавка принадлежала ему. До прихода к власти ее хозяевами была еврейская фирма «Лессер и Захт». Потом лавкой завладел штурмфюрер Фрейберг. До 1936

года. Нойбауэр откусил верхушку сигары. Что он мог поделать, если Фрейберг в подпитии позволил себе предательские замечания в отношении фюрера? Как настоящий партайгеноссе он был обязан об этом донести. Вскоре Фрейберг исчез с горизонта, а Нойбауэр купил это дело у его вдовы. В порядке дружеской услуги. Он настоятельно советовал ей отделаться от фирмы, поскольку, мол, располагает информацией о планируемой конфискации собственности Фрейберга. К тому же деньги легче спрятать, чем магазин. Она была благодарна за совет и продала. Разумеется, за четверть стоимости. Нойбауэр объявил, что у него нет больше свободных денег, а все надо провернуть побыстрее. Она все поняла. Конфискации не произошло. Нойбауэр и это ей разъяснил: просто ради нее он пустил в ход свои связи. Так она сохранила свои деньги. Он честно действовал: ведь лавка действительно могла быть конфискована. Кроме того, вдова не смогла бы этим магазином управлять. Ее просто выжили бы, откупившись еще меньшей суммой.

Нойбауэр вынул сигару изо рта. Он не затягивался. Не продукт, а дрянь. Но люди покупали. Они гонялись за всем, что дымилось. Жаль, что на это были введены ограничения. Иначе

можно было бы продавать в десять раз больше. Откровенное везение. Настоящая золотая жила. Нойбауэр сплюнул. Вдруг он ощутил неприятный вкус во рту. Наверное, это от сигары. Или от чего-то еще? Ведь ничего не случилось. Нервы? Зачем только он вспомнил вдруг все эти старые истории? Давно забытый хлам! Он выбросил сигару, когда садился в машину, а две отдал шоферу.

— Вот, Альфред, пусть это доставит тебе радость сегодня вечером. А теперь поехали в сад.

Сад составлял предмет особой гордости Нойбауэра. Основная часть была засажена фруктами и овощами. Кроме того, имелись еще цветник и сарай. За всем этим следило несколько русских заключенных из лагеря. Их труд ничего не стоил. Нойбауэр считал, что они должны еще приплачивать ему. Ведь вместо того, чтобы вкалывать на медеплавильном заводе по двенадцать-пятнадцать часов в день, они у него выполняли легкую работу на свежем воздухе.

Над садом опустились сумерки. Небо на этой стороне было ясное, и луна мирно висела над яблоневыми кронами. Вскопанная земля резко пахла. На грядках завязывались первые овощи, на фруктовых деревьях набухали клейкие почки. Низкорослая японская вишня, перезимовавшая

в оранжерее, утопала в робко раскрывавшихся бело-розовых цветах.

Русские работали в противоположной части земельного участка. Нойбауэр видел и темные согбенные спины, и силуэт охранника с винтовкой, примкнутый штык которой упирался в небо. Охранник находился здесь только согласно предписанию: русские не помышляли о побеге. Да и куда им было бежать — в их-то униформе, не зная языка? Они обрабатывали грядки со спаржей и земляникой, которые Нойбауэр любил больше всего на свете. Он мог есть их до бесконечности. Пленные посыпали борозды пеплом из крематория. В бумажном мешке был пепел сожженных шестидесяти человек, в том числе двенадцати детей.

Сквозь наступавшую сумеречную синеву едва проглядывали бледные примулы и нарциссы. Они были посажены у южной стены и прикрыты стеклом. Нойбауэр наклонился. Нарциссы не пахли. Зато в сумерках благоухали невидимые фиалки.

Нойбауэр глубоко вздохнул. Это был его сад. Он сам его, как положено, оплатил. Старомодно и честно. Всю стоимость. Ни у кого этот сад не отнимал. Это было его место. Место, где он каждый раз

становился человеком после самоотверженного служения отечеству и заботы о семье. Глубоко удовлетворенный, Нойбауэр осмотрелся. Взгляд скользил по беседке, заросшей жимолостью и вьющимися розами, по изгороди из самшитового дерева, искусственному гроту из туфа и кустам сирени; он вдыхал терпкий воздух, уже наполненный весной; нежно прикасался к перевязанным соломой стволам персиковых шпалер и груш; потом открыл дверь туда, где обитали его животные.

Решив не беспокоить кур, устроившихся, как старые девы, на насесте, и двух молодых свинок, спавших в соломе, он сразу направился к кроликам.

Это были белые и серые ангорские кролики с длинной шелковистой шерстью. Они спали, но когда он включил свет, зашевелились. Он пальцем сквозь проволочную сетку погладил их мех, который был мягче, чем все, что ему было известно. Он просунул в клетки капустные листья и свекловичный жмых.

— Мукки, — позвал Нойбауэр, — поди сюда, Мукки…

Тепло сарая убаюкивало. Оно было, как далекий сон. Запах животных нес с собой забытую

невинность.

Это был малый мир сам по себе, мир почти детского бытия, далекий от бомб, интриг и борьбы за существование — листья капусты и свекла, зачатие пушистого потомства и появление детенышей на свет. Нойбауэр продавал шерсть, но он не забил ни одного животного.

— Мукки, — снова позвал он.

Крупный белый самец нежными губами взял лист капусты из его рук. Красные глаза кролика горели, как светлые рубины. Нойбауэр почесал ему шею. Когда он наклонялся, сапоги его скрипели. Что там говорила Зельма? Мол, вы там в лагере чувствуете себя в безопасности? Кто может сейчас этим похвастать? Да и было ли такое вообще?

Он просунул сквозь проволочную сетку еще несколько капустных листьев. «Прошло уже двенадцать лет, — подумалось ему. — До прихода НСДАП к власти я ведь был секретарем на почте, получал всего двести марок в месяц. На эти деньги нельзя было ни жить, ни умереть. Теперь у меня кое-что есть. И я не хочу снова всего лишиться».

Он взглянул в красные глаза самца. Сегодня все сложилось удачно. Так бы и дальше. Возможно,

эта бомбардировка досадное недоразумение и не более того. Такое случается. С военной точки зрения город особого значения не имел. Иначе его бы уже разрушили. Нойбауэр почувствовал, что на душе стало спокойней.

IV

— Проклятая вонючая банда! Еще раз рассчитайтесь!

Рабочие коммандос Большого лагеря по команде «смирно» выстроились на плацу десятками, по блокам. Уже стемнело, и в сумеречном свете заключенные в своих полосатых одеяниях выглядели, как огромное стадо до смерти загнанных зебр.

Перекличка длилась уже более часа, но все как-то не ладилось. Виной тому был воздушный налет. Коммандос, работавшие на медеплавильном заводе, несли потери. Одна бомба угодила в их отделение, погибло и было ранено несколько человек. Кроме того, надзиравшие эсэсовцы с перепугу открыли беспорядочную стрельбу по заключенным, которые хотели спрятаться в укрытие. Эсэсовцы боялись, что те попытаются бежать. В итоге погибло еще на полдюжины людей больше.

После бомбардировки заключенные стали вытаскивать из-под мусора и обломков тела погибших товарищей или то, что от них осталось.

Для переклички это было очень важно. Хотя жизнь узников ценилась дешево и эсэсовцы относились к ней равнодушно, полученная при перекличке цифра, независимо от того, жив человек или мертв, должна была быть абсолютно точной. Бюрократию не смущало, трупы это или живые люди.

Коммандос тщательно собирали всех, кого могли найти. Одни приносили руку, другие ноги и оторванные головы. Пара носилок, которые удавалось сколотить, предназначались для раненых, у которых отсутствовали конечности или были вспороты животы. Остальных раненых поддерживали или кое-как волокли на себе их товарищи. Бинтов не было, истекавших кровью как-то перевязывали проволокой и бечевкой. А лежавшим на носилках раненным в живот приходилось поддерживать руками собственные внутренности.

Колонна с огромным трудом карабкалась в гору. Пока шли, умерли еще двое. Их трупы волокли с собой дальше. Это привело к инциденту, здорово подмочившему престиж шарфюрера Штейнбреннера. У лагерных ворот, как всегда, выстроился оркестр, чтобы исполнить марш «Фридрих, король». Было приказано играть па-

радный марш, под который, повернув голову направо и оттягивая носок, коммандос промаршировали мимо коменданта лагеря, офицера СС Вебера и его штаба. На носилках тяжелораненые, кося глазами вправо, даже умирая, старались предстать в более строгой позе. Только мертвые не отдавали больше честь. Вдруг Штейнбреннер заметил, что у одного человека, которого тащили двое других, повисла голова. Не обратив внимания, что и ноги этого человека волочились по земле, Штейнбреннер растолкал шеренги и ударил беднягу револьвером между глаз. От удара голова умершего завалилась назад и отпала челюсть; казалось, что окровавленный рот последним причудливым движением тянулся к этому револьверу. Остальные эсэсовцы от души хохотали, в то время как молодой службист переполнялся яростью. Он почувствовал, что тем самым утрачена часть его реноме, приобретенная в результате применения соляной кислоты на Йоеле Буксбауме. Значит, уже ближайшем будущем придется подумать о восстановлении подмоченной репутации.

Марш от медеплавильного завода наверх продолжался, поэтому перекличка началась позже обычного. Мертвые и раненые, как всегда, были

аккуратно положены рядом с шеренгами блоков. Даже тяжелораненых не поместили в лазарет и не стали делать им перевязку; перекличка была важнее.

— Вперед! Еще раз! Если и на этот раз ничего не выйдет, придется подсобить!

Начальник лагеря, эсэсовец Вебер, сидел верхом на деревянном стуле, который ему вынесли на плац, где проходила перекличка. Ему было тридцать пять лет, он был среднего роста и очень крепкий физически. У него было широкое, смуглое лицо, глубокий шрам спускался от правого уголка рта через весь подбородок — напоминание о настоящем сражении в зале с «Железным фронтом» социалистов Веймарской республики в 1939 году. Упираясь руками в спинку стула, Вебер со скукой взирал на заключенных, между которыми возбужденно сновали, били и кричали эсэсовцы, старосты блоков и дежурные.

Старосты блоков, обливаясь потом, заставляли узников пересчитываться снова и снова. Монотонно звучали голоса: первый, второй, третий…

Путаница возникла по вине пленных, разодранных клочья на медеплавильном заводе. Заключенные по мере сил разыскивали нужные для отчета оторванные головы, руки и тела.

Однако нашли не все, что требовалось. Как они ни старались, судя по всему, недоставало двух человек.

В сумерках между коммандос уже разгорелся спор насчет отдельных частей, особенно черепов.. Каждый хотел по возможности выглядеть комплектно, дабы избежать сурового наказания за недостаточный явочный состав. Передрались из-за кровавых кусков человечин; конец этому положила только прозвучавшая команда «смирно». В спешке старосты блоков ничего не смогли организовать, поэтому недосчитались двух тел. Наверное, их разорвало бомбой на мелкие куски, которые или выбросило взрывной волной по ту сторону стен, или куда-нибудь на крыши.

Рапортующий подошел к Веберу.

— Теперь отсутствует лишь полтора тела. У русских оказалось три ноги на одного, а у поляков — лишняя рука.

— Проведите перекличку, чтобы выяснить, кого нет, — сказал Вебер, подавляя зевоту.

По рядам узников прокатилось едва слышное замешательство. Перекличка означала, что придется отстоять еще от одного до двух часов, если не больше. У русских и поляков, не понимавших по-немецки, постоянно случалась путаница с

именами.

Началась перекличка. В воздухе плыла языковая разноголосица, слышались ругательства и удары. Раздраженные эсэсовцы избивали почем зря, потому что уходило отведенное на их досуг время. Дежурные и старосты блоков пускали в ход кулаки из страха. Там и сям валились на землю люди, а около раненых постепенно образовывались темные лужи крови. Их серовато-белые лица заострялись в приближении смерти. Они смиренно взирали с земли на своих товарищей, которые стояли руки по швам, не имея права помочь истекавшим кровью. Для некоторых этот лес ног в грязных полосатых, как зебра, халатах был последним из того, что суждено увидеть в этом мире.

Над крематорием медленно выползла луна. Некоторое время она висела прямо за трубой, и ее свет ложился поверх клубившегося дыма, из-за чего казалось, что в печах сжигаются духи, а наружу выплескивается холодный огонь. Потом луна увеличилась, и тупая труба стала казаться минометом, выстреливающим вертикально в небо красное ядро.

В первом десятке тринадцатого блока стоял заключенный Гольдштейн. Он был последним

на левом фланге, рядом с ним лежали только раненые и мертвые. Одним из раненых был друг Гольдштейна Шеллер. Он лежал к нему ближе всех. Краешком глаза Гольдштейн видел, что темное пятно под раздробленной ногой Шеллера вдруг стало увеличиваться значительно быстрее, чем прежде. Жалкая повязка на ноге сползла, и Шеллер начал истекать кровью. Гольдштейн стал завалиться на бок, словно у него обморок. Он постарался сделать так, чтобы, падая, накрыть собой полтела Шеллера.

Это было небезопасно. Лютовал эсэсовец, начальник блока, круживший вокруг, как злая овчарка. Крепкий пинок его тяжелого сапога в висок мог в один миг прикончить Гольдштейна. Узники вблизи стояли неподвижно; но все внимательно наблюдали за происходящим. Начальник блока как раз в этот момент вместе со старостой находился на другом краю колонны. Староста о чем-то ему докладывал. Он тоже заметил маневр Гольдштейна и пытался на несколько мгновений отвлечь внимание шарфюрера.

Гольдштейн нащупал под собой бечевку, которой была перетянута нога Шеллера. Он увидел кровь прямо перед своими глазами и ощутил запах сырого мяса.

— Да оставь, — прошептал Шеллер. Гольдштейн нашел сползший узел и развязал его.

Кровь полилась еще сильнее.

— Они ведь сделают мне укол, — тихо проговорил Шеллер, — при моей-то ноге…

Нога уже висела на нескольких сухожилиях и клочках кожи. Из-за того, что на ногу упал Гольдштейн, она сдвинулась и теперь приняла странное положение с вывернутой стопой. У Гольдштейна руки были влажные от крови. Он затянул узел, но бечевка снова сползла.

— Да оставь же… — вздрогнул Шеллер. Гольдштейну пришлось снова развязывать узел. Он почувствовал раздробленную кость. Его чуть не вырвало. Он икнул, пошарил руками в скользких внутренностях, снова поймал повязку, подтянул ее выше и… замер. Мюнцер наступил ему на ногу. Это было предупреждением. Тяжело дыша, приближался эсэсовец, начальник блока.

— Опять эта свинья! Ну что там опять с ним приключилось!

— Упал, господин шарфюрер. — Рядом оказался староста блока. — Подымайся, гад ленивый! — закричал он на Гольдштейна, пырнув ему под ребро. Удар был не таким сильным, как могло показаться со стороны. Староста смягчил его в

последний момент. Потом он ударил еще раз, стараясь упредить в том шарфюрера. Гольдштейн не шелохнулся, когда в лицо ему прыснула кровь Шеллера.

— Ну да ладно! Пусть себе лежит! — Начальник блока продолжал свой обход. — Черт возьми, и когда только мы здесь со всем этим разберемся?

Староста следовал за ним по пятам. Гольдштейн выждал секунду; потом быстро обернул тряпкой ногу Шеллера, разорвал ее надвое, связал узлом и снова вставил выскочившую деревянную закрутку. Кровь перестала течь, только сочилась. Гольдштейн осторожно отпустил руки. Перевязка держалась крепко.

Перекличка закончилась. Было отмечено отсутствие частей тела одного русского и верхней половины тела заключенного Сибольского из пятого барака. Но это было не совсем так. От Сибольского остались руки. Правда, ими владел семнадцатый барак, который выдавал их за остатки Йозефа Бингвангера, от которого вообще ничего не осталось. Зато двое из пятого барака похитили нижнюю часть тела русского, которую там выдали как принадлежавшую Сибольскому, ибо ноги было трудно различить. К счастью, оставалось еще несколько лишних частей ко-

нечностей, списанных за счет полутора единиц отсутствующих. Тем самым было подтверждено, что в суматохе авианалета никто из заключенных не сбежал. Но не исключалось, что всем придется простоять на плацу до утра, чтобы потом уже на медеплавильном заводе продолжать поиск останков. Несколько недель тому назад весь лагерь простоял так целых два дня, прежде чем нашелся тот, кто в свинарнике покончил жизнь самоубийством.

Вебер спокойно восседал на своем стуле, как и прежде подпирая подбородок руками. Все время он был почти неподвижен. После рапорта он медленно поднялся и потянулся.

— Люди довольно долго стояли. Им надо немного размяться. Поупражняться в «географии».

Над площадью разнеслись приказы: «Руки за голову! Колени согнуть! Прыгать как лягушка! Вперед — прыгай!»

Длинные ряды подчинялись командам. Они медленно прыгали вперед с поджатыми коленями. Между тем еще выше поднялась набиравшая яркость луна. Теперь она освещала только часть плаца для перекличек. Другая лежала в тени, которую отбрасывали строения. Резко выделялись контуры крематория, ворот и виселицы.

— А теперь прыгать в обратном направлении. Ряды заключенных из освещенной части территории, как кузнечики, возвращались в темноту. От изнеможения люди валились на землю. Эсэсовцы, дежурные и старосты блоков избивали их, заставляя подняться. Из-за шарканья бесчисленных ног едва слышны были пронзительные команды: «Вперед! Назад! Назад! Смирно!»

Теперь-то и начиналась «настоящая география». Она состояла в том, что заключенные должны были бросаться наземь, ползать, вскакивать, снова бросаться наземь и снова ползать. Таким образом до боли знакомой становилась для них земля «танцплощадки». Очень скоро площадка превращалась в груды, кишевшие огромными полосатыми червяками, весьма отдаленно напоминавшими людей. По мере сил они помогали раненым, однако в спешке и страхе это не всегда удавалось.

Спустя четверть часа Вебер дал отбой. Впрочем, эти четверть часа дорого стоили изможденным узникам. Повсюду валялись тела тех, кто уже не мог подняться.

— По блокам стройся!

Заключенные с трудом тащились обратно. Они подбирали вконец обессилевших и с обеих сторон

поддерживали тех, кто еще мог стоять. Других они укладывали рядом с ранеными.

Лагерь погружался в тишину. Вебер сделал шаг вперед.

— То, что вы только что проделали, было в ваших интересах. Теперь вы усвоили, как при воздушном налете прятаться в укрытия.

Кое-кто из эсэсовцев захихикал, Вебер бросил взгляд в их сторону и продолжал:

— Сегодня вы познали на собственной шкуре, с каким бесчеловечным противником нам приходится иметь дело. Германия, которая всегда хотела только мира, подверглась жестокому нападению. Противник, разбитый на всех фронтах, в отчаянии прибегает к последнему средству: нарушая всякое международное право, он трусливым образом бомбит мирные германские города. Он разрушает церкви и больницы. Убивает беззащитных женщин и детей. Другого от таких неполноценных людей и бестий трудно было и ожидать. Но наш ответ не заставит себя ждать. С завтрашнего дня лагерное командование приказывает обеспечить повышенную производительность труда. Коммандос выйдут на час раньше, чтобы убирать развалины. По воскресеньям вплоть до особого распоряжения

свободное время отменяется. Евреям два дня хлеб выдаваться не будет. Благодарите за это врагов-убийц.

Вебер замолчал. Лагерь притих. Было слышно, как надрывно шел в гору быстро приближавшийся мощный автомобиль. Это был «мерседес» Нойбауэра.

— Всем петь! — скомандовал Вебер. — «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес!»

Лагерные блоки запели не все. Сразу наступило замешательство. Дело в том, что в последние месяцы не так уж часто приходилось петь по приказу. Если же такое и случалось, это всегда были народные песни. В основном петь приказывали в момент совершения телесных наказаний. Пока жертвы кричали от боли, остальные заключенные должны были распевать лирические мелодии. Старый, прежний национальный гимн, написанный еще до прихода нацистов к власти, уже несколько лет в лагере не исполнялся.

— Эй вы, свиньи!

В тринадцатом блоке запел Мюнцер. Другие стали подпевать. Кто уже не помнил слов, делал вид, что поет. Главное при этом, чтобы все рты открывались.

— К чему бы все это? — шепотом, не повернув

головы, спросил Мюнцер стоявшего рядом Вернера, который делал вид, что поет.

— Что-о?

Мелодия все больше напоминала тонкое хрипенье. Начальные ноты были взяты недостаточно низко, и теперь певцы никак не могли подобраться к высоким торжественным нотам заключительных строк и осеклись. У узников и без того не хватало дыхания.

— Что это за гнусное блеянье? — пробурчал второй комендант лагеря. — Еще раз сначала! Если и на этот раз не получится, останетесь здесь на всю ночь!

Заключенные взяли ниже. Мелодия зазвучала увереннее.

— Что? — повторил Вернер.

— К чему именно «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес!»?

— Наверное, после сегодняшнего уже не очень доверяют своим нацистским песням, — пропел Вернер в такт исполняемой мелодии.

Заключенные смотрели прямо перед собой. Вернер почувствовал в себе какое-то напряжение. Вдруг ему показалось, что это ощущение разделяет не только он, но и Мюнцер, и лежавший на земле Гольдштейн, и многие другие, и даже

СС. Мелодия вдруг перестала звучать так, как ее обычно исполняли заключенные. Она была чистой и почти вызывающе ироничной, причем слова существовали независимо от музыки, сами по себе. «Может, Вебер ничего не заметит, — подумал он, глядя на коменданта лагеря. — Иначе мертвых будет еще больше, чем сейчас».

Лицо лежавшего на земле Гольдштейна оказалось рядом с лицом. Шеллера. Губы его шевелились. Гольдштейн не мог понять, что тот хотел сказать. Но он видел полуоткрытые глаза и догадывался, о чем идет речь.

— Ерунда! — произнес он. — У нас есть дежурный в лазарете. Он это перевяжет. Ничего. Пробьешься. Шеллер молчал.

— Заткнись! — прокричал Гольдштейн сквозь шум. — Пробьешься! Вот так! — Он увидел перед собой серую пористую кожу. — Они не будут тебе делать укол! — пропел он в такт гимну. — У нас есть свой человек в лазарете! Он подкупит врача!

— Внимание! Поющие смолкли. На плац вышел комендант лагеря. Докладывал Вебер.

— Я прочел братьям краткую проповедь и заставил их поработать еще часок.

Нойбауэр воспринял информацию без инте-

реса. Он втянул воздух и посмотрел на ночное небо.

— Думаете, что эти бандиты снова прилетят сегодня ночью?

Вебер ухмыльнулся.

— По последним сообщениям радио, нами сбито девяносто процентов самолетов.

Нойбауэра это как бы и не касалось. «В общем-то, ему нечего терять, — подумал он. — Такой же, как Дитц, только поменьше, ландскнехт, вот и все».

— Пусть люди разойдутся, если все выполнено.

— Разойдись!

Узники проследовали в бараки. Они забрали с собой раненых и мертвых. Прежде чем сдать умерших в крематорий, о них надлежало доложить и потом зарегистрировать. Лицо у Шеллера заострилось, как у карлика, когда Вернер, Мюнцер и Гольдштейн подошли, чтобы его забрать. Казалось, что ночь он ни за что не протянет. Во время «географии» его ударили в нос, и когда его потащили к бараку, потекла кровь и в тусклом свете она поблескивала на подбородке.

Они свернули на улицу, которая вела к их бараку. Ветер, доносившийся снизу до лагеря, принес с собой дым горящего города.

— Вы тоже чувствуете? — спросил Вернер.

— Да. — Мюнцер поднял голову.

Гольдштейн ощутил сладковатый вкус крови на своих губах. Он сплюнул, решив попробовать запах дыма открытым ртом.

— Так пахнет, будто и здесь уже горит.

— Да…

Теперь они могли дым даже видеть. Он доносился снизу из долины до лагерных улиц в виде легкого белого тумана и вскоре уже висел даже в проходах между бараками. Какое-то мгновение Вернеру показалось странным и почти непонятным, почему колючая проволока не задержала этот дым: лагерь вдруг перестал быть таким изолированным и недоступным, как прежде.

Они шли вниз по улице. Шли сквозь дым. Их шаги стали тверже, а плечи прямее. Шеллера несли с большой осторожностью. Гольдштейн наклонился к нему.

— Понюхай! Понюхай же и ты! — сказал он тихо, посмотрев с отчаянием и мольбой в заострившееся лицо.

Однако Шеллер уже давно был в забытьи.

V

Вонючий барак погрузился в темноту. Света по вечерам не было уже давно.

— Пятьсот девятый, — прошептал Бергер. — Ломан хочет с тобой поговорить.

— Что, уже?

— Еще нет.

Пятьсот девятый на ощупь пробрался по узким проходам к дощатым нарам, рядом с которыми выделялся матовый четырехугольник окна.

— Ломан?

Раздалось какое-то шуршание.

— Бергер тоже здесь? — спросил Ломан.

— Нет.

— Приведи его.

— Зачем?

— Приведи, говорю!

Пятьсот девятый повернул обратно. На него сыпались проклятия. Он наступал на тела, лежащие в проходах. Кто-то укусил его за ногу. В ответ он ударил укусившего в голову, после чего тот разжал зубы.

Через несколько минут он добрался до Бергера.

— Ну вот мы и встретились. Что ты хочешь?

— Вот она! — Ломан протянул руку.

— Что это? — спросил Пятьсот девятый.

— Держи свою ладонь под моей. Ровнее. Осторожно. Пятьсот девятый ощутил тонкий кулачок Ломана.

Он был сухой, как кожа ящерицы. Кулачок медленно разжался. Что-то маленькое и тяжелое упало Пятьсот девятому на ладонь.

— Ну, теперь это у тебя?

— Да, а что это? Это?..

— Да, — прошептал Ломан. — Мой зуб.

— Что? — Бергер придвинулся ближе. — Кто это сделал?

Ломан захихикал. Это было почти беззвучное призрачное хихиканье.

— Я.

— Ты? Как это?

Они ощутили удовлетворение умирающего. Он казался по-детски гордым и глубоко умиротворенным.

— Гвоздь. Два часа. Железный гвоздик. Нашел его и рассверлил им зуб.

— А где гвоздь?

Ломан пошарил рукой вокруг себя и дал его Бергеру. Тот поднес гвоздь к окну.

— Дрянь и ржавчина. Кровь текла? Ломан захихикал.

— Бергер, — сказал он, — есть риск получить заражение крови.

— Подожди. У кого-нибудь найдется спичка? Спички были бесценной редкостью.

— У меня нет, — ответил Пятьсот девятый.

— На, возьми, — раздался голос со среднего ряда нар.

Бергер провел спичкой по стене. Бергер и Пятьсот девятый закрыли глаза, чтобы не ослепнуть. Так они выиграли несколько секунд, чтобы рассмотреть коронку.

— Открой рот, — сказал Бергер. Ломан уставился на него.

— Не будь смешным. Продайте это золото.

— Открой рот.

На лице Ломана мелькнуло нечто похожее на улыбку.

— Оставь меня в покое. Хорошо, что еще раз увидел вас обоих при свете.

— Я помажу тебе йодом. Сейчас принесу флакон. Бергер дал Пятьсот девятому спичку и на ощупь дотащился до своей кровати.

— Погасите спички, — снова прокряхтел другой голос. — Хотите, чтобы охранники нас перестре-

ляли?

Заключенный на средней кровати прикрывал своим одеялом окно, а Пятьсот девятый — крохотное пламя курткой сбоку. Глаза у Ломана были ясные. Даже чересчур. Пятьсот девятый посмотрел на догорающую спичку, потом на Ломана и подумал, что знает его уже семь лет и что сейчас он видит его живым в последний раз. Он слишком много видел таких лиц, чтобы не знать этого. Он почувствовал, что пламя обжигает пальцы, но продолжал держать спичку, пока она не догорела. Он услышал, как вернулся Бергер. И вновь опустилась темнота, поразившая его словно слепота.

— У тебя есть еще спичка? — спросил он человека на нарах.

— Вот, держи! — Человек протянул спичку. — Последняя.

«Последняя, — подумал Пятьсот девятый. — Пятнадцать секунд света. Пятнадцать секунд на сорок пять лет, которые были отпущены Ломану. Последние. Маленький мерцающий круг».

— Погасите, черт возьми! Отнимите у него спичку!

— Идиот! Ни одна сволочь это не увидит!

Пятьсот девятый опустил спичку ниже. Рядом,

с флаконом йода в руке, стоял Бергер.

— Открой рот…

Он замолчал. Теперь он тоже четко видел Ломана. Уже бессмысленно было идти за йодом. Но он сделал это только для того, чтобы что-то предпринять. Он медленно спрятал флакон в карман. Ломан спокойно наблюдал за ним не моргая. Пятьсот девятый отвел взгляд в сторону. Он разжал ладонь и увидел поблескивающий крохотный кусочек золота. Потом снова посмотрел на Ломана. Пламя обожгло пальцы и погасло.

— Доброй ночи, Ломан, — сказал Пятьсот девятый.

— Позже я еще раз подойду, — сказал Бергер.

— Ладно, — прошептал Ломан. — Теперь… это просто…

— Может, удастся раздобыть еще пару спичек. Ломан уже ничего не ответил.

Пятьсот девятый чувствовал в ладони твердую и тяжелую золотую коронку.

— Выйди из барака, — прошептал он Бергеру. — Обсудим все снаружи. Там мы будем одни.

Они ощупью пробрались к двери и вышли на защищенную от ветра сторону барака. В городе действовала светомаскировка, в основном пожар был потушен. Только колокольня церкви

святой Катарины продолжала гореть, как гигантский факел. Колокольня была очень старая со множеством сухих балок; пожарные оказались бессильными, поэтому пришлось ждать, пока колокольня выгорит полностью.

Они присели на корточки.

— Что же будем делать? — спросил Пятьсот девятый.

Бергер потер воспаленные глаза.

— Если коронка зарегистрирована в канцелярии, мы погибли. Они наведут справки и кого-нибудь обязательно повесят. Причем меня — первым.

— Ломан говорит, что коронка не зарегистрирована. Когда он сюда попал, семь лет назад, таких правил еще не было. Золотые зубы тогда просто выбивали. Без регистрации. Перемены наступили уже позже.

— Ты это точно знаешь? Пятьсот девятый повел плечами.

— Конечно, нам все еще не заказано сказать правду и сдать коронку. Или засунуть ему в рот, когда умрет, — проговорил наконец Пятьсот девятый. Он плотно обхватил ладонью маленький кусочек. — Ты этого хочешь?

Бергер покачал головой. Золото обеспечивало

жизнь на несколько дней. Оба понимали, что теперь, когда коронка была у них, они с нею уже не расстанутся.

— А можно себе представить, что он сам вырвал зуб еще несколько лет назад и продал его? — спросил Пятьсот девятый.

Бергер измерил его взглядом.

— Думаешь, что СС захочет с этим возиться?

— Нет. Особенно, если обнаружат свежую рану во рту.

— Это как минимум. Если он еще немного протянет, рана подживет. К тому же это задний коренной зуб: трудно будет проверить, когда труп окоченеет. Если он умрет сегодня вечером, дождемся завтрашнего утра. Если же он умрет завтра утром, труп придется держать здесь, пока он не окоченеет. Это реально. А Хандке на утренней перекличке мы как-нибудь проведем.

Пятьсот девятый посмотрел на Бергера.

— Надо рискнуть. Нам нужны деньги. Особенно теперь.

— Да, видимо, нам уже ничего не остается другого. А кто переправит зуб?

— Лебенталь. Он единственный, кто это может.

За ними открылась дверь барака. Несколько

человек кого-то вытащили за руки и за ноги и поволокли к куче рядом с улицей, где лежали умершие после вечерней переклички.

— Это уже Ломан?

— Нет. Это не наши. Это мусульмане.

Люди, которые вытаскивали мертвеца, пошатываясь, возвращались в барак.

— Кто-нибудь заметил, что зуб у нас? — спросил Бергер.

— Не думаю. Здесь лежат почти исключительно мусульмане. Разве, что тот, который давал нам спички.

— Он что-нибудь сказал?

— Нет. До сих пор. Но он может потребовать своей доли.

— Это не столь важно. Вопрос в том, не захочется ли ему нас предать.

Пятьсот девятый задумался. Он знал, что есть люди, которые за кусок хлеба способны на все.

— На него не похоже, — сказал он, поразмыслив. — Тогда чего ради он давал нам спички?

— Одно другого не касается. Нам надо проявлять осторожность. Иначе обоим хана. И Лебенталю тоже.

Пятьсот девятому и это было довольно хорошо знакомо. Он видел, как одного повесили и за

меньшее нарушение.

— Надо за ним проследить, — сказал он. — По крайней мере, до тех пор, пока не сожгут Ломана, а Лебенталь не переправит зуб. Потом это потеряет для него всякий интерес.

Бергер кивнул.

— Я еще раз туда схожу. Может, что-нибудь разузнаю.

— Хорошо. Я буду здесь ждать Лео. Он, наверное, еще в трудовом Лагере.

Бергер встал и направился к бараку. Он и Пятьсот девятый без колебаний рискнули бы собственной жизнью, если бы Ломана хоть как-нибудь можно было спасти. Но он был обречен. Поэтому они говорили о нем уже как о камне. Проведенные в лагере годы научили их мыслить по-деловому.

Пятьсот девятый присел на корточки в тени сортира. Это было удобное место, где никто за ним не мог наблюдать. В Малом лагере на все бараки имелся только один общий сортир, который был построен на границе обоих лагерей и к которому от бараков постоянно тянулась со стоном вереница скелетов. Почти у всех был понос или того хуже. Многие изможденные лежали на земле, стараясь собраться с силами, чтобы дотащиться

до цели. По обе стороны сортира была натянула колючая проволока, отделявшая Малый лагерь от трудового.

Пятьсот девятый присел так, чтобы видеть ворота, врезанные в колючую проволоку. Они предназначались для начальников блоков, ходивших за пищей, санитаров морга и катафалков. От двадцать второго барака ими разрешалось пользоваться только Бергеру, когда он направлялся в крематорий. Всем другим это строго запрещалось. Поляк Зильбер называл их покойницкими воротами, потому что узники, попадавшие в Малый лагерь, возвращались через эти ворота только трупами. Каждому охраннику разрешалось открывать огонь, если какой-нибудь скелет пытался проникнуть в трудовой лагерь. Почти никто этого и не пробовал. Из трудового лагеря, кроме дежурных, сюда тоже никто не приходил. Из-за не очень строгого карантина Малый лагерь воспринимался прочими узниками своего рода кладбищем, на котором мертвецы еще короткое время бродили, как призраки.

Через колючую проволоку Пятьсот девятый видел часть улиц трудового лагеря. Они кишели заключенными, использовавшими остаток своего свободного времени. Он видел, как они бе-

седовали, как стояли группами и прогуливались по улицам. Хотя это было лишь другой частью концлагеря, ему казалось, что их разделяла непреодолимая пропасть и все происходившее по ту сторону — нечто вроде потерянной родины, в которой, несмотря ни на что, продолжали существовать жизнь и человеческое общение. Он слышал, как у него за спиной мягко шуршат ноги узников, как они, пошатываясь, тащатся в сортир, и ему не надо было оборачиваться, чтобы видеть угасший свет в их глазах.

Узники почти не разговаривали друг с другом, они почти разучились думать. Лагерные остряки называли их мусульманами, потому что они полностью покорились своей судьбе. Они двигались, как абсолютно безвольные автоматы. В них было вытравлено все, кроме нескольких физических функций. Они были живыми мертвецами и погибали, как мухи на морозе. Они были сломлены и перемолоты, и уже ничто не могло их спасти — даже свобода.

Пятьсот девятый ощущал ночную прохладу даже в костях. Бормотание и стоны за его спиной были как серый поток, в котором легко можно было утонуть. Это было приманкой к самоотречению, приманкой, с которой отчаянно боролись

ветераны. В Пятьсот девятом невольно что-то всколыхнулось, он повернул голову, чтобы почувствовать, что еще жив и не лишился воли. И тогда до Пятьсот девятого из трудового лагеря донесся сигнал отбоя. Заключенные на улицах стали расходиться. Не прошло и минуты, как осталась только безутешная колонна теней в Малом лагере, забытая товарищами по ту сторону колючей проволоки; отторгнутый, изолированный кусочек трепещущей жизни на территории неотвратимой смерти.

Лебенталю не пришлось проходить ворота. Пятьсот девятый вдруг увидел, как он направляется через плац: видимо, прошел где-то со стороны сортира. Никто не знал, как он «просочился»; Пятьсот девятого не удивило, если бы Лебенталь воспользовался нарукавной повязкой бригадира или даже дежурного.

— Лео!

Лебенталь остановился.

— Что случилось? Осторожно! Эсэсовцы все еще там. Уходи отсюда!

Они направились в сторону бараков.

— Что-нибудь раздобыл? — спросил Пятьсот девятый.

— Что?

— Еды. Что еще? Лебенталь повел плечами.

— Еды. Что еще? — повторил он раздраженно. — Как ты себе это представляешь? Я что, дежурный по кухне?

— Нет.

— Тогда чего ты от меня хочешь?

— Ничего. Я просто хотел спросить, достал ли ты что-нибудь поесть.

Лебенталь остановился.

— Поесть, — проговорил он с горечью. — А известно ли тебе, что по всему лагерю евреям вот уже два дня не дают хлеба? Вебер приказал.

Пятьсот девятый уставился на него.

— Это правда?

— Нет. Я выдумал. Я всегда чего-нибудь выдумываю. Это даже забавно.

— Господи! Мертвецов прибавится!

— Да. Прямо пачками. А ты берешь меня за горло, добыл ли я еды.

— Успокойся, Лео. Присядь. Дурацкая история. Именно теперь! Теперь, когда нам нужна жратва и появилась возможность достать ее.

Лебенталь задрожал. Он всегда дрожал, когда волновался. А возбуждался он легко и был очень чувствительным. Лично для него это означало нечто большее, чем постукивание пальцем по

крышке стола. Такое состояние вызывалось постоянным чувством голода. Оно одновременно и расширяло и сужало диапазон эмоций. Истерия и апатия шли в лагере рука об руку.

— Я делал все, что мог, — сетовал Лебенталь высоким срывающимся голосом, — и доставал, и рисковал, и приносил, а ты вот объявляешь, что нам надо…

Его голос вдруг растворился в вязком сплошном клокотании. Такое было впечатление, будто нарушился контакт одного из громкоговорителей лагерной радиостанции. Лебенталь пошарил вокруг себя руками. Его лицо уже не выглядело больше, как обиженная мертвая голова; это был всего лишь лоб с носом и лягушачьими глазами на фоне дряблой кожи да еще с отверстиями в ней. Наконец, он нашел на земле свою вставную челюсть, обтер ее курткой и сунул обратно в рот. Громкоговоритель снова включился, и снова раздался голос, высокий и жалобный.

Лебенталь продолжал свое нытье, но Пятьсот девятый его не слушал. Когда это дошло до сознания Лебенталя, он замолчал.

— Нас уже часто лишали хлеба, — проговорил он вяло. — И между прочим, больше чем на два дня. Что вдруг сегодня из-за этого столько раз-

говоров?

Пятьсот девятый бросил на него мимолетный взгляд. Потом показал на город и горящую церковь.

— Что произошло? Вот что, Лео!

— Что?

— Посмотри вниз. Как это было тогда в Ветхом Завете?

— Какое тебе дело до Ветхого Завета?

— Разве не было подобного при Моисее? Огненный столб, выведший народ из рабства?

Лебенталь сверкнул глазами.

— Облачный столб днем и огненный ночью, — произнес он строго. — Ты это имеешь в виду?

— Да. И разве в этом не Бог?

— Иегова.

— Хорошо, Иегова. А это внизу — ты знаешь, что это?

Пятьсот девятый немножко помолчал.

— Это нечто похожее, — проговорил он. — Это надежда, Лео. Надежда для нас! Черт возьми, разве никому из вас не хочется это видеть?

Лебенталь молчал. Внутренне сжавшись, он смотрел вниз на город. Пятьсот девятый расправил спину. Теперь он высказал это наконец-то. Впервые. «Едва ли можно обозначить его слова-

ми, — размышлял он, — это слово убивает почти наповал, слово немыслимое. Я избегал его все эти годы. Мысль о нем прямо разъедала меня на части. Но теперь оно вернулось, сегодня; пока еще непозволительно полностью его осознать, но оно уже рядом со мной, оно или сокрушит меня, или станет явью».

— Лео, — сказал он. — Происходящее внизу означает, что и здесь этому придет конец.

Лебенталь не пошевельнулся.

— Если они проиграют войну, — прошептал он. — Только в этом случае! Но кто это может знать? — В страхе он невольно оглянулся.

В первые годы лагерь довольно хорошо информировали о ходе войны. Однако, когда кончились победы, Нойбауэр запретил доставлять газеты и сообщать об отступлении по лагерному радио. Самые несуразные слухи носились по баракам. В результате уже никто не мог понять, чему верить. Война шла плохо. Это было ясно. Но революция, которую многие ждали столько лет, так и не наступила.

— Лео, — сказал Пятьсот девятый. — Они проигрывают войну. И это — конец. Если бы то, что сейчас внизу, случилось в первый год войны, это ничего бы не значило. Но это происходит пять

лет спустя, значит, побеждают другие.

Лебенталь снова оглянулся.

— К чему ты завел об этом разговор?

Пятьсот девятый знал о распространенном в бараках суеверии. Сказанное утрачивало надежность и достоверность, — а обманутая надежда всегда означала существенную потерю энергии. Это предопределяло настороженность и осмотрительность всех.

— Я говорю об этом, потому что сейчас мы должны об этом говорить, — сказал он. — Для этого настало время. Это поможет выстоять. Теперь это не слухи. Это уже не может долго продолжаться. Мы должны… — Он осекся.

— Что? — спросил Лебенталь.

Пятьсот девятый и сам точно не знал. «Продержаться, — подумал он. — Продержаться, но не только».

— Это как гонка, — проговорил он наконец. — Наперегонки, Лео… — «Со… смертью», — подумалось ему, но он этого не произнес. Он показал в направлении казарм СС. — Вон с теми! Только мы не имеем права проигрывать. Конец уже виден, Лео! — Он схватил Лебенталя за рукав. — Теперь мы должны сделать все…

— Но что мы можем сделать?

Пятьсот девятый почувствовал, что все у него плывет перед глазами словно после выпивки. Он уже отвык много думать и говорить. И он уже давно так много не думал, как сегодня.

— Вот здесь кое-что, — сказал он и достал из кармана золотую коронку. — Она была у Ломана. Видимо, не зарегистрирована. Можно ее продать?

Лебенталь прикинул, сколько весит коронка. Его это нисколько не удивило.

— Опасно. Можно организовать только с тем, кому разрешается выходить из лагеря или кто имеет связь с внешним миром.

— Каким образом, это все равно. Что нам за это перепадет? Все надо провернуть быстро!

— Быстро не получится. Это надо хорошенько обмозговать. Все взвесить. Иначе не избежать виселицы или мы останемся при своем интересе.

— Ты не мог бы устроить это еще сегодня вечером? Лебенталь опустил ладонь, в которой лежала коронка.

— Пятьсот девятый, — сказал он, — еще вчера ты был благоразумным.

— Вчера давно прошло.

Со стороны города донесся грохот и вскоре после этого прозрачный колокольный звон. Огонь

прожег систему балок колокольни, и колокол упал на землю.

Лебенталь испуганно пригнулся.

— Что это было? — спросил он. Пятьсот девятый скривил губы.

— Признак того, Лео, что вчера давно прошло.

— Это был колокол. Почему вдруг у церкви под нами есть колокол? Ведь все колокола они переплавили в пушки.

— Не знаю. Может быть, один забыли. Итак, как насчет коронки сегодня вечером? Нам нужна жратва на те дни, когда останемся без хлеба.

Лебенталь покачал головой.

— Сегодня не получится. Именно поэтому. Сегодня ведь четверг. Товарищеский вечер в казарме СС.

— Ах, вот как. Значит, сегодня явятся проститутки. Лебенталь поднял глаза.

— Ага, это тебе известно! Откуда?

— Неважно откуда. Это известно мне, Бергеру, Бухеру и Агасферу.

— Кому еще?

— Больше никому.

— Так, значит, вам это известно! А я и не заметил, что вы за мной наблюдаете. Придется проявлять большую осмотрительность. Хорошо,

значит, сегодня вечером.

— Лео, — сказал Пятьсот девятый, — попробуй отделаться от коронки сегодня вечером. Это важнее. Дай мне денег. Я все знаю. Это просто.

— Ты знаешь, как это делается?

— Да, из шахты… Лебенталь задумался.

— В колонне грузовиков есть один специально выделенный дежурный, — сказал он. — Завтра он едет в город. Можно проверить. Вдруг он клюнет. Что ж, ладно. И может, я еще загодя вернусь, чтобы все это проделать самому.

Он протянул коронку Пятьсот девятому.

— На что мне она? — спросил удивленно Пятьсот девятый. — Тебе же надо ее захватить с собой.

Лебенталь с презрением покачал головой.

— Теперь ясно, что ты ничего не понимаешь в коммерции! Думаешь, мне что-нибудь перепадет, если коронка сначала окажется в лапах одного из «братьев»? Это делается по-другому. Если, все идет успешно, я возвращаюсь и забираю. Спрячь пока. А теперь внимание…

Пятьсот девятый лежал в углублении немного в стороне от колючей проволоки, но ближе, чем это разрешалось. Палисадники здесь делали изгиб. Это место плохо просматривалось со сторожевых

башен, особенно ночью и в туман. Ветераны уже давно сделали это открытие, но только Лебенталь несколько недель тому назад сумел этим воспользоваться.

Все пространство на несколько сот метров за пределами лагеря считалось запретной зоной, в которой можно было появляться только с особого разрешения СС. Широкая полоса этой зоны была очищена от всяких кустарников, соответственно были пристрелены пулеметы.

Лебенталь, обладавший шестым чувством в отношении всего, что было связано с едой, наблюдал за тем, как в течение нескольких месяцев по четвергам вечером две девицы проходили отрезок широкой полосы вокруг Малого лагеря. Они направлялись в кабачок «Летучая мышь» специально для участия в развлекательном отделении культурных вечеров войск СС. Те по-рыцарски позволяли им пройти через запретную зону, чтобы не делать крюк и тем самым сэкономить почти два часа времени. Осторожности ради на это короткое время со стороны Малого лагеря отключали ток. Начальство ничего об этом не знало. В общей неразберихе последних месяцев эсэсовцы пошли на собственный страх и риск. В общем-то они ничем не рисковали: никто из

Малого лагеря бежать физически не смог бы.

Однажды из сиюминутного добродушия одна из проституток кинула кусок хлеба, когда вблизи находился именно Лебенталь. Несколько слов в темноте и предложение заплатить за услуги сделали свое дело. С тех пор девушки приносили что-нибудь с собой, особенно в дождливую и темную погоду. Они бросали все через проволоку, делая вид, будто поправляют чулки или высыпают попавший в туфли песок. Весь лагерь был затемнен, и на той стороне охранники чаще всего спали. Но если бы кто-нибудь, и заподозрил недоброе, в девушек все равно стрелять бы не стали, а пока разобрались в чем дело, никаких следов бы уже не осталось.

Пятьсот девятый слышал, как полностью рухнула городская башня. Огненный сноп взметнулся в небо и развеялся, донеслись далекие сигналы пожарных машин.

Он не знал, как долго ему пришлось ждать. Время в лагере было ничего не значащим понятием. Вдруг сквозь тревожную темноту он услышал сначала голоса, а потом шаги. Он выполз из-под пальто Лебенталя, прижался теснее к проволоке и прислушался к легким шагам слева. Он оглянулся. Лагерь погрузился в кромешную тьму,

не видно было даже мусульман, ковылявших в сортир. Зато до него донеслось, как один из охранников крикнул девушкам:

— Сменяюсь в двенадцать. Встретимся еще, а?

— Ясное дело, Артур.

Шаги приближались. Прошло еще мгновение, и Пятьсот девятый увидел на фоне неба расплывчатые фигуры девушек. Он взглянул на сторожевые башни с пулеметами. Было так туманно и темно, что он не мог рассмотреть охранников, а они по той же причине его. Он стал тихонько посвистывать.

Девушки остановились.

— Ты где? — прошептала одна из них. Пятьсот девятый поднял руку и помахал.

— Ах, вот где. У тебя есть деньги?

— Да. А у вас что есть?

— Вначале гони гроши. Три марки.

Деньги в пакете, перевязанном бечевкой, он просунул длинной палкой под колючей проволокой на дорогу. Девушка наклонилась, вынула деньги и быстро пересчитала. Потом сказала:

— Вот, смотри!

Обе достали из карманов картофелины и бросили сквозь колючую проволоку. Пятьсот девятый попытался поймать их прямо в пальто Лебен-

таля.

— А теперь хлеб, — сказала та, что потолще. Пятьсот девятый наблюдал, как ломти хлеба перелетали через проволоку, и быстро ловил их.

— Вот это все.

Девушки собрались было уходить. Пятьсот девятый присвистнул.

— Что? — спросила толстушка.

— Можете принести еще?

— На следующей неделе.

— Нет, когда будете возвращаться из казармы. Ведь там вам дадут все, чего пожелаете.

— Ты всегда одинаково выглядишь? — спросила толстушка и наклонилась, чтобы лучше его разглядеть.

— Да они все такие, Фритци, — сказала вторая.

— Я могу здесь подождать, — прошептал Пятьсот девятый. — У меня еще есть деньги.

— Сколько?

— Три.

— Нам надо идти, Фритци, — проговорила вторая. Все это время обе имитировали шаги, чтобы не вызвать подозрение охранников на башнях.

— Я могу ждать всю ночь. Пять марок.

— Ты здесь за новенького, что ли? — спросила Фритци. — А другой где? Умер?

— Заболел. Вот и послал меня сюда. Пять марок. Можно и больше.

— Пошли, Фритци. Нам нельзя здесь так долго стоять.

— Хорошо. Посмотрим. Подожди меня здесь, пожалуй.

Девушки ушли. Пятьсот девятый слышал шуршание их юбок. Он отполз назад, подстелил себе пальто и обессиленный лег. Ему казалось, что он потеет. Хотя был совершенно сухой.

Обернувшись, он увидел Лебенталя.

— Ну, все как надо? — спросил Лео.

— Да, вот картошка и хлеб.

— Вот ведь сволочи, — прошипел он. — Какие кровопийцы! Цены почти такие же, как здесь в лагере! За это им хватило бы и полторы марки. За три марки надо было бы добавить еще колбасы. Все потому, что меня при этом не было!

Пятьсот девятый не слушал.

— Давай разделим, Лео, — сказал он.

Они заползли под барак и разложили там картошку и хлеб.

— Картошку возьму я, — заметил Лебенталь, — чтобы выторговать на нее что-нибудь завтра.

— Нет. Нам все это нужно сейчас самим. Лебенталь поднял глаза.

— Вот как? А откуда мне взять деньги в следующий раз?

— У тебя ведь еще есть кое-что.

— Да что ты говоришь!

Вдруг они, как звери, на четвереньках уселись друг против друга и уставились в осунувшиеся лица друг друга.

— Сегодня вечером они снова придут и принесут еще,—сказал Пятьсот девятый. — Кое-что оттуда, на это тебе будет легче выменять. Я сказал, что у нас есть еще пять марок.

— Послушай-ка, — начал Лебенталь, пожав плечами, — если у тебя есть деньги, это твое дело.

Пятьсот девятый уставился на него. Наконец, Лебенталь отвел взгляд и облокотился.

— Ты меня угробишь, — простонал он тихо. — Что тебе, собственно, надо? Чего ради ты во все вмешиваешься?

Пятьсот девятый боролся с искушением съесть картофелину, потом еще одну, быстро, все картофелины, прежде чем кто-нибудь успеет его опередить.

— Как ты это себе представляешь? — продолжал шепотом Лебенталь. — Значит, все сожрать, все деньги распустить, как идиоты, а где потом еще раздобыть?

Картошка. Пятьсот девятый обнюхал ее. Хлеб. Его ладони отказывались подчиниться разуму. Его желудок — это было сплошное оголенное страстное желание: Есть! Есть! Глотать! Быстро! Быстро!»

— У нас есть коронка, — произнес он мучительно и отвел взгляд в сторону. — Как насчет коронки? Мы ведь кое-что за это получим. Как там обстоят дела?

— Сегодня трудно было чего-либо добиться. Все закрутилось. Впрочем, уверенности нет. Что есть на ладони, то есть.

«Ему что, есть не хочется? — подумал Пятьсот девятый. — Что он там говорит? Разве не раскалывается у него желудок от голода?»

— Лео. Не забывай Ломана! Пока мы соберемся с силами, будет поздно. Сейчас каждый день на счету.

Теперь уже нет необходимости думать на месяцы вперед.

Вдруг донесся тонкий пронзительный крик, напоминающий крик испуганной птицы. На одной ноге, воздев руки к небу, стоял мусульманин. Другой мусульманин пытался поддерживать первого. Казалось, что оба исполняют причудливое па-де-де на горизонте. Мгновение спустя они

упали, как сухая листва на землю, и крик угас.

Пятьсот девятый снова обернулся.

— Если мы будем такими, как вот эти, нам уже ничего больше не потребуется, — произнес он. — Тогда мы сломлены навсегда. Поэтому надо сопротивляться, Лео.

— Сопротивляться, а как?

— Сопротивляться, — повторил Пятьсот девятый спокойнее. Приступ кончился. Он снова обрел зрение.

Запах хлеба уже не ослеплял его. Он наклонился к Лебенталю. — Во имя будущего, — проговорил он почти беззвучно, — чтобы отомстить. Лебенталь отпрянул.

— С этим я не желаю иметь ничего общего.

На лице Пятьсот девятого промелькнуло подобие улыбки.

— Это и не надо. Занимайся только жратвой.

Лебенталь немного помолчал. Потом он сунул руку в карман, пересчитал монеты прямо у него перед глазами и отдал их Пятьсот девятому.

— Вот три марки. Последние. Теперь ты доволен? Пятьсот девятый молча взял деньги.

Лебенталь разложил кучками хлеб и картошку.

— Двенадцать порций. Чертовски мало. — Он

начал пересчитывать.

— Одиннадцать. Ломану уже ничего не понадобится. Вообще ничего.

— Хорошо. Тогда одиннадцать.

— Отнеси это в барак Бергеру, Лео. Они там ждут.

— Да. Вот твое. Хочешь остаться здесь, пока обе не вернутся?

— Да.

— У тебя есть еще время. До часу или двух они не вернутся.

— Неважно. Я останусь здесь. Лебенталь повел плечами.

— Если они не принесут больше, чем раньше, вообще нет смысла ждать. За такие деньги я достану кое-что и в Большом лагере. Грабительские цены, вот сволочи!

— Да, Лео. Постараюсь получить от них больше. Пятьсот девятый снова забрался под пальто. Ему стало зябко. Картошку и кусок хлеба он держал в руке. Он сунул хлеб в карман. «Сегодня ночью есть ничего не буду, — подумал он. — Потерплю до завтра. Если удастся, тогда...» Он не знал, что будет тогда. Что-нибудь. Что-нибудь важное. Он попробовал пофантазировать. Но ничего не получилось. У него в ладонях еще лежали карто-

фелины. Одна крупная, другая очень маленькая. Они казались ему слишком большими. Он съел обе. Маленькую он проглотил в один прием; крупную жевал и пережевывал. Он не ожидал, что после съеденного чувство голода будет еще острее. Но такое случалось вновь и вновь, и каждый раз в это как-то трудно было поверить. Он облизал пальцы, а потом даже укусил руку, чтобы она не касалась лежавшего и кармане куска хлеба. «Хлеб, как прежде, проглатывать сразу не буду, — подумал он. — Съем не раньше завтрашнего дня. Сегодня вечером я выиграл у Лебенталя. Я его почти убедил. Он не хотел, но дал три марки. Я еще не сломался. Значит, у меня еще есть воля. Если не съем хлеб и продержусь до завтра, — ему казалось, что в голове капает черный дождь, тогда он сжал кулаки и поглядел на горящую церковь, — тогда я еще не животное. Не мусульманин. Не только машина для пожирания пищи. Тогда я, — слабость опять охватила его, — страстное желание, это… я раньше сказал об этом Лебенталю, но в тот момент у меня в кармане не было хлеба. Сказать легко. Это — сопротивление, это как снова стать человеком — это начало…»

VI

Нойбауэр удобно расположился в своем кабинете, напротив него сидел штабной доктор Визе, обезьяноподобный мужчина с веснушками и неухоженными рыжими усами.

Нойбауэр был явно не в духе. Для него это был именно один из тех дней, когда все как назло не получалось. Сообщения в газетах были более чем осторожные. Зельма все ворчала дома; Фрейя с красными от слез глазами металась по квартире; два адвоката закрыли свои конторы в его торговом доме. А теперь еще явился этот гнусный пилюльщик со своими идеями.

— Сколько же людей вам требуется? — спросил неприветливо Нойбауэр.

— Пока хватит шести. По своей кондиции где-то за гранью физической немощи.

Визе не имел непосредственного отношения к лагерю. Неподалеку от города у него был маленький госпиталь, и он не без тщеславия считал себя ученым мужем. Как и некоторые другие врачи, он ставил опыты над живыми людьми, и лагерь несколько раз предоставлял ему заключенных

для этих целей. Он был в дружеских отношениях с бывшим гауляйтером провинции, и поэтому никто не задавал ему лишних вопросов о том, как он использует людей. Трупы в установленном порядке всегда доставлялись в крематорий; на этом все формальности заканчивались.

— Итак, вам нужны люди для клинических экспериментов? — спросил Нойбауэр.

— Да. Это опыты для армии. Пока, разумеется, тайно. — Визе улыбнулся. Зубы под усами оказались удивительно крупными.

— Значит, тайно… — Нойбауэр тяжело вздохнул. Он терпеть не мог этих высокомерных ученых мужей. Они повсюду лезут, важничают, стараясь оттеснить старых вояк. — Вы получите столько, сколько захотите, — сказал он. — Мы рады, что эти люди еще на что-то годятся. Единственное, что нам требуется, — это приказ об их переводе.

Визе удивленно поднял глаза.

— Приказ о переводе?

— Так точно. Приказ о переводе из моей вышестоящей инстанции.

— Но чего вдруг, я просто не понимаю… Нойбауэр подавил свое удовлетворение. Он ожидал недоумения Визе.

— Я действительно не понимаю, — повторил штабной доктор. — До сих пор от меня ни разу этого не требовали.

Нойбауэр был в курсе дела. Доктору Визе это не требовалось благодаря знакомству с гауляйтером. Между тем гауляйтер из-за какой-то темной истории был отправлен на фронт, и теперь это дало Нойбауэру желанную возможность создать трудности для штабного доктора.

— Все это — чистая формальность, — добавил он приветливо. — Если армия запросит перевод, вы безо всякого получите людей в ваше распоряжение.

Визе это интересовало в весьма малой степени; он упомянул армию лишь как предлог. Нойбауэр это тоже знал. Визе нервно подергивал усы.

— Все это с трудом доходит до моего сознания. До сих пор я безо всякого получал людей.

— Для опытов? От меня?

— Здесь, от лагеря.

— Тут, видимо, какое-то недоразумение. — Нойбауэр снял телефонную трубку. — Сейчас выясню.

Ему незачем было выяснять, он и так все прекрасно знал. Задав несколько вопросов, Нойбауэр положил трубку на рычаг.

— Как я и предполагал, господин доктор. Раньше вы запрашивали людей на легкие работы и получали их. Здесь наша биржа труда действует без формальностей. Мы ежедневно направляем специально выделенные коммандос на десятки предприятий. При этом люди остаются в подчинении лагеря. Ваш случай предстает сегодня в другом свете. На этот раз вы требуете людей для клинических экспериментов. Тем самым люди официально покидают территорию лагеря. А для этого мне нужен приказ об их переводе.

Визе покачал головой.

— Здесь нет никакой разницы, — сказал он раздраженно. — Прежде людей также использовали для экспериментов.

— Об этом мне ничего не известно. — Нойбауэр откинулся в кресле. — Я знаю только то, что есть в документах. И я полагаю, на этом можно было бы поставить точку. Вы наверняка не заинтересованы в том, чтобы привлечь внимание властей к подобному заблуждению.

Визе на минуту задумался. Он понял, что сам себя загнал в тупик.

— А я получу людей, если сделаю заявку на их участие в легких работах? — поинтересовался он.

— Разумеется. На то и существует наша биржа труда.

— Хорошо. Тогда я прошу предоставить мне шестерых для выполнения легкой работы.

— Но, господин штабной доктор! — Нойбауэр наслаждался тем, что контролировал ситуацию с триумфом, полным укора. — Откровенно говоря, я не вижу оснований для столь неожиданной смены ваших пожеланий. Сначала вам нужны люди даже за гранью физической немощи, потом они требуются вам для участия в легких работах. Вы сами себе противоречите! Уж можете мне поверить, кто у нас за гранью физической немощи, тот не в состоянии даже чулки себе заштопать. Мы здесь — воспитательно-трудовой лагерь с прусским представлением о порядке.

Визе икнул, резко встал и потянулся за своей шапкой. Нойбауэр тоже поднялся. Он испытывал радость оттого, что позлил Визе. Он вовсе не стремился к тому, чтобы сделать гостя своим откровенным врагом. Кто знает, вдруг старый гауляйтер в один прекрасный день снова будет в чести.

— У меня другое предложение, господин доктор, — проговорил Нойбауэр.

Визе обернулся. Он был бледен. Его веснуш-

ки резко проступали на бледном, как полотно, лице.

— Простите, какое?

— Если вам очень нужны люди, спросите, может, найдутся добровольцы. Это избавит от формальностей. Если узник желает послужить науке, мы не имеем ничего против. Это не совсем официально, но я все возьму на себя, особенно в отношении тех, кто бесполезно ожидает своей участи в Малом лагере. Люди подписывают соответствующее заявление, и баста.

Визе ответил не сразу.

— В таком случае не требуется даже оплаты за выполненную работу, — заметил радушно Нойбауэр. — Люди официально остаются в лагере. Вы видите, я делаю, что могу.

В докторе Визе все еще сидело недоверие.

— Я не понимаю, чего вдруг такая ершистость. Я служу отечеству.

— Все мы служим отечеству. И я совсем не ершистый. Просто должен быть порядок. Определенный бюрократизм. Такому научному светилу, как вы, это, наверное, может показаться излишним, но для нас это, считай, половина дела.

— Значит, я смогу получить шестерых добровольцев?

— Если захотите, даже больше. Кроме того, в помощь вы получите нашего первого начальника лагеря: он вас отведет в Малый лагерь. Это штурмфюрер Вебер. Исключительно способный работник.

— Благодарю.

— Не стоит благодарности. Мне было приятно вам помочь.

Визе ушел. Нойбауэр схватил телефонную трубку, чтобы проинструктировать Вебера.

— Пусть себе поизгаляется. Но никаких приказов. Только добровольцев. Пусть сам доводит себя до белого каления. Если не будет желающих, значит, помочь мы ему просто не сможем.

Он ухмыльнулся и положил трубку. От его плохого настроения не осталось и следа. Ему доставило удовольствие продемонстрировать этому культур-большевику, что здесь Нойбауэр еще кое-что может. Особенно удачной показалась ему придумка с волонтерами. Доктору наверняка сложно будет найти таковых. Почти все узники были в курсе дела. Даже лагерный врач, тоже считавший себя ученым мужем, вынужден отлавливать свои жертвы на улицах, когда ему требуются для опытов здоровые люди. Ухмыльнувшись, Нойбауэр решил выяснить позже, чем

все это кончится.

— А можно проверить рану? — спросил Лебенталь.

— Едва ли, — сказал Бергер. — Эсэсовцам это наверняка не удастся. Это был предпоследний коренной зуб. К тому же челюсть сейчас окоченела.

Они положили труп Ломана перед бараком. Утренняя перекличка закончилась. Они ожидали прибытия катафалка.

Агасфер стоял рядом с Пятьсот девятым. Губы у него дрожали.

— Старик, по этому не нужно читать каддиш, — сказал Пятьсот девятый. — Он был протестантом.

Агасфер поднял глаза.

— Это ему не повредит, — проговорил он спокойно, продолжая свое бормотание.

Появился Бухер. За ним шел Карел, мальчик из Чехословакии. Ноги у него были тоненькие, как палочки, а лицо — крохотное, как кулачок, под слишком крупным черепом. Его слегка пошатывало.

— Иди назад, Карел, — сказал Пятьсот девятый. — Здесь для тебя слишком холодно.

Юноша покачал головой и подошел ближе.

Пятьсот девятый знал, почему тот хотел остаться. Ломан иногда делился с ним своим хлебом. Ведь по сути это были похороны Ломана; отсюда начинался бы его скорбный путь на кладбище, были бы венки и цветы с горьким запахом, были бы молитвы и плач, в общем, все, что они еще могли бы сделать для него. А сейчас они могли лишь постоять здесь и без единой слезинки поглазеть на тело, освещаемое лучами утреннего солнца.

— А вот и катафалк, — проговорил Бергер.

Раньше в лагере были только санитары из крематория. Потом, когда умирающих прибавилось, появилась машина, в которую впрягали сивую лошадь. Когда лошадь сдохла, стали использовать отслуживший свой век грузовик с плоским кузовом и решеткой, какие используются для перевозки забитого скота. Грузовик объезжал барак за бараком и собирал мертвецов.

— Санитар из крематория здесь?

— Нет.

— Тогда придется грузить самим. Позовите Вестгофа и Мейера.

— Ботинки, — вдруг прошептал взволнованно Лебенталь.

— Да. Но он ведь должен иметь что-то на ногах. У нас есть что-нибудь под рукой?

— В бараке еще валяется обувь Буксбаума. Я сейчас принесу.

— Встаньте здесь кружком, — сказал Пятьсот девятый. — Быстро! Следите, чтобы меня никто не увидел.

Он опустился рядом с телом Ломана на колени. Остальные встали таким образом, чтобы его загораживать от грузовика, остановившегося перед семнадцатым бараком, и охранников на ближайших сторожевых башнях. Ему удалось быстро снять ботинки. Они были слишком велики. Ступни ног у Ломана состояли только из костей.

— А где вторая пара? Быстро, Лео!

— Здесь…

Лебенталь вышел из барака. Драные ботинки он держал под курткой. Войдя в круг, он повернулся так, что ботинки вывалились у него как раз перед Пятьсот девятым, который в свою очередь вложил в руки Лебенталю снятые. Лебенталь стал засовывать ботинки под куртку, снизу до самых плечей. После этого он вернулся в барак. Пятьсот девятый натянул драные ботинки Буксбаума на ноги Ломана и, покачиваясь, встал. Машина остановилась перед восемнадцатым бараком.

— Кто за рулем?

— Сам дежурный, Штрошнейдер.

— И как только об этом можно было забыть! — сказал Пятьсот девятому вернувшийся Лебенталь. — Подошвы ведь еще целы.

— Их можно продать?

— Обменять.

— Ну, значит, обменять.

Машина подъехала ближе. Тело Ломана лежало под солнцем. Приоткрытый рот вытянулся в кривой улыбке, один глаз светился, как желтая роговая пуговица. Никто ничего не говорил. Все смотрели на него. А он удалялся от них куда-то в бесконечность.

Грузили трупы секций «Б» и «Д».

— Поехали! — закричал Штрошнейдер. — Вам что, нужно еще объяснять? А ну, бросай вонючек наверх!

— Пошли, — сказал Бергер.

В то утро в секции «Д» было только четыре трупа. Для первых трех место еще нашлось. Но потом грузовик оказался переполненным. Ветераны не могли сообразить, куда деть труп Ломана: мертвецы лежали до самого верха друг на друге. Большинство из них окоченели.

— Давай наверх, — прокричал Штрошнейдер. — Мне еще вас надо торопить? Пусть двое залезут наверх, свиньи вы ленивые! Это един-

ственная работа, которая от вас еще требуется. Подыхать и грузить!

Поднять труп Ломана снизу на грузовик им никак не удавалось.

— Бухер! Вестгоф! — сказал Пятьсот девятый. — Пошли!

Они положили труп снова на землю. Лебенталь, Пятьсот девятый, Агасфер и Бергер помогали Бухеру и Вестгофу залезть на машину. Бухер добрался уже почти до самого верха, но поскользнулся и чуть было не упал. Он уцепился за что-то, это оказался чей-то труп, да еще не окоченевший. Труп пополз и вместе с Бухером съехал вниз. Страшно было наблюдать за тем, как труп соскользнул на землю, словно состоял из одних позвонков.

— Черт возьми! — заорал Штрошнейдер. — Что это за свинство?

— Скорее, Бухер! Еще раз! — прошептал Бергер. Тяжело дыша, они снова помогли Бухеру забраться наверх. На этот раз ему удалось зацепиться.

— Сначала другой труп, — сказал Пятьсот девятый. — Он еще мягкий. Его легче продвинуть вперед.

Это был труп женщины. Он казался тяжелее, чем обычные лагерники. У нее еще были груди. Она умерла, но не от голода. У нее остались груди,

а не кожные мешки. Она не сидела в женском отделении, примыкавшем к Малому лагерю. Тогда она была бы совсем истощенной. Судя по всему, она имела отношение к обменному лагерю евреев с южноамериканскими въездными документами; там еще сидели семьями.

Штрошнейдер слез со своего водительского места и увидел труп женщины.

— Ну там, возбудились, что ли, козлы вы этакие?

Его рассмешила собственная шутка. Как специально выделенный дежурный крематорской команды, он вовсе не обязан был сам садиться за руль. Но он делал это, потому что речь шла о машине. Раньше он работал шофером и разъезжал, где только можно. К тому же, садясь за руль, он постоянно был в прекрасном настроении.

Восьмером они наконец-то снова забросили мягкий труп наверх. Дрожа от изнеможения, они приподняли Ломана, в то время как Штрошнейдер плевал в них жевательный табак. После женского трупа Ломан показался им очень легким.

— Привяжите его покрепче, — прошептал Бергер Бухеру и Вестгофу. — Привяжите одну руку к другой.

Наконец им удалось просунуть руку Ломана через боковую решетку машины. В результате рука вылезла наружу, а поперечина придерживала труп под мышкой.

— Готово, — сказал Бухер, спрыгивая на землю.

— Готово, эй вы, саранча?

Штрошнейдер рассмеялся. Десять суетившихся скелетов напоминали ему гигантских кузнечиков, которые хлопотали над сложившим крылышки одиннадцатым.

— Эй вы, саранча, — повторил он, бросив взгляд на ветеранов. Никто из них не засмеялся. Они лишь пыхтели, поглядывая на край грузовика, из которого торчали ноги мертвецов. Причем не одного, а многих. Среди них было несколько детских ног в белой грязной обуви.

— Ну, — проговорил Штрошнейдер, садясь за руль, — кто из вас, тифозников, следующий?

Все молчали. У Штрошнейдера как ветром сдуло хорошее настроение.

— Засранцы, — пробурчал он. — Даже это вы не способны понять.

Вдруг он дал резко газ. Мотор загрохотал, как пулеметный залп. Скелеты отскочили в сторону. Штрошнейдер радостно кивнул и рванул руль в сторону, оставив после себя голубое облачко

дыма. Лебенталь закашлялся.

— Толстая, зажравшаяся свинья, — ругался он. Пятьсот девятый продолжал стоять в дыму из выхлопных газов.

— А может, это полезно от вшей?

Грузовик мчался вниз по направлению к крематорию. Рука Ломана торчала сбоку. Машина подпрыгивала на неровной дороге, и рука раскачивалась в такт, словно помахивала кому-то.

Пятьсот девятый огляделся, нащупал золотую коронку в кармане. Какое-то мгновение ему казалось, что зуб обязательно должен исчезнуть вместе с Ломаном. Лебенталь все еще не мог откашляться. Пятьсот девятый обернулся. Сейчас он почувствовал в своем кармане кусочек хлеба: с того самого вечера накануне он так его и не съел. Он ощутил этот кусочек, показавшийся ему бессмысленным утешением.

— Как насчет обуви, Лео? — спросил он. — Она чего-нибудь стоит?

Направляясь в крематорий, Бергер увидел Вебера и Визе. Он сразу же, прихрамывая, поспешил обратно.

— Вебер идет! С ним Хандке и какой-то штатский!

Мне кажется, что специалист по морским свин-

кам. Осторожно!

Бараки были взбудоражены. Высокие чины СС почти никогда не появлялись в Малом лагере. Каждый знал, что на то есть особая причина.

— Овчарка, Агасфер! — крикнул Пятьсот девятый. — Спрячь ее!

— Ты думаешь, они хотят провести ревизию в бараках?

— Может, и нет. С ними штатский.

— Где они? — спросил Агасфер. — Еще есть время?

— Да. Быстрее!

Овчарка покорно улеглась на пол, Агасфер принялся ее ласкать, а Пятьсот девятый — вязать ей ноги, чтобы она не могла выбежать наружу. Правда, она никогда этого не делала. Но этот визит был чрезвычайный, и лучше было не рисковать. Агасфер еще засунул ей тряпку в пасть, чтобы она могла только дышать, но не лаять. Потом они оттащили ее в самый темный угол барака.

— Здесь сидеть! — Агасфер поднял руку. — Тихо! На место! — Овчарка попыталась подняться. — Лежать! Тихо! Ни с места! — Безумный пес опустился на пол.

— Всем выйти из барака! — крикнул Хандке у дверей.

Скелеты, толпясь, стали выходить из барака и строиться. Кто не мог идти самостоятельно, того поддерживали или несли и клали на землю.

Это была жалкая кучка полуживых, умирающих людей. Обращаясь к Визе, Вебер сказал:

— Это то, что вам требуется?

У Визе ноздри так и заходили, словно он почуял жаркое.

— Прекрасные образцы, — пробормотал он. Надев роговые очки, он прошелся благожелательным взглядом по рядам.

— Желаете себе кого-нибудь отобрать? — спросил Вебер.

Визе откашлялся.

— Да, но в общем-то речь шла о добровольцах…

— Воля ваша, — ответил Вебер. — Как хотите. Итак, шесть человек для участия в легких работах — шаг вперед!

В ответ никто не двинулся с места. Вебер побагровел. Старосты блоков продублировали команду и стали спешно выталкивать людей вперед. Утомленно прохаживаясь вдоль рядов, Вебер вдруг наткнулся на Агасфера перед двадцать вторым бараком.

— А этот вот! С бородой! — вскрикнул он. —

Выйти из строя! Ты что, не знаешь, быть в таком виде запрещается? Староста блока! Вы здесь на что? Что еще за выдумки? Шаг вперед, тебе говорю!

Агасфер выступил вперед.

— Этот чересчур старый, — пробормотал Визе, потянув Вебера назад. — Минуточку. Мне кажется, это надо делать не так. Люди, — проговорил он мягким голосом. — Всех вас необходимо положить в госпиталь. Всех. Но в лагерном лазарете нет больше ни одного места. Шестерых из вас я могу поместить куда-нибудь еще. Вам требуются супы, мясо и калорийная пища. Шестеро, которые нуждаются в этом больше других, пусть сделают шаг вперед.

В ответ никто не шелохнулся. В такие сказки никто в лагере уже не верил. Кроме того, ветераны узнали Визе. Им было известно, что он уже несколько раз брал отсюда людей. И никто из них не вернулся.

— У вас, наверное, еще слишком много жратвы, а? — резко бросил Вебер. — Мы об этом позаботимся. Шестеро шаг вперед, и поживей!

Из секции «Б», покачиваясь, вышел вперед скелет и замер.

— Вот этот годится, — сказал Визе, разглядывая

его. — Вы благоразумны, мой дорогой. Мы вас обязательно подкормим.

Из строя вышел второй. И еще один. Это были люди из вновь прибывших.

— А ну, живей! Еще трое! — сердито орал Вебер. Он считал, что идея с добровольцами пришла Нойбауэру с похмелья. Прежде канцелярия отдавала приказ — шестерых отправляли, и конец.

У Визе дернулись уголки рта.

— Люди, я лично гарантирую вам хорошую пищу. Мясо, какао, питательные супы!

— Господин штабной доктор, — сказал Вебер. — Эта банда не понимает, когда с нею так разговаривают.

— Мясо? — спросил скелет Вася, который, как загипнотизированный, стоял рядом с Пятьсот девятым.

— Разумеется, мой дорогой. — Визе повернулся к нему. — Причем каждый день. Каждый день мясо.

Вася что-то жевал. Пятьсот девятый предостерегающе толкнул его локтем. Он сделал это едва заметно. Но Вебер тем не менее уловил момент.

— Пес паршивый! — Он ткнул Пятьсот девятому в живот. Удар был не очень сильный. По мнению Вебера, это был не столько удар-наказа-

ние, сколько удар-предостережение. Но Пятьсот девятый упал как подкошенный.

— Встать, симулянт!

— По-другому надо, по-другому, — пробормотал Визе, останавливая Вебера. — Они мне нужны живые.

Он наклонился над Пятьсот девятым и ощупал его. Мгновение спустя Пятьсот девятый открыл глаза. Он смотрел не на Визе, а на Вебера. Визе выпрямился.

— Вам надо в госпиталь, дорогой. Мы о вас позаботимся.

— У меня нет никаких травм, — тяжело проговорил Пятьсот девятый и не без труда поднялся.

Визе улыбнулся.

— Как врач я это знаю лучше. Он повернулся к Веберу.

— Итак, еще двое. Остается последний. Более молодой.

Он показал на Бухера, стоявшего с другой стороны от Пятьсот девятого.

— Может, вон тот…

— Шаг вперед. Марш!

Бухер встал рядом с Пятьсот девятым и другими. Теперь Вебер увидел чешского мальчика Карела.

— Вот еще полпорции. Может, устроит вас как довесок?

— Спасибо. Мне нужны взрослые, сформировавшиеся люди. Этих вполне достаточно. Сердечно благодарен.

— Хорошо. Вы, шестеро, через пятнадцать минут явитесь в канцелярию. Староста блока! Записать номера! И помыться, свиньи вы грязные!

Они стояли словно пораженные громом. Все молчали. Они знали, что все это означало. Ухмылялся только Вася. Он стал слабоумным от голода и верил в то, что сказал Визе. Трое новеньких тупо смотрели в пустоту. Они беспрекословно выполнили бы любое приказание, даже побежали бы по проволоке, через которую пропущен электрический ток. Агасфер лежал на земле и стонал. Хандке избил его дубинкой после ухода Вебера и Визе.

— Йозеф! — долетел до них слабый голос из женского лагеря.

Бухер не шелохнулся. Бергер слегка подтолкнул его.

— Это Рут Голланд.

Женский лагерь примыкал слева к Малому лагерю. Их разделял двойной ряд колючей проволоки, по которой не пропускали электрический

ток. Лагерь состоял из двух небольших бараков, построенных во время войны с началом новых массовых репрессий. Прежде женщины в лагерях не сидели.

Два года назад Бухер несколько недель там проработал столяром. Там же он и познакомился с Рут Голланд. Оба иногда накоротке тайно встречались и переговаривались, но потом Бухера перевели в другую коммандос. Они снова увиделись только после того, как он попал в Малый лагерь. Иногда ночью или в туман они могли шепотом беседовать друг с другом.

Рут Голланд стояла за колючей проволокой, разделявшей оба лагеря. Ветер обдувал тонкие ноги узницы в полосатом халате.

— Йозеф! — воскликнула она снова. Бухер поднял голову.

— Отойди от проволоки! Тебя видно!

— Я все слышала. Не делай этого!

— Отойди от проволоки, Рут! Часовой может выстрелить.

Она покачала головой. У нее были короткие и совсем седые волосы.

— Не надо! Оставайся здесь! Не уходи! Оставайся здесь, Йозеф!

Бухер бросил беспомощный взгляд на Пятьсот

девятого.

— Мы вернемся, — ответил за него Пятьсот девятый.

— Он не вернется. Я это знаю. Тебе это тоже известно. — Она прижалась руками к проволоке. — Никто больше не вернется.

— Возвращайся, Рут! — Бухер бросил взгляд на сторожевые башни. — Стоять здесь небезопасно.

— Он не вернется. Вы все это знаете!

Пятьсот девятый молчал. Здесь трудно было что-нибудь возразить. Он внутренне просто онемел. Утратил всякое восприятие. Других и самого себя. Он знал, всему конец, но еще не ощутил этого. Он чувствовал только пустоту.

— Он никогда уже не вернется, — повторила Рут Голланд. — Не надо ему уходить.

Бухер уперся взглядом в землю. Он был слишком заторможен, чтобы продолжить разговор.

— Не надо ему уходить, — проговорила Рут Голланд. Это было, как причитание. Монотонное и бесчувственное. Это было уже по ту сторону возбуждения. — Пусть идет кто-нибудь другой. Он молод. За него должен пойти кто-нибудь другой…

Воцарилось молчание. Каждый понимал, что идти должен Бухер. Хандке переписал все номера.

Ну а кто мог бы пойти вместо него?

Они стояли, посматривая друг на друга. Те, кто должны были идти, и те, кто оставались. Они глядели друг на друга. Если бы сверкнула молния и убила Бухера и Пятьсот девятого, это еще можно было бы вынести. Однако невыносимым было то, что в этом последнем взгляде еще заключалась ложь. Это безмолвное: «А почему я?», а с другой стороны: «Слава Богу, что не я! Нет, все же не я!»

Агасфер медленно поднялся с земли. Он, словно завороженный, еще какое-то мгновение смотрел прямо перед собой. Потом нахлынули воспоминания, и он что-то прошептал.

Бергер обернулся.

— Это я виноват, — вдруг прохрипел старик. — Я… со своей бородой… из-за нее он сюда попал! Иначе бы он остался там…

Он обеими руками стал дергать свою бороду. По лицу потекли слезы. Агасфер был слишком слаб, чтобы вырвать себе волосы. Он сидел на земле и мотал головой.

— Отправляйся в барак, — резко сказал Бергер. Агасфер пристально посмотрел на него. Потом он упал прямо лицом на землю и взвыл.

— Нам надо идти, — сказал Пятьсот девятый.

— Где зуб с коронкой? — спросил Лебенталь.

Пятьсот девятый сунул руку в карман и протянул зуб Лебенталю.

— Вот…

Лебенталь взял коронку. Он дрожал.

— Твой Бог! — произнес он заикаясь, сделав какой-то неопределенный жест в направлении города и сгоревшей дотла церкви. — И вот вам знамение! Твой огненный столб!

Пятьсот девятый, вынимая зуб, снова нащупал кусочек хлеба. И какой был толк от того, что он его не съел. Он протянул его Лебенталю.

— Ешь сам, — ответил сердито и беспомощно Лебенталь. — Он твой.

— Для меня это больше не имеет смысла.

Между тем кусочек хлеба привлек внимание одного мусульманина. С широко раскрытым ртом он устремился, спотыкаясь, к Пятьсот девятому, вцепился ему в руку, стараясь вырвать хлеб. Пятьсот девятый оттолкнул его и сунул кусочек хлеба в руку Карела, который все время молчаливо стоял рядом. Мусульманин вцепился в Карела. Мальчик спокойно и уверенно ударил его в стопу. Мусульманин зашатался, и остальные оттолкнули его в сторону.

Карел посмотрел на Пятьсот девятого.

— Вас что, отравят газом? — спросил он дело-

вым тоном.

— Здесь нет газовых камер, Карел. Тебе не мешало бы это знать, — сказал сердито Бергер.

— Нам то же самое говорили в Бирленау. Если вам дадут полотенца и скажут, чтобы вы искупались, значит, готовьтесь к газовой камере.

Бергер отодвинул его в сторону.

— Иди и ешь свой хлеб, иначе у тебя кто-нибудь отнимет.

— Я начеку. — Карел сунул хлеб в рот. Он просто поинтересовался, словно расспрашивал, как проехать куда-то, и не имел в виду ничего дурного. Он вырос в концлагерях и другого не знал.

— Пошли, — сказал Пятьсот девятый.

Рут Голланд расплакалась. Ее руки висели, как птичьи когти, на колючей проволоке. Она оскалила зубы и застонала. Слез не было видно.

— Пошли, — повторил Пятьсот девятый. Он окинул взглядом остающихся. Большинство из них уже равнодушно расползались по баракам. Стояли на месте только ветераны и еще несколько других. Вдруг Пятьсот девятому показалось, что ему надо сказать еще что-то страшно важное, такое, от чего зависит все остальное. Он старался изо всех сил, но не мог излить это в мысли и слова.

— Помните об этом, — выдавил он из себя в конце концов.

Никто не ответил ему. Он понимал, они это забудут. Они ведь уже слишком часто видели подобное. Разве что Бухер этого не забыл бы, он достаточно молод. Но он был вместе с ним.

Они заковыляли по дороге. Они так и не помылись. Это было ухищрение Вебера. В лагере всегда не хватало воды. Они тащились вперед не оглядываясь. Вот миновали ворота с колючей проволокой, отделявшие Малый лагерь. Ворота для издыхающих. Вася чавкал. Трое новеньких шагали, как автоматы. Остались позади первые бараки трудового лагеря. Рабочие коммандос уже давно ушли на объект. Опустевшие бараки производили безутешное впечатление. Но сейчас они казались Пятьсот девятому самыми желанными на свете. Они вдруг предстали перед ним как символ жизни, защищенности и безопасности. Сейчас ему так хотелось бы заползти туда и спрятаться прочь от этого безжалостного приближения смерти. «Еще бы два месяца, — подумал он глухо. — Может быть, даже две недели. И вот все впустую. Впустую».

— Камарад, — вдруг проговорил кто-то рядом с ним. Это было у тринадцатого барака. Человек

стоял перед дверью, лицо его было черным от щетины.

Пятьсот девятый поднял глаза.

— Помните об этом, — пробормотал он. С этим человеком он никогда не был знаком.

— Мы это будем помнить, — ответил человек. — Куда вы идете?

Люди, оставшиеся в трудовом лагере, видели Вебера и Визе. Они понимали, что это не просто так.

Пятьсот девятый остановился. Он измерил человека взглядом. Напряженность сразу исчезла. Он снова ощутил в себе потребность сказать нечто важное, чтобы оно было услышано.

— Никогда этого не забывайте, — прошептал он настойчиво. — Никогда! Никогда!

— Никогда! — повторил человек твердым голосом. — Куда вас теперь?

— В лазарет. Как подопытных кроликов. Никогда этого не забывайте! Как тебя зовут?

— Левинский Станислаус.

— Никогда не забывай об этом, Левинский, — сказал Пятьсот девятый. Ему казалось, что упоминание имени придает его увещеванию дополнительный акцент, — Левинский, никогда не забывай об этом.

— Я это не забуду.

Левинский дотронулся ладонью до плеча Пятьсот девятого. Тот воспринял это прикосновение как нечто большее… и еще раз взглянул на Левинского. Тот кивнул. Его лицо было похоже на лица в Малом лагере. Пятьсот девятый почувствовал, что его поняли. И он продолжил свой путь.

Его ждал Бухер. Они догнали четверых других, тяжело шагавших по дороге.

— Мясо, — бормотал Вася. — Суп и мясо.

В канцелярии пахло холодным спертым воздухом и гуталином. Специально выделенный дежурный подготовил все бумаги. Он измерил их безучастным взглядом.

— Вам надо расписаться здесь.

Пятьсот девятый посмотрел на стол. Он не понимал, что здесь надо было подписывать. Обычно заключенным отдавали команду, и конец. Потом он почувствовал, что кто-то его пристально разглядывает. Это был один из писарей, сидевший сзади дежурного. У него были огненно-рыжие волосы. Когда тот увидел, что Пятьсот девятый ощутил на себе его взгляд, он незаметно повернул голову справа налево.

Вошел Вебер. Все замерли по стойке «смирно».

— Продолжайте! — скомандовал он и взял бу-

маги со стола. — Еще не готовы? А ну-ка быстро подписать это!

— Я не умею писать, — сказал Вася, стоявший к Веберу ближе всех.

— Тогда поставь здесь три креста. Следующий! Один за другим подошли трое новеньких. Пятьсот девятый судорожно попробовал взять себя в руки. Ему казалось, что где-то еще должен быть выход. Он снова посмотрел на писаря. Но тот больше не поднимал глаз.

— Теперь ты, — прорычал Вебер. — Шевелись! Заснул что ли, а?

Пятьсот девятый взял в руки бумагу. В его взгляде отражалась мутная поволока. Несколько напечатанных на машинке строк прыгали у него перед глазами.

— Еще читать будешь! — Вебер толкнул его. — Подписывай, ты, гад вонючий!

Пятьсот девятый прочел. Дойдя до слов «настоящим я добровольно заявляю», он бросил лист на стол. Это была она — последняя отчаянная возможность! Именно ее имел в виду писарь.

— Быстрее, ты, дерьмо! Я что, должен водить твоей рукой?

— Добровольно я не пойду, — сказал Пятьсот девятый.

Дежурный уставился на него. Писари подняли головы и сразу снова склонились над своими бумагами. На какое-то мгновение наступила мертвая тишина.

— Что-о? — спросил Вебер, не веря своим ушам. Пятьсот девятый вдохнул воздух в легкие.

— Добровольно я не пойду.

— Значит, ты отказываешься подписать?

— Да.

Вебер облизал губы.

— Итак, ты не желаешь подписать? — он схватил Пятьсот девятого за левую руку, вывернул ее и завел высоко за спиной. Пятьсот девятый повалился плашмя на пол. Вебер продолжал удерживать вывернутую руку, подтянул на ней тело Пятьсот девятого, покачал его и наступил ногой на спину. Пятьдесят девятый вскрикнул и затих.

Другой рукой Вебер взял его за шиворот и поставил на ноги. Пятьсот девятый бухнулся на пол.

— Дохлятина! — прорычал Вебер. Потом он открыл дверь. — Клейнерт! Михель! Вынесите это ничтожество отсюда и приведите его в чувство. Я сам выйду к вам.

Они вытащили Пятьсот девятого наружу.

— Теперь ты! — сказал Вебер Бухеру. — Подписывай!

Бухер задрожал. Он не хотел этого, однако уже не владел собой. Пятьсот девятого рядом не было. Неожиданно Бухер остался один. Все в нем размякло, но он понял, что должен быстро проделать то, что уже сделал Пятьсот девятый, иначе будет поздно, и тогда придется, как автомат, выполнять все, что ему прикажут.

— Я тоже не подпишу, — пробормотал он. Вебер ухмыльнулся.

— Вы только посмотрите! Еще один нашелся! Ну прямо как в самом начале, в старые добрые времена!

Бухер едва почувствовал удар и погрузился в какое-то зловещее затмение. Когда пришел в себя, над ним стоял Вебер. «Пятьсот девятый, — подумал он. — Пятьсот девятый старше меня на целых двадцать лет. С ним Вебер устроил ту же самую расправу. Поэтому я обязан выстоять!» Он ощущал жуткие боли, жжение, ножи в лопатках, он не слышал собственного крика — и потом снова затмение.

Когда он снова пришел в себя, то лежал уже рядом с Пятьсот девятым на цементном полу в другом помещении. Сквозь шум долетел голос Вебера: «Можно было бы подписать за вас — и конец делу; но я на это не пойду. Я не спеша сло-

маю ваше упрямство. Вы сами это подпишете. Вы будете на коленях умолять меня разрешить вам подписать, если только к тому времени у вас хватит на это сил».

Пятьсот девятый воспринимал голову Вебера как темное пятно перед окном. Она казалась ему очень большой на фоне неба. Голова была смертью, а небо за окном — неожиданно жизнью. Жизнью, совершенно не важно, где и какой — во вшах, побоях, крови, — тем не менее жизнью, пусть даже на самый короткий миг. Потом в это восприятие ворвалась деревянная тупость, нервы сочувственно снова отключились, и вот уже ничего больше не осталось, кроме приглушенного грохота. «К чему сопротивляться? — сверлила его сознание какая-то глухая мысль, когда он снова пришел в себя. — Ну какая разница — быть забитым до смерти здесь или подписать бумагу и погибнуть от укола. Так даже быстрее и не столь мучительно». Но потом он услышал рядом голос, свой собственный голос, которым, казалось, говорил кто-то другой: «Нет, я все равно не подпишу, даже если вы меня убьете».

Вебер рассмеялся.

— Тебе, наверное, этого очень хочется, ты, скелет. Чтобы все это поскорее кончилось, не так ли?

Но убиение длится у нас неделями. Сейчас это только начало.

Он снова взял в руки поясной ремень. Удар пришелся Пятьдесят девятому по глазам, глаза у него были посажены слишком глубоко. Потом ремень угодил в губы, и они треснули, как высохший пергамент. После нескольких ударов по черепу застежкой ремня он снова потерял сознание.

Вебер оттащил его в сторону и принялся избивать Бухера. Тот попытался отстраниться, но не успел.

И удар пришелся по носу. Бухер скорчился от боли, и в этот момент Вебер ударил ему между ног. Бухер вскрикнул. Он еще пару раз ощутил, как застежка врезалась ему в шею. Потом снова впал в забытье.

Он слышал беспорядочные голоса, но не подавал признаков жизни. Пока он внешне без сознания, его не станут бить. Голоса бесконечно проносились над ним. Он старался не прислушиваться, но они приближались, заполняя его уши и разум.

— Мне очень жаль, господин доктор, но если люди не хотят добровольно… Вы же видите, Вебер всячески пытался их уговорить.

Нойбауэр был в прекрасном настроении. Все,

что произошло, подтвердило его ожидания.

— Вы от них этого требовали? — спросил он Визе.

— Разумеется, нет.

Бухер попробовал незаметно приоткрыть глаз, но не мог контролировать свои веки. Они открывались, как у механической куклы. Он увидел Визе и Нойбауэра. Потом разглядел Пятьсот девятого. У него тоже были открыты глаза. Вебера в комнате больше не было.

— Конечно, нет, — подчеркнул еще раз Визе. — Как культурный человек…

— Как культурный человек, — прервал его Нойбауэр, — вы нуждаетесь в этих людях для своих опытов, не так ли?

— Это в интересах науки. Наши опыты спасают жизни десяткам тысяч других людей. Вы, наверно, не понимаете, что…

— Почему вы так считаете? Но вы, видимо, не понимаете происходящего здесь. Все дело в элементарной дисциплине. Это исключительно важно.

— Каждый по-своему прав, — произнес высокомерно Визе.

— Разумеется, разумеется. Жаль только, что я оказался не в состоянии быть вам более по-

лезным. Но мы не можем принуждать наших подопечных. К тому же находящиеся здесь люди весьма неохотно покидают территорию лагеря. — В доказательство он повернулся к Пятьсот девятому и Бухеру.

— Скажите, вы ведь предпочитаете остаться в лагере?

Пятьсот девятый повел губами.

— Не так ли? — резко спросил Нойбауэр.

— Да, — ответил Пятьсот девятый.

— Ну, а ты там?

— Я тоже, — прошептал Бухер.

— Вот видите, господин штабной доктор. — Нойбауэр улыбнулся. — Людям здесь нравится. Тут уж ничего не поделаешь.

Визе сдержал улыбку.

— Дураки, — бросил он презрительно по адресу Пятьсот девятого и Бухера. — В этот раз мы действительно не хотели ничего иного, кроме экспериментов с питанием.

Нойбауэр отогнал от себя дым собственной сигары.

— Тем лучше. Двойное наказание за неподчинение. Впрочем, если вы захотите поискать в лагере желающих, вам предоставляется такая возможность, господин доктор.

— Благодарю, — холодно ответил Визе.

Нойбауэр закрыл за ним дверь и вернулся в помещение. Над ним сгустилось пряное голубоватое облачко табачного дыма. Пятьсот девятый вдруг понял, что он чувствует запах табака и даже какой-то зуд в легких. Это не имело к нему никакого отношения; это было чужое самостоятельное ощущение, вцепившееся когтями в его легкие. Он бессознательно сделал глубокий вдох и, наблюдая за Нойбауэром, втянул дым. Мгновение Пятьсот девятый не мог понять, почему он и Бухер вместе с Визе остались в этом помещении. Но потом до него дошло. Объяснение могло быть только одно. Они отказывались подчиниться офицеру СС, и за это их ждет в лагере наказание. Его легко можно было предвидеть— людей вешали только за то, что они не подчинялись дежурному. «Отказ подписать был ошибкой, — почувствовал он вдруг. — С Визе у нас, наверное, еще был бы шанс. Вот теперь нам конец».

Удушающее раскаяние нарастало в его душе. Оно сдавливало живот, накатывалось на глаза. Вместе с тем он остро и непонятно почему ощутил щемящее желание глотнуть табачного дыма.

Нойбауэр рассматривал номер на груди Пятьсот девятого. Он был одним из самых ранних.

— Ты давно уже здесь? — спросил он.

— Десять лет, господин оберштурмбаннфюрер.

Десять лет. Нойбауэр даже не знал, что есть заключенные с момента создания лагеря. «Собственно говоря, это — доказательство моей мягкости, — подумал он. — Таких лагерей наверняка не так уж много. Подобное могло порой оказаться весьма полезным. Трудно все предугадать». Он затянулся сигарой.

Вошел Вебер. Нойбауэр вынул сигару изо рта и рыгнул. На завтрак он ел копченую колбасу и глазунью — одно из своих любимых блюд.

— Оберштурмфюрер Вебер, — сказал он. — То, что здесь происходило, приказом не предусматривалось.

Вебер бросил на него взгляд. Он ждал, что это шутка, но улыбки не последовало.

— Мы их повесим сегодня вечером на перекличке, — сказал он наконец.

Нойбауэр еще раз рыгнул.

— Такого в приказе не было, — повторил он. — Впрочем, почему вы беретесь за такие дела сами?

Вебер ответил не сразу. Он никак не мог понять Нойбауэра, который затеял разговор из-за таких мелочей.

— Для этого ведь достаточно людей, — добавил Нойбауэр. В последнее время Вебер позволяет себе все большую самостоятельность. Все бы ничего, если бы он помнил, кто здесь командует. — Что случилось с вами, Вебер? Может, нервы сдают?

— Нет.

Нойбауэр снова повернулся к Пятьсот девятому и Бухеру. Вебер сказал: «Повесить». В общем, все правильно. Но какой смысл? День сложился лучше, чем можно было предполагать. Кроме того, приятно было дать Веберу понять, что не все должно происходить так, как ему захочется.

— Это не было прямым отказом от выполнения приказа, — объяснил он. — Я велел подготовить волонтеров. В данном случае это не так. Посадите этих людей на двое суток в бункер, и больше ничего. Больше ничего, Вебер, понятно? Мне хотелось, чтобы мои приказы выполнялись.

— Так точно.

Нойбауэр ушел. Довольный, с сознанием своего превосходства, Вебер с презрением посмотрел ему вслед. «Нервы, — подумал он. — У кого здесь крепкие нервы? И у кого ни к черту не годные? Двое суток в бункере!» Он сердито обернулся. Солнечная полоска упала на расквашенное лицо Пятьсот девятого. Вебер вгляделся в него.

— А ведь я тебя знаю. Откуда?

— Не могу знать, господин оберштурмфюрер.

Пятьсот девятый все отлично помнил. Просто он надеялся, что Вебер запамятовал.

— Все же я тебя знаю. Откуда у тебя эти увечья?

— Я упал, господин оберштурмфюрер.

Пятьсот девятый вздохнул. Это были старые уловки. Шутки начального периода. Никому не разрешалось признаваться в том, что его избили.

Вебер посмотрел на него еще раз.

— Откуда же мне знакома эта рожа? — пробормотал он и открыл дверь. — Отправить этих в бункер. На двое суток. — Он снова повернулся к Пятьсот девятому и Бухеру. — Только не думайте, скоты, что вы от меня улизнули. Все равно я вас повешу!

Их вытащили наружу. Пятьсот девятый от боли закрыл глаза, но почувствовав свежий воздух, снова открыл. Вот и небо. Голубое и безбрежное. Он повернул голову к Бухеру и посмотрел на него: они унесли ноги. По крайней мере, пока. В это трудно было поверить.

VII

Они прямо выпали из бункеров, когда двое суток спустя шарфюрер Бройер велел открыть двери. Последние тридцать часов оба пребывали то в полузабытьи, то в беспамятстве. В первые сутки они еще перестукивались изредка друг с другом, но это длилось недолго.

Их вынесли наружу. Они лежали на «танцплощадке» рядом со стеной, окружавшей крематорий. Их видели сотни людей; никто к ним не прикасался. Никто не помог им встать с земли. Каждый делал вид, что их в упор не замечает. Приказа насчет их судьбы не было, поэтому они просто не существовали. Прикоснешься к ним и сам загремишь в бункер.

Два часа спустя в крематорий были доставлены первые мертвецы этого дня.

— Что с ними? — спросил лениво осуществлявший наблюдение эсэсовец. — Их вместе вот с ними?

— Эти двое из бункера. — Отдали концы?

— Похоже на то.

Эсэсовец увидел, что у Пятьсот девятого ладонь

медленно сжалась в кулак и опять разжалась.

— Не совсем, — сказал он. У него разболелась спина. В минувшую ночь он явно перегулял с Фритци в «Летучей мыши». Он закрыл глаза. Он выиграл у Гофмана. Гофмана с Вильмой. Бутылку «Эннеси». Хороший коньяк. Только вот вымотался здорово. — Выясните в бункере или в канцелярии, что с ними делать, — сказал он санитару из морга.

Посыльный вернулся. Ввиду срочности вопроса с ним был и рыжий писарь.

— Этих обоих выпустить из бункера, — доложил он. — Отправить в Малый лагерь. Сегодня же во второй половине дня. Приказ комендатуры.

— Тогда забирайте их отсюда. — Эсэсовец заглянул в список. — У меня здесь значится тридцать восемь покойников. — Он пересчитал трупы, тщательно уложенные перед входом. — Тридцать восемь. Так и есть. Не путайте этих с теми, иначе опять будет неразбериха.

— Эй, вы, четверо! Доставить обоих в Малый лагерь! — скомандовал дежурный из морга.

Четверо взялись за дело.

— Сюда, — прошептал рыжий писарь. — Быстрее! Оттащите их от мертвых! Сюда их!

— Они ведь почти испустили, дух, — прогово-

рил один из санитаров.

— Заткни глотку! Пошли! Они оттащили Пятьсот девятого и Бухера от стены.

Писарь наклонился над ними и прислушался.

— Они живы. Сбегайте за носилками! И побыстрее! Он огляделся. Он боялся, что Вебер явится сюда, вспомнит и заставит повесить обоих. Он подождал, пока придут санитары с носилками. Это были грубо сколоченные доски, на которых обычно переносили покойников.

— Кладите их! Да побыстрей!

Место вокруг ворот и крематория всегда было небезопасным. Там можно наткнуться на эсэсовцев, да и шарфюрер Бройер неподалеку. Он весьма неохотно выпускал кого-нибудь из бункера живым. Приказ Нойбауэра выполнен. Пятьсот девятый и Бухер выпущены и теперь снова стали дичью, на которую разрешена охота. Каждый мог отвести на них душу, не говоря уже о Вебере, который считал бы чуть ли не честью для себя прикончить их, если бы узнал, что они живы.

— Чушь какая-то! — проговорил уныло один из санитаров. — Тянуть их на своем горбу в Малый лагерь, уже завтра утром наверняка тащить обратно. Да они и пару часов не протянут.

— Какое твое дело, идиот! — вдруг крикнул на

него в ярости рыжий писарь. — Давай! Вперед! Разум-то хоть в вас еще остался?

— Да, — сказал пожилой санитар, поднявший с земли носилки, на которых лежал Пятьсот девятый. — Что с ними приключилось? Что-нибудь необычное?

— Эти двое из двадцать второго барака. — Писарь посмотрел вокруг и подошел вплотную к санитару. — Это те самые двое, которые два дня назад отказались подписать.

— Что подписать?

— Заявление для доктора по морским свинкам. Тогда он забрал четверых остальных.

— Что? И их до сих пор не повесили?

— Нет. — Писарь прошелся еще немного вдоль носилок. — Их велено вернуть в бараки. Таков приказ. Поэтому отнесите их побыстрей, чтобы никто не помешал.

— Ах, вот как! Понимаю!

Санитар вдруг так резко прибавил шагу, что уперся носилками в ноги впереди идущего.

— Что случилось? — спросил тот сердито. — Ты с ума сошел?

— Нет. Сначала давай унесем обоих отсюда. Потом я тебе расскажу, в чем дело.

Писарь отстал от них. Оба санитара молча и

торопливо отмеряли шаг, пока не миновали административное здание. Солнце опускалось за горизонт. Пятьсот девятый и Бухер пробыли в бункере на полсуток дольше, чем было приказано. От подобной небольшой вариации Бройер просто не мог отказаться.

Впереди идущий санитар обернулся.

— Ну так в чем же дело? Наверно, какие-нибудь бонзы?

— Нет. Но они — двое из тех шестерых, которых Вебер в пятницу отобрал в Малом лагере.

— Что же с ними сделали? У них такой вид, словно их просто-напросто избивали.

— Так оно и есть. Потому что они отказались пойти с присутствовавшим штабным доктором. Он уже часто брал отсюда кое-кого. Опытная станция недалеко от города.

Впереди идущий тихонько присвистнул.

— Черт возьми, и они еще живы?

— Сам видишь.

Первый покачал головой.

— И теперь их даже выпустили из бункера? И не повесили? Что-то здесь не то. Такого я что-то не припомню!

Они приблизились к первым баракам. Было воскресенье. Проработав весь день, рабочие ком-

мандос недавно вернулись в лагерь. На улицах было много заключенных. Весть о происшедшем распространилась со скоростью ветра.

В лагере знали, с какой целью забрали шестерых. Знали также, что сидели в бункере Пятьсот девятый и Бухер. Об этом сразу стало известно через канцелярию, и об этом скоро снова забыли. Никто не ожидал их возвращения живыми. Теперь они вернулись — и даже тот, кто ничего не знал, вдруг увидел, что вернулись они вовсе не из-за своей непригодности, в противном случае чего ради их было так мордовать.

— Давай, — сказал кто-то из толпы шагавшему сзади санитару. — Я помогу нести. Так будет лучше.

Он взялся за одну из ручек носилок. Подошел еще один и вцепился во вторую переднюю ручку. Вскоре каждую пару носилок тащили четыре узника. В этом не было необходимости, ведь Пятьсот девятый и Бухер весили немного. Однако узники, которые в данный момент оказались свободными, обязательно хотели что-нибудь для них сделать. Они тащили носилки, словно те были из стекла, а обгоняя их, словно на крыльях, бежала весть: живыми возвращаются те двое, что отказались выполнить приказ… Двое из Малого

лагеря. Двое из бараков умирающих мусульман. Неслыханно. Никто не знал, что этим они были обязаны лишь сиюминутной прихоти Нойбауэра. Впрочем, это было не так уж важно. Важно было лишь то, что они отказались и вернулись живыми.

Левинский стоял перед тринадцатым бараком задолго до того, как появились люди с носилками.

— Неужели это правда? — спрашивал он уже издалека.

— Да. Ведь это они. Или нет?

Левинский подошел ближе и наклонился над носилками.

— Мне кажется, да, тот самый, с которым я разговаривал. А остальные четверо умерли?

— В бункере были только эти двое. Писарь говорит, что остальные ушли. А эти нет. Они отказались.

Левинский медленно выпрямился. Рядом он увидел Гольдштейна.

— Отказались. Ты мог бы себе такое представить?

— Нет. Только не в отношении людей из Малого лагеря.

— Я о другом. Я имею в виду, что их снова вы-

пустили.

Гольдштейн и Левинский удивленно смотрели друг на друга. К ним подошел Мюнцер.

— Видимо, тысячелетние братья помягчели, — сказал он.

— Что? — Левинский обернулся. Мюнцер высказал именно то, что думали он и Гольдштейн. — Как это тебе пришло в голову?

— Указание от самого старика, — сказал Мюнцер. — Вебер хотел их повесить.

— Откуда тебе известно?

— Рыжий писарь рассказал. Он это слышал. — Левинский мгновение помолчал, потом обратился к невысокому седому человеку:

— Сходи к Вернеру, — прошептал он. — Скажи ему, тот, который хотел, чтобы мы об этом не забыли, тоже здесь.

Человек кивнул и двинулся, прижимаясь к бараку. Между тем люди, которые тащили носилки, продолжали свой путь. Все больше узников выходили из дверей. Некоторые испуганно подходили к носилкам, чтобы посмотреть на оба тела. Когда у Пятьсот девятого свесилась рука, два человека подскочили и осторожно поправили ее.

Левинский и Гольдштейн окинули взглядом пространство сзади носилок.

— Всеобщий энтузиазм по отношению к двум живым трупам, которые просто так взяли да отказались, а? — заметил Гольдштейн.

— Уж никак не ожидал от того, кто сидит в отделении для издыхающих.

— Я тоже. — Левинский продолжал простреливать взглядом убегавшую вниз дорогу. — Они должны жить, — проговорил он. — Они не должны подохнуть. Ты знаешь, почему?

— Могу себе представить. Ты считаешь, это будет самым несправедливым?

— Да. Если они издохнут, уже на другой день их забудут. А если нет…

«Если нет, они станут для лагеря примером, символом каких-то перемен», — подумал Левинский. Он об этом только подумал, но не сказал вслух.

— Нам это нужно, — произнес он взамен. — Именно сейчас.

Гольдштейн кивнул.

Санитары шли вперед в направлении Малого лагеря. На небе разливалась дикая вечерняя заря. Она освещала правый ряд бараков трудового лагеря; левый ряд находился в глубокой тени. Лица стоявших перед окнами и дверьми теневой стороны были как всегда бледными и смазанными,

а на противоположной стороне буйствовал свет, как бурный обвал жизни, словно одолженной у кого-то взаймы. Санитары прошли сквозь гущу света. Он падал на носилки, на два перемазанных грязью и кровью тела, казалось, что не просто тащат двух избитых узников, а происходит прямо-таки триумфальное шествие, хотя и жалкое. Они выстояли. Они еще дышали. Они не дали себя победить.

Бергер хлопотал над ними. Лебенталь сварганил суп из брюквы. Им дали выпить воды, после чего в полузабытьи они снова погрузились в сон. Затем Пятьсот девятый вдруг почувствовал, как медленно отступавшее окоченение ладони сменилось ощущением тепла. Мимолетное робкое воспоминание. Откуда-то издалека. Тепло. Он открыл глаза.

Овчарка лизала ему руку.

— Воды, — прошептал Пятьсот девятый.

Бергер помазал ему йодом ободранные суставы. Он поднял глаза, взял миску с супом и поднес ее ко рту Пятьсот девятого.

— Вот, пей.

Пятьсот девятый стал пить.

— Что с Бухером? — мучительно спросил он.

— Он лежит рядом с тобой.

Пятьсот девятый попробовал задать еще вопрос.

— Он жив, — сказал Бергер. — Отдохни.

На перекличку их пришлось выносить и положить вместе с больными, которые больше не могли ходить, на землю перед бараком. Стемнело, но небо было ясное.

Начальник блока Больте провел перекличку. Он внимательно посмотрел на лица Пятьсот девятого и Бухера, как разглядывают раздавленных насекомых.

— Оба — мертвые, — сказал он. — Чего ради они лежат здесь вместе с больными?

— Они не мертвые, господин шарфюрер.

— Еще нет, — добавил староста блока Хандке.

— Значит, завтра они «вылетят в трубу». Можно отдать голову на отсечение.

Больте быстро ушел. У него были деньги, и он решил сгонять партию в карты.

— Разойдись! — прокричали начальники блоков. — Кому идти за едой, шаг вперед!

Ветераны осторожно отнесли Пятьсот девятого и Бухера в барак. Хандке с ухмылкой наблюдал за этим.

— Эти оба, что у вас, из фарфора, а?

Никто ему не ответил. Он еще немного постоял

и потом тоже ушел.

— Вот свинья! — пробурчал Вестгоф и сплюнул. — Грязная свинья!

Бергер внимательно разглядывал его. Вестгофа уже некоторое время одна мысль о лагере приводила в бешенство. Утратив спокойствие, он таинственно размышлял о чем-то, разговаривал сам с собой, затевая всякие споры.

— Поспокойнее, — резко бросил Бергер. — Не шутите. Мы все знаем, что происходит с Хандке.

Вестгоф уставился на него.

— Заключенный, такой же, как мы. А такая свинья. Ну прямо…

— Это каждому знакомо. Есть десятки в его положении, которые еще хуже. Власть развращает, тебе это уже давно пора знать. Вот, а теперь помоги-ка нам.

Они приготовили Пятьсот девятому и Бухеру каждому по кровати. Для этого шестерым пришлось лечь на пол. Одним из них был Карел, мальчик из Чехословакии. Он помогал втаскивать обоих.

— Шарфюрер ничего не понимает, — сказал он Бергеру.

— Ну?

— Не вылетит их прах в трубу. Завтра это не

произойдет. Это точно. Можно было бы спокойно заключать пари.

Бергер посмотрел на него. Маленькое личико было полно взрослой деловитости. «Вылететь в трубу» — это было лагерное выражение о тех, кого сжигали в крематории.

— Послушай, Карел, — сказал Бергер. — С эсэсовцами можно заключать пари только тогда, когда уверен, что проиграешь. Но и тогда лучше не стоит.

— Завтра они не вылетят в трубу. Причем оба. Те, что там, другое дело. — Карел показал на трех мусульман, которые лежали на полу.

Бергер снова окинул его взглядом.

— Ты прав, — сказал он.

Карел кивнул не без особой гордости. Он неплохо разбирался в этих вещах.

На следующий вечер к ним вернулся дар речи. Их лица были истощены, поэтому припухлостей не было. Кожа была иссиня-черной, губы разодраны, но глаза — живые.

— Не шевелите губами, когда говорите, — сказал Бергер.

Это было несложно. Они освоили такую премудрость за годы, проведенные в лагере. Каждый, посидевший продолжительное время, умел гово-

рить, не напрягая ни один мускул.

После того как принесли пищу, раздался неожиданный стук в дверь. У всех сжались сердца. Каждый про себя задал вопрос: «Неужели они все же пришли, чтобы забрать обоих?»

Стук повторился, осторожно и едва слышно.

— Пятьсот девятый! Бухер! — прошептал Агасфер. — Делайте вид, что вы мертвые!

— Открой, Лео, — прошептал Пятьсот девятый. — СС приходят не так.

Стук прекратился. Несколько секунд спустя в бледном свете окна выросла тень, сделавшая знак рукой.

— Открой, Лео, — проговорил Пятьсот девятый. — Это из трудового лагеря.

Лебенталь открыл дверь, и тень впорхнула внутрь.

— Левинский, — сказал он в темноту. — Станислаус. Кто не спит?

— Все.

Левинский пытался на ощупь приблизиться к говорившему в темноте Бергеру.

— Где? Я боюсь на кого-нибудь наступить.

— Стой на месте. Подошел Бергер.

— Здесь. Садись сюда.

— Оба живы?

— Да. Они лежат слева рядом с тобой. Левинский что-то сунул в руку Бергера.

— Здесь вот кое-что…

— Что?

— Йод, аспирин и вата. Здесь еще моток марли. А это перекись водорода.

— Прямо настоящая аптека, — сказал удивленно Бергер. — Откуда у тебя все это?

— Стащили. В госпитале. Один из нас там делает уборку.

— Хорошо. Все пригодится.

— А это сахар. Кусковой. Дай им его в растворе. Это полезно.

— Сахар? — спросил Лебенталь. — Откуда он у тебя?

— Откуда-нибудь. Ты ведь Лебенталь, да? — спросил Левинский в темноту.

— Да, а почему вдруг?

— Потому что ты об этом спрашиваешь.

— Я не поэтому спросил, — ответил обиженно Лебенталь.

— Я не могу тебе сказать, откуда он. Его достал кто-то из девятого барака. Для обоих. И еще немного сыра. А эти шесть сигарет от одиннадцатого барака.

Сигареты! Целых шесть сигарет! Потрясающее

богатство. Все на мгновение замолчали.

— Лео, — произнес Агасфер. — Он лучше, чем ты.

— Ерунда. — Левинский говорил отрывисто и быстро, словно задыхаясь. — Они принесли это до того, как заперли бараки. Знали, что я могу пройти оттуда сюда, когда лагерь взаперти.

— Левинский, — шепотом произнес Пятьсот девятый. — Это ты?

— Да.

— Ты можешь выйти?

— Ясное дело. Иначе как бы я появился здесь? Я — механик. Кусок проволоки, все очень просто. Я неплохо разбираюсь в замках. Кроме того, всегда можно вылезти через окно. А вы здесь как приспособились?

— Здесь не запирается. Сортиры снаружи, — ответил Бергер.

— Ах вот как, ясно. Совсем забыл. — Левинский сделал паузу. — Другие подписали? — спросил он, обращаясь к Пятьсот девятому. — Те, что были с вами?

— Да…

— А вы — нет?

— Мы — нет.

Левинский наклонился вперед.

— Мы даже представить себе не могли, что вам это удастся.

— Я тоже, — сказал Пятьсот девятый.

— Я имею в виду не только то, что вы все это выдержали. Но и то, что с вами ничего больше не случилось.

— Я тоже.

— Оставь их в покое, — проговорил Бергер. — Они еле живые. К чему тебе точно знать все подробности?

Левинский шевельнулся в темноте.

— Это важнее, чем ты думаешь. — Он поднялся. — Мне надо возвращаться. Скоро снова приду. Принесу еще чего-нибудь. Хочу кое-что с вами обсудить. Ночью вас часто проверяют?

— Чего ради? Чтобы считать мертвых?

— Ясно. Значит, не проверяют.

— Левинский… — прошептал Пятьсот девятый.

— Да…

— Ты обязательно придешь снова?

— Обязательно.

— Послушай! — Пятьдесят девятый взволнованно подбирал подходящие слова. — Мы еще… мы еще не сломлены… мы еще кое на что сгодимся.

— Именно поэтому я приду опять. Не из любви к ближнему.

— Хорошо. Тогда все в порядке; значит, ты придешь обязательно.

— Обязательно.

— Не забывайте нас…

— Однажды ты мне это уже говорил. Видишь, я не забыл. Поэтому и пришел сюда. Я приду опять.

Левинский стал на ощупь пробираться к выходу. Лебенталь притворил за ним дверь.

— Стой! — прошептал уже снаружи Левинский. — Кое-что забыл. Вот здесь…

— Можешь выяснить, откуда сахар? — спросил Лебенталь.

— Не знаю. Посмотрим. — Левинский говорил все еще бессвязно, задыхаясь. — Вот здесь, возьми… прочтите… мы это сегодня получили…

Он сунул сложенную бумажку в руку Лебенталя и растворился в тени барака. Лебенталь запер дверь.

— Сахар, — сказал Агасфер. — Дай мне потрогать кусочек. Только потрогать, больше ничего.

— Тут еще есть вода? — спросил Бергер.

— Вот, — Лебенталь протянул чашку.

Бергер взял два кусочка сахара и положил в чашку с водой. Потом он подполз к Пятьсот девятому и Бухеру.

— Выпейте это. Только не спеша. Каждый по очереди, по глотку.

— Кто это тут ест? — спросил кто-то со среднего ряда нар.

— Никто. Чего вдруг спрашиваешь?

— Я слышу, кто-то глотает.

— Это тебе приснилось, Аммерс, — сказал Бергер.

— Я не сплю! Я требую своей доли. Вы там внизу сожрете ее, и все! Требую своей доли.

— Подожди до завтра.

— До завтра вы все сожрете. Вот так всегда. Каждый раз мне достается меньше всех. Именно мне! — Аммерс зарыдал. Никого это не взволновало. Он уже несколько дней был болен и постоянно считал, что другие его обманывают.

Лебенталь на ощупь приблизился к Пятьсот девятому.

— Насчет этой истории с сахаром, — прошептал он смущенно, — я поинтересовался не потому, что хотел этим торговать. Просто хотел побольше для вас достать.

— Да…

— И зуб с коронкой все еще у меня. Я его пока не продал. Подождем. Чтобы повыгодней продать.

— Хорошо, Лео. Что еще Левинский дал тебе?

У двери.

— Листок бумаги. Это не деньги. — Лебенталь пощупал его рукой. — На ощупь, как обрывок газеты.

— Газеты?

— На ощупь.

— Что? — спросил Бергер. — У тебя обрывок газеты?

— Проверь, — сказал Пятьсот девятый. Лебенталь подполз к двери и открыл ее.

— Так и есть. Обрывок газеты. Разорванный.

— Можно прочесть, что там?

— Сейчас?

— Когда же еще? — спросил Бергер. Лебенталь поднял обрывок газеты.

— Только вот света мало.

— Открой дверь пошире. Выползи наружу. Там луна.

Лебенталь открыл дверь, сел на корточки и стал рассматривать обрывок газеты сквозь паутину рассеянного света. Изучал долго.

— Мне кажется, это военная оперативная сводка, — сказал он.

— Читай! — прошептал Пятьсот девятый. — Читай, тебе говорят!

— Ни у кого нет спички? — спросил Бергер. —

Ремаген, — произнес Лебенталь. — На Рейне.

— Что?

— Американцы достигли Ремагена, форсировали Рейн!

— Что, Лео? Ты правильно прочел? Форсировали Рейн? Ты ничего не перепутал? Может, река во Франции?

— Нет, Рейн, под Ремагеном, американцы…

— Да не путай ты! Читай правильно! Ради Бога, читай правильно, Лео!

— Все так и есть, — сказал Лебенталь. — Так здесь написано. Сейчас я это вижу четко.

— Форсировали Рейн! Неужели это возможно? Значит, они уже в Германии! Ну читай дальше! Читай! Читай!

Они кряхтели и сопели. Пятьсот девятый перестал чувствовать боль в израненных губах.

— Форсировали Рейн! Но как? С помощью авиации? На шлюпках? Как? На парашютах? Читай, Лео?

— Мост, — прочитал Лебенталь по слогам. — Они атаковали мост, мост… под мощным немецким огнем…

— Мост? — недоверчиво спросил Бергер.

— Да, мост… близ Ремагена…

— Мост, — повторил Пятьсот девятый. — Мост…

через Рейн? Тогда это должна быть целая армия. Читай дальше, Лео! Должно быть еще что-то написано!

— Напечатано мелким шрифтом, я прочесть не могу.

— У кого-нибудь есть спички? — спросил в отчаянии Бергер.

— Есть, — ответил кто-то из темноты. — Здесь еще две.

— Поди сюда, Лео.

У дверей образовалась целая группа людей.

— Сахара дайте, — скулил Аммерс. — Я знаю, у вас есть сахар. Я все слышал. Я требую своей доли.

— Бергер, дай кусочек этому чертовому псу, — прошептал нетерпеливо Пятьсот девятый.

— Нет. — Бергер поискал глазами, обо что ему чиркнуть спичкой.

— Прикройте окна одеялами, куртками. Залезь в угол под одеяло, Лео. Скорей!

Он зажег спичку. Лебенталь стал читать быстро, насколько хватало сил. Это были традиционные попытки сокрытия фактов. Мост якобы значения не имеет; американцы, которых встретил мощный огонь, оказались отрезанными на достигнутом берегу. Мол, части, не взорвавшие

мост, пойдут под трибунал…

Спичка погасла.

— Не взорвавшие мост, — проговорил Пятьсот девятый. — Значит, атаковали его целым. Знаете, что это означает? Стало быть, их застали врасплох…

— Это значит, что Западный вал прорван, — проговорил Бергер едва слышно, будто во сне. — Прорвали Западный вал. Они вырвались вперед! Это, видимо, целая армия. Парашютная часть десантировалась бы на том берегу Рейна.

— Бог мой, а мы ничего не знали! Мы-то думали, немцы еще удерживают часть Франции!

— Прочти это еще раз, Лео! — сказал Пятьсот девятый. — Нам надо точно знать, от какого это числа? Там указана дата?

Бергер зажег спичку.

— Выключите свет! — крикнул кто-то. Лебенталь уже читал.

— От какого числа? — прервал Пятьсот девятый.

— 11 марта 1945 года. А сегодня какое?

Никто не знал, был ли еще конец марта или уже наступил апрель. В Малом лагере они разучились считать. Однако знали, что 11 марта уже миновало некоторое время тому назад.

— Дайте мне посмотреть быстро, — сказал Пятьсот девятый.

Не обращая внимания на боли, он подполз к углу, где они держали одеяло. Лебенталь отошел в сторону. Пятьсот девятый бросил взгляд на листок бумаги и прочел. Узкий круг угасающей спички как раз осветил заголовок.

— Прикури сигарету, Бергер, быстро!

Бергер сделал это, пока тот стоял на коленях.

— Зачем ты сюда приполз? — спросил он и сунул ему в рот сигарету. Спичка погасла.

— Дай мне листок, — сказал Пятьсот девятый Лебенталю.

Тот исполнил просьбу. Пятьсот девятый сложил листок и положил под рубашку. Он ощущал листок собственной кожей. Потом он сделал затяжку.

— Вот, передай сигарету дальше.

— Есть здесь курящие? — спросил тот, кто дал спички.

— Ваша очередь тоже подойдет. Каждому по затяжке.

— Я не хочу курить, — простонал Аммерс. — Хочу сахара.

Пятьсот девятый вернулся ползком на свою кровать. Ему помогали Бергер и Лебенталь.

— Бергер, — прошептал он чуточку спустя. — Теперь ты в это веришь?

— Да.

— В то, что город бомбили, это все так?

— Да.

— А ты тоже, Лео?

— Да.

— Мы выберемся отсюда — мы должны…

— Все это мы обсудим завтра, — сказал Бергер. — А теперь спи.

У Пятьсот девятого кружилась голова. Он считал, что это от затяжки сигаретой. Маленькая красная точка света, прикрытая ладонью, бродила по бараку.

— Вот, — сказал Бергер. — Выпейте еще сахарной водички.

Пятьсот девятый выпил.

— Берегите остальные кусочки, — прошептал он. — Не кладите в воду. На них можно выменять еду. Настоящая пища важнее.

— Еще есть сигареты, — прохрипел кто-то. — Раздайте их всем.

— Здесь ничего больше не осталось, — ответил Бергер.

— Не может быть! У вас еще есть. Выкладывайте!

— То, что принесли, предназначается для обоих из бункера.

— Ерунда! Это для всех. Давай сюда!

— Будь осторожен, Бергер, — прошептал Пятьсот девятый. — Возьми дубинку. Сигареты надо выменять на еду. И ты, Лео, будь осторожен!

— Я и так начеку.

Было слышно, как ветераны собираются в одну группу. Люди на ощупь пробирались сквозь темноту, падали, ругались, дрались и кричали. Другие, лежавшие на нарах, тоже начали кряхтеть и шуметь.

— Эсэсовцы идут, — крикнул Бергер. Мелькание, ползание, тычки, стоны — потом все стихло.

— Эта затея с курением была ненужной, — сказал Лебенталь.

— Ты прав. Остальные сигареты спрятали?

— Уже давно.

— Надо было и первую приберечь. Но когда такое случается…

Пятьсот девятый вдруг почувствовал себя вконец измученным.

— Бухер, — спросил он еще. — Ты тоже слышал?

— Да…

Пятьсот девятый ощутил, как едва заметное

головокружение переходит в сильное. «Форсировали Рейн, — подумал он и почувствовал дым сигареты в легких. Он вспомнил, что недавно уже было такое ощущение. — Только когда все это было? Дым, мучительный и неотступный. Нойбауэр? Да. Дым его сигары, в то время как я лежал на мокром полу. Казалось, это уже давно прошло». Только на мгновение его пронизал страх и растворился.

И тут наплыл другой дым, дым города, дым Рейна. И тогда ему вдруг пригрезилось, что лежит он на объятом туманом лугу, который куда-то все наклоняется и наклоняется, и вот все стало ровным и пологим, и он впервые без страха погрузился в темноту.

VIII

Сортир был заполнен скелетами до отказа. Из длинной очереди кричали, чтобы они управлялись побыстрее. Часть ожидающих лежала на земле, извиваясь в судорогах. Другие сидели на корточках в страхе близ стен и испражнялись, когда становилось уже невмоготу терпеть. Один человек выпрямился во весь рост, как аист, задрал ногу и, опершись одной рукой о стену барака, с раскрытым ртом смотрел куда-то вдаль. Он стоял в этой позе некоторое время и вдруг замертво упал. Такое порой случалось: скелеты, которым едва хватало силы, чтобы ползать, неожиданно мучительно распрямлялись; простояв какое-то время с угасающим взором, они валились как подкошенные, словно их последним желанием перед смертью было еще раз выпрямиться во весь рост, как нормальным людям.

Лебенталь осторожно переступил через мертвый скелет и направился к сортиру. Сразу же послышалось возбужденное шипение. Стоявшие вокруг подумали, что он норовит пролезть вне очереди. Его оттащили назад и стали бить то-

щими кулачками. При этом никто не рисковал выйти из очереди, ведь потом уже никто не пустил бы обратно. Скелеты повалили его и стали топтать ногами, но больно не было, ведь для этого требовалась физическая сила.

Лебенталь встал. Он не хотел обманывать. Он разыскивал Бетке из транспортного отряда. Ему сказали, что Бетке должен быть здесь. Некоторое время он еще подождал на достаточном удалении от переругавшейся очереди.

Дело в том, что Бетке был клиентом в связи с коронкой Ломана. Но он не явился. Лебенталь не мог понять и то, какие у Бетке могли быть дела в этом вшивом сортире. Правда, и здесь чем-нибудь торговали, однако такой бонза, как Бетке, мог прокручивать подобные дела в иных условиях.

В конце концов Лебенталю надоело ждать, и он направился к помывочному бараку. Это было небольшое строение, примыкавшее к сортиру, с длинными цементными корытами, над которыми были установлены водопроводные трубы с маленькими отверстиями. Там толпились группы заключенных. В основном чтобы напиться или взять с собой воды в жестяных банках. Здесь всегда не хватало воды, чтобы по-настоящему помыться, а кто в надежде на это раздевался,

всегда боялся, как бы не стащили вещи.

В помывочном помещении уже разместился более серьезный черный рынок. В сортире шли в ход хлебные крошки, отбросы и сигаретные окурки. А здесь обосновались мелкие предприниматели, люди из трудового лагеря.

Лебенталь с трудом протиснулся вперед.

— Что у тебя? — спросил его кто-то.

Лео окинул человека беглым взглядом. Это был оборванный заключенный с одним глазом.

— Ничего.

— У меня есть морковь.

— Неинтересно. — В помывочном помещении Лебенталь вдруг оказался более решительным, чем в двадцать втором бараке.

— Дурак.

— Сам такой.

Лебенталь знал некоторых торговцев. Он обязательно поторговался бы за морковки, если бы не сговорился сегодня с Бетке. Еще ему предложили кислую капусту, кость и несколько картофелин по спекулятивным ценам. Но он отказался и прошел дальше. В дальнем углу барака он заметил парня с женскими чертами лица, который был явно не отсюда. Он что-то жадно ел из консервной банки, причем Лебенталь сразу отметил, что

ел он не пустой суп, а еще что-то жевал. Рядом с ним стоял упитанный заключенный примерно сорока лет, который тоже не вписывался в эту атмосферу. Он, несомненно, принадлежал к лагерной аристократии. Его лысый жирный череп блестел, а рука медленно скользила по спине парня. Парень не был, как все, подстрижен наголо, а был хорошо причесан, с пробором. Короче, производил ухоженное впечатление.

Лебенталь обернулся. Разочарованный, он уже хотел было вернуться к торговавшему морковкой, но вдруг увидел Бетке, который целеустремленно направлялся в тот самый угол, где стоял парень. Лебенталь оказался у него на пути. Бетке оттолкнул его и закричал парню:

— Значит, здесь ты прячешься, Людвиг! Проститутка ты эдакая! Все же я застукал тебя здесь!

Уставившись на него, парень часто икал, ничего не мог возразить.

— Да еще с этим чертовым лысым поваром, — добавил язвительно Бетке.

Повар не обращал внимания на Бетке.

— Ешь, мой мальчик, — сказал он лениво Людвигу. — А если не наешься, дам тебе еще.

Бетке покраснел. Он ударил кулаком по консервной банке. Ее содержимое угодило Людвигу

прямо в лицо. Кусочек картошки упал на пол. На него кинулись два скелета. Отталкивая друг друга, они пытались завладеть этим кусочком. Бетке оттолкнул их в сторону.

— То, что ты получаешь, тебе мало? — спросил он.

Людвиг обеими руками крепко прижимал банку к груди. Он пугливо скривил лицо и перевел взгляд с Бетке на лысого.

— Видимо, да, — ответил повар за него Бетке. — Не обращай внимания, — сказал он парню. — Ешь себе спокойно, а если не хватит, дам еще. Бутузить я тебя не стану.

У Бетке был такой вид, будто он вот-вот накинется на лысого, но он не посмел. Так как не знал, какой тот пользуется поддержкой. В лагере это было чрезвычайно важно. Если лысый опирается на полную поддержку дежурного по кухне из числа заключенных, драка могла обойтись Бетке дорого. У кухни были блестящие связи. Кроме того, все знали, что кухня занималась спекуляцией вместе с лагерным старостой и другими эсэсовцами. Таких интриг в лагере было хоть отбавляй. Бетке запросто мог потерять свое место и, не прояви осторожность, снова стать простым заключенным. Тогда конец прибыльным делам

во время поездок на вокзал и на склад.

— Как это прикажете понимать? — спросил он лысого уже более спокойным голосом.

— А какое твое дело?

Бетке икнул.

— Меня это в какой-то степени касается. — Он повернулся к парню. — Не я ли достал тебе костюм?

Пока Бетке разговаривал с лысым, Людвиг продолжал торопливо есть. Теперь, отбросив банку, он резким неожиданным движением протиснулся между обоими и устремился к выходу. Несколько скелетов мгновенно кинулись к банке, чтобы вылизать ее.

— Приходи снова, — крикнул повар вслед парню. — Здесь для тебя всегда что-нибудь найдется.

Он рассмеялся. Бетке попробовал было удержать парня, но споткнулся о скелеты на полу. Разозлившись, он наступил на мелькавшие под ногами пальцы. Один из скелетов запищал, как мышь. В это время другой скрылся с банкой в руках.

Насвистывая вальс «Розы с юга», повар стал вызывающе медленно прохаживаться мимо Бетке. Он отрастил себе брюшко, довольно толстую задницу и выглядел весьма упитанным. Почти

все работавшие на кухне заключенные были хорошо откормлены. Бетке плюнул ему вслед. Но сделал это так осторожно, чтобы слюна попала только в Лебенталя.

— Ах, ты здесь, — грубо проговорил он. — Чего хочешь? Пошли. Откуда узнал, что я тут?

Лебенталь не стал отвечать. Он был при деле, когда нет времени на лишние разговоры. На зуб с золотой коронкой Ломана нашлось два серьезных покупателя: Бетке и мастер одной из внешних коммандос. Оба нуждались в деньгах. Мастер был привязан к некой Матильде, которая работала на той же фабрике, что и он, и с которой он эпизодически встречался наедине, давая кое-кому взятки. Она весила без малого 200 фунтов и казалась ему неземной красавицей. В лагере, где постоянно страдали от голода, вес считался мерилом красоты. Он предложил Лебенталю несколько фунтов картошки и один фунт жира. Но тот отказался и теперь поздравил себя с этим решением. Он мгновенно просчитал предыдущую сцену и надеялся теперь больше получить от гомосексуалиста Бетке. Он считал, что люди с аномальной любовью в большей степени готовы на жертвы, чем с нормальной. После всего увиденного он сразу же поднял цену.

— Зуб с тобой? — спросил Бетке.

— Нет.

— Я никогда не покупаю того, чего не вижу.

— Коронка есть коронка. Коренной зуб. Массивное солидное золото.

— Все это ерунда! Вначале надо посмотреть. Иначе какой смысл о чем-то говорить.

Лебенталь понимал, что более сильный Бетке просто отнимет у него коронку, как только увидит ее. И он ничего не смог бы сделать, чтобы воспрепятствовать этому.

— Что ж, тогда ничего не получится, — спокойно проговорил он. — С другими легче будет договориться.

— С другими! Болтун ты! Сначала найди желающих.

— Уже есть кое-кто. Только что был здесь один.

— Неужели? Хотел бы я на него посмотреть! — Бетке презрительно осмотрелся вокруг. Он знал, что коронка может пригодиться только тому, кто имеет связи за пределами лагеря.

— Моего покупателя ты сам видел минуту назад, — сказал Лебенталь. Это была ложь.

Но Бетке насторожился.

— Кто он? Повар? Лебенталь пожал плечами.

— Ведь должна быть причина, почему я сей-

час здесь. Может, кто-то хочет купить подарок для кого-то и поэтому нуждается в деньгах. Там за лагерными воротами испытывают острую потребность в золоте. А еды у него для обмена достаточно.

— Мошенник ты! — крикнул разгневанный Бетке. — Отъявленный мошенник!

Лебенталь только один раз поднял тяжелые веки и снова опустил их.

— На то, чего нет в лагере, — продолжил он хладнокровно. — Например, на что-нибудь шелковое.

Бетке чуть не поперхнулся.

— Сколько? — прохрипел он.

— Семьдесят пять, — решительно проговорил Лебенталь. — Льготная цена. — Он хотел запросить тридцать.

Бетке посмотрел на него.

— Ты знаешь, стоит мне сказать одно слово и тебя отправят на виселицу.

— Разумеется. Если ты это докажешь. Ну и что тебе от этого? Ничего. Тебе нужна коронка. Поэтому давай говорить по-деловому.

Бетке на мгновение замолчал.

— Никаких денег, — проговорил он. — Еда. Лебенталь не возражал.

— Заяц, — сказал Бетке. — Мертвый заяц. Переехала машина. Ну как?

— Что за заяц? Собака или кошка?

— Заяц, говорю тебе. Я сам его переехал.

— Собака или кошка?

Они некоторое время пристально смотрели друг на друга. Лебенталь даже глазом не моргнул.

— Собака, — выдавил Бетке.

— Овчарка?

— Овчарка! Почему не слон? Среднего размера. Как терьер. Жирный.

Лебенталь никак не реагировал. Собачина. Редкая удача.

— Мы не можем ее сварить, — сказал он. — Даже содрать шкуру. У нас для этого ничего нет.

— Я могу поставить ее уже без шкуры. Бетке распалился. Он знал, что повар запросто мог заткнуть его за пояс по части доставания съестных припасов для Людвига. Поэтому во имя конкуренции ему приходилось добывать кое-что за пределами лагеря. Например, кальсоны из искусственного шелка. Это произвело бы впечатление, да и ему самому доставило бы удовольствие.

— Хорошо, я ее тебе даже отварю, — сказал он.

— Это все равно будет трудно. Тогда нам пона-

добится нож.

— Нож? Зачем нож?

— У нас нет ножей. Нам ведь придется разрезать. Повар мне…

— Ладно, ладно, — прервал его нетерпеливо Ветке. — Значит, еще и нож.

«Кальсоны должны быть голубые. Или лиловые. Лучше бы лиловые. Около склада есть магазин, там это можно найти. Специально выделенный дежурный пошлет его туда. А коронку можно продать живущему рядом дантисту», — просчитывал он в уме.

— Стало быть, еще и нож. Ну, этого достаточно. — Лебенталь понял, что сейчас ему больше уже не выбить.

— Ну и, разумеется, хлеб, — проговорил он. — Это уж обязательно. Значит, когда?

— Завтра вечером. Как стемнеет. За сортиром. Принеси коронку.

— Терьер молодой?

— Откуда я знаю? Ты что, с ума сошел? Так, средний. Да какая разница?

— Если старый, придется долго варить.

У Бетке был такой вид, словно он хотел вцепиться Лебенталю в лицо.

— Что-нибудь еще? — спросил он тихо. — Брус-

ничного соку? Икры?

— Хлеба!

— Кто говорил о хлебе?

— Повар.

— Заткни глотку! Посмотрим.

Вдруг Бетке заторопился. Он хотел соблазнить Людвига кальсонами. Что ж, пусть повар подкармливает его. Но если у Бетке в запасе будут кальсоны, это уже совсем другое дело. Людвиг был тщеславным. Нож можно стащить. Хлеб — это тоже было не так уж сложно. А вот терьер был всего лишь таксой.

— Значит, завтра вечером, — сказал Бетке. — Жди за сортиром.

Лебенталь ушел. Он все еще не мог поверить в свалившееся на него счастье. «Это — заяц», — скажет он в бараке. Вовсе не потому, что это была собака, такое никого не смущало — встречались люди, которые пробовали есть даже трупы, а потому, что кое-кому из спортивного интереса доставляло радость все преувеличивать. Кроме того, Ломан был ему очень симпатичен. Поэтому его коронку надо было обязательно выменять на что-нибудь чрезвычайное. Нож без труда можно будет продать в лагере. Значит, появятся новые деньги что-нибудь купить.

Сделка состоялась. Вечер выдался мглистый. Белый туман окутал лагерь. Лебенталь крался сквозь темноту в барак, пряча под курткой собачину и хлеб.

Неподалеку от барака он увидел тень, которая покачиваясь двигалась по улице. Лебенталь сразу отметил для себя, что это не был обычный заключенный. Те ходили совсем по-другому. Мгновение спустя он узнал старосту двадцать второго блока. Хандке шагал словно по палубе корабля. Лебенталь сразу понял, в чем тут дело. У Хандке был запой. Ему, видимо, удалось где-то раздобыть спиртного. В этот момент уже едва ли можно было незаметно прошмыгнуть мимо него, спрятать в бараке собачину и предупредить других. Поэтому Лебенталь беззвучно прижался к задней стенке барака и затаился в тени.

Вестгоф был первым, кто встретился Хандке.

— Эй ты! — крикнул он. Вестгоф остановился.

— А что это ты не в бараке? — В сортир иду.

— Сам ты сортир. Ну-ка, поди сюда!

Вестгоф подошел ближе. Он с трудом разглядел в тумане лицо Хандке.

— Как тебя зовут?

— Вестгоф. Хандке покачнулся.

— Нет! Ты — вонючий жид. И как же тебя зо-

вут?

— Я — не еврей.

— Что? — Хандке ударил его в лицо. — Ты из какого блока?

— Из двадцать второго.

— Еще чего! Из моего, значит! Негодяй! Помещение?

— Помещение «Д»!

— На землю лечь! — заорал Хандке.

Вестгоф лечь отказался. Он продолжал стоять. Хандке приблизился к нему на шаг. Теперь Вестгоф увидел его лицо и готов был убежать. Хандке наступил ему на ногу. Как староста блока он хорошо ел и поэтому был сильнее любого в Малом лагере. Вестгоф упал, и Хандке наступил ему на грудь.

— Лечь, говорю, еврейская свинья! Вестгоф лег ничком на землю.

— Помещение «Д» — шаг вперед! — заорал Хандке. Скелеты выполнили команду. Они уже знали, что произойдет. Одного из них обязательно изобьют до полусмерти. Запои Хандке всегда так заканчивались.

— Все тут? — пробормотал Хандке. — Дневальный!

— Так точно! — отозвался Бергер.

Сквозь ночную мглу Хандке пристально всматривался в лица построившихся перед бараком. Бухер и Пятьсот девятый стояли среди других. Они с трудом могли ходить и стоять. Не было Агасфера. Он остался с овчаркой в бараке. Если Хандке спросит, где Агасфер, Бергер скажет, что тот умер. Но Хандке был пьян. Он и трезвый не знал точно, что к чему. Он с большой неохотой заходил в бараки, опасаясь подцепить там дизентерию или тиф.

— Ну, кто еще здесь хочет бунтовать? — В голосе Хандке послышались жесткие интонации. — Вонючие… вонючие жиды!

Все молчали.

— Стоять смирно! Как культурные люди!

Они и стояли смирно. Какое-то мгновение Хандке смотрел на них, выпучив глаза. Затем повернулся и стал топтать ногами все еще лежавшего на земле Вестгофа. Тот пытался прикрыть голову руками. Хандке топтал его еще некоторое время. Стало тихо, и слышны были только глухие удары сапог Хандке по ребрам Вестгофа. Пятьсот девятый почувствовал, что около него зашевелился Бухер. Чтобы удержать Бухера, Пятьсот девятый схватил его за запястье. Рука Бухера дернулась, но Пятьсот девятый не выпустил ее.

Хандке продолжал тупо избивать Вестгофа. Он еще несколько раз ударил Вестгофа по спине и, наконец, утомился. Вестгоф не шевелился. Хандке отошел в сторону. Его лицо было мокрым от пота.

— Евреи! — проговорил он. — Вас надо давить, как вшей. Вы кто?

Неуверенным движением он показал на скелеты.

— Евреи, — ответил Пятьсот девятый.

Хандке кивнул и несколько секунд глубокомысленно смотрел на землю. Затем повернулся и направился к проволочному забору, разделявшему женские бараки. Хандке стоял там, и было слышно, как он тяжело дышит. Раньше он был печатником, а в лагерь попал за преступление на сексуальной почве. И вот уже год, как он староста блока. Через несколько минут он вернулся и, ни на кого не обращая внимания, напряженно зашагал по лагерной улице.

Бергер и Карел перевернули Вестгофа. Он был без сознания.

— Он что, ребра ему сломал? — спросил Бухер.

— Пинал ему в голову ногами, — ответил Карел. — Я сам видел.

— Может, втащить его в барак?

— Нет, — сказал Бергер. — Оставьте здесь. Пока ему лучше полежать на воздухе. Внутри слишком мало места. У нас есть еще вода?

Нашлась консервная банка с водой. Бергер расстегнул куртку Вестгофа.

— Может, все же лучше оттащить его в барак? — проговорил Бухер. — Эта падла может снова прийти.

— Больше не придет! Я знаю Хандке. Сейчас он уже перебесился.

Из-за угла барака незаметно появился Лебенталь.

— Умер?

— Нет. Нет еще.

— Он его топтал ногами, — сказал Бергер. — Обычно он просто избивает. Наверное, достал шнапса больше, чем обычно.

Лебенталь прижал руку к куртке.

— У меня найдется что поесть.

— Тихо! Весь барак услышит. Что у тебя?

— Мясо, — проговорил шепотом Лебенталь. — За коронку.

— Мясо?

— Да. Много. И хлеб.

Он уже не стал ничего говорить о зайце. Это было неуместно. Он бросил взгляд на темную

фигуру, возле которой стоял на коленях Бергер.

— Может, он еще чего-нибудь съест, — сказал Лебенталь. — Мясо вареное.

Туман сгущался. Бухер стоял у двойного проволочного забора, отделявшего его от женского барака.

— Рут! — прошептал он. — Рут!

Тень приблизилась. Он устремил на нее свой взгляд, но кто это, понять не мог.

— Рут! — прошептал он снова. — Это ты?

— Да.

— Ты меня видишь?

— Да.

— У меня найдется для тебя кое-что поесть. Видишь мою руку?

— Да, да.

— Это мясо. Я тебе его перекину. Сейчас.

Он взял маленький кусок мяса и бросил его через оба забора из колючей проволоки. Это была половина полученной им порции. Он услышал, как кусок упал на другой стороне. Тень нагнулась и стала шарить руками по земле.

— Слева! Слева от тебя! — прошептал Бухер. — Он должен быть примерно в метре слева от тебя. Нашла?

— Нет.

— Слева. В метре от тебя. Вареное мясо. Ищи, Рут! Тень замерла.

— Ну, нашла?

— Да.

— Съешь прямо сейчас. Ну как, вкусно?

— Да. У тебя есть еще?

Бухер насторожился.

— Нет. Я уже получил свою долю.

— Да, у тебя есть еще! Бросай сюда!

Бухер так близко подошел к проволоке, что шипы впились ему в кожу. Внутренняя часть ограды не была под током.

— Ты не Рут! Скажи, ты действительно Рут?

— Да, я — Рут. Ну давай еще! Бросай!

Вдруг до него дошло, что это не Рут. Та не позволила бы себе говорить такое. Туман, возбуждение, тень и шепот ввели его в заблуждение.

— Ты не Рут! Тогда скажи, как меня зовут!

— Тсс! Тише! Бросай!

— Как меня зовут? Как меня зовут?

Тень безмолвствовала.

— Это мясо для Рут! Для Рут! — прошептал Бухер. — Передай его ей! Понимаешь, а? Передай его ей!

— Да, да. У тебя есть еще?

— Нет! Отдай его ей! Это для нее! Не для тебя!

Для нее!

— Да, конечно.

— Отдай его ей! Или я… я…

Он замер. А что он, собственно, мог сделать? Он знал, что тень уже давно проглотила кусок мяса. В отчаянии он опустился на землю, словно на него обрушился невидимый кулак.

— Ах ты, каналья проклятая… чтоб ты подавилась… подавилась этим…

Это уже было чересчур. По прошествии стольких месяцев получить кусок мяса и так глупо с ним расстаться! Он рыдал, но без слез.

Стоявшая напротив тень прошептала:

— Дай мне, я тоже тебе кое-что покажу… здесь… Ему казалось, что она уже задирает свою юбку. Ее движения растворялись в белой пелене тумана, словно какая-то причудливая нечеловеческая фигура выполняла козлиные прыжки.

— Ах ты стерва! — прошептал Бухер. — Стерва ты, подавись этим! А я-то идиот, идиот…

Ему надо было точно разобраться, прежде чем бросать, или подождать, пока все проявится; тогда, наверное, уж лучше было бы самому съесть это мясо. Он хотел быстро передать мясо Рут. Опустившийся туман показался ему весьма кстати. И вот — он застонал и стал бить кулаками

по земле.

— Идиот, что я наделал!

Кусок мяса был куском жизни. Бухера чуть не стошнило от такой безысходности.

Его разбудила прохлада ночи. Спотыкаясь, он побрел назад. Перед бараком, о кого-то споткнувшись, упал. Потом увидел Пятьсот девятого.

— Кто это здесь? Вестгоф? — спросил он.

— Да.

— Умер?

— Да.

Бухер наклонился к самому лицу лежавшего на земле Вестгофа. Оно было влажным от тумана и усеяно темными пятнами от пинков Хандке. Он смотрел на лицо и размышлял об утраченном куске мяса, причем ему казалось, что и то и другое взаимосвязано.

— Черт возьми, — проговорил он. — Почему же мы ему не помогли?

Пятьсот девятый поднял глаза.

— Что ты там за чушь несешь? Разве это было в наших силах?

— Да. Может быть. Почему бы нет? Смогли же мы другое.

Пятьсот девятый молчал. Бухер опустился рядом с ним на землю.

— Мы же не сдались Веберу, — сказал он. Пятьсот девятый молча смотрел в туман. «Ну вот опять, — подумал он. — Ложное геройство. Старая беда. Этот малый впервые за несколько лет ощутил в себе чуточку отчаянного бунта с положительным исходом, и вот уже пару дней спустя рвется фантазия с романтическим искажением и забвением риска».

— Ты думаешь, если нам самим удалось устоять перед комендантом лагеря, все сложилось бы как надо и с пьяным старостой блока, а?

— Да. Почему бы нет?

— И что бы нам пришлось делать?

— Не знаю. Что-нибудь. Но только не позволить затоптать Вестгофа насмерть.

— Мы могли бы вшестером или ввосьмером напасть на Хандке. Ты это имеешь в виду?

— Нет. Ничего бы не вышло. Он сильнее нас.

— Тогда что нам надо было предпринять? Поговорить с ним? Сказать ему, что надо быть благоразумнее?

Бухер молчал. Он понимал, что и это бы не помогло. Пятьсот девятый какое-то мгновение понаблюдал за ним.

— Послушай, — проговорил он затем, — у Вебера нам нечего было терять. Мы отказались,

нам фантастически повезло. А если бы сегодня мы что-нибудь предприняли против Хандке, то он забил бы насмерть еще одного-двух да еще доложил бы начальству о бунте в бараке. Бергера и еще кое-кого наверняка бы повесили. Вестгофа в любом случае. Тебя, наверно, тоже. Потом на несколько дней лишение пищи. В общем, на тот свет отправилось бы на десяток больше. Не так ли?

Бухер отмалчивался.

— Может быть, — проговорил он наконец.

— У тебя есть какие-нибудь другие идеи? Бухер задумался.

— Нет.

— У меня тоже нет. Лагерь вызывал в Вестгофе припадок бешенства. Так же, как и Хандке. Если бы он сказал то, что хотел Хандке, то отделался бы несколькими ударами. Вестгоф хороший человек. Нам бы он очень пригодился. Но он был дурак.

Пятьсот девятый повернулся к Бухеру. Его голос был полон горечи.

— Думаешь, ты единственный, кто здесь думает о нем?

— Нет.

— Если бы мы оба сорвались у Вебера, может, он держал бы язык за зубами и еще пожил бы.

Может, именно это заставило его сегодня забыть об осторожности. Ты когда-нибудь об этом задумывался?

— Нет. — Бухер уставился на Пятьсот девятого. — Ты веришь в это?

— Может быть. Мне пришлось быть свидетелем еще больших глупостей. Причем у более разумных людей, когда они верили в необходимость проявлять мужество. Чертовская ерунда, почерпнутая из книг! Ты знаешь Вагнера из двадцать первого барака?

— Да.

— Он — развалина. Но он был настоящим человеком, обладавшим мужеством. Даже в избытке. И это возымело обратное действие. Два года он приводил эсэсовцев в восторг. Вебер в него чуть было не влюбился. И тут он сломался. Навсегда. А чего ради? Он бы нам очень даже пригодился. Но он не мог управлять своим мужеством, и таких было много. А осталось мало. И еще меньше тех, кто не сломался. Поэтому сегодня вечером я старался тебя удержать, когда Хандке стал топтать Вестгофа. Поэтому когда он спросил, кто мы такие, я ему ответил. Теперь до тебя дошло?

— Ты считаешь, что Вестгоф…

— Это не имеет значения. Он умер…

Бухер молчал. Теперь он видел Пятьсот девятого лучше. Туман немного рассеялся, и пробился лунный свет. Пятьсот девятый выпрямился. От кровоподтеков его лицо было и черным, и голубым, и зеленым. Вдруг Бухер вспомнил старые истории о нем и Вебере. Видимо, Пятьсот девятый сам когда-то был одним из тех, о которых сейчас говорил.

— Послушай хорошенько. Только в романах встречается дешевая фраза о том, что дух не сломить. Я знал хороших людей, которые были способны лишь на одно — выть как звери. Сломить можно почти любое сопротивление. Для этого требуется только достаточно времени и случай. И то, и другое у них там есть — он показал жестом на казармы СС. — Они все это очень хорошо понимали. И всегда четко следовали этому принципу.

При оказании сопротивления главное — помнить лишь о том, чего добиваешься в итоге, а не как это выглядит со стороны. Бессмысленное мужество — это самоубийство. Наша весьма слабая воля к сопротивлению — это единственное, чем мы еще обладаем. Мы должны эту волю скрывать и проявлять ее только в самом крайком случае, как, например, мы у Вебера. Иначе…

Лунный свет выхватил из темноты тело Вестгофа, пробежал по его лицу и шее.

— Кое-кто из нас должен обязательно остаться, — прошептал Пятьсот девятый. — На потом. Все это не может кануть просто так. Те немногие, которые не сломались…

Изможденный, он откинулся назад. Размышления могут изматывать не меньше, чем напряженный бег. Иногда прорывалась удивительная легкость, все казалось отчетливым и ясным, и на короткое время появлялась какая-то проницательность, пока снова не наползал туман слабости.

— Те немногие, кто не сломались и не желают забыть, — договорил Пятьсот девятый и посмотрел на Бухера.

«Тот больше чем на двадцать лет моложе меня, — подумал он в отчаянии. — И еще многое может сделать. Он еще не сломался. А я? Время. Оно разъедает и разъедает. Действительно почувствуешь, сломался или нет, когда всему этому придет конец, когда захочешь начать все заново по ту сторону колючей проволоки. Эти десять лет в лагере стоили каждому вдвойне или даже втройне. У кого еще остались силы? А потребовалось бы много сил».

— Когда мы отсюда выйдем, никто не встанет перед нами на колени, — сказал он. — Все будут все отрицать и стараться забыть. И нас тоже. Причем многие из нас тоже постараются все забыть.

— Я это не забуду, — мрачно возразил Бухер. — Это и все остальное.

— Хорошо.

Вновь накатилась волна изнеможения. Пятьсот девятый закрыл глаза, но сразу открыл. Оставалось еще что-то важное из невысказанного, и он боялся потерять мысль. Бухеру это обязательно надо было знать. Может, он единственный, кто пробьется. Как важно, чтобы он все хорошо понял.

— Хандке — не нацист, — проговорил он с напряжением в голосе. — Он такой же заключенный, как и мы. На воле он, наверное, ни за что не убил бы человека. А здесь это делает, потому что у него есть власть, понимая, что нам бесполезно жаловаться. Его-то прикроют. Он не несет никакой ответственности. Вот в чем дело. Власть и никакой ответственности — чересчур много власти в чьих-то руках, понимаешь…

— Да, — сказал Бухер. Пятьсот девятый кивнул.

— Это и другое… леность сердца… страх… симуляция совести… вот, в чем наша беда… об этом

сегодня… я размышлял целый вечер….

Усталость казалась теперь надвигавшейся на него черной зловещей тучей. Пятьсот девятый вынул из кармана кусочек хлеба.

— Вот, мне не надо; я съел свое мясо, отдай Рут…

Бухер, не шелохнувшись, смотрел на него.

— Я всякого там наслушался раньше, — не без труда проговорил Пятьсот девятый, почувствовав, что силы его оставляют. — Отдай ей это… — его голова упала на грудь, но он еще раз поднял ее, и снова засветился пестрый от кровоподтеков череп, — это тоже важно… что-нибудь давать…

Бухер взял хлеб и направился к забору, отделявшему их от женского лагеря. Теперь пелена приподнялась над землей, очистив полосу в человеческий рост. Возникла призрачная картина, словно безголовые мусульмане, спотыкаясь, направляются в сортир. Некоторое время спустя появилась Рут. И ее головы не было видно.

— Нагнись, — прошептал Бухер.

Оба присели на корточки. Бухер бросил ей хлеб через забор. Он подумал, стоит ли сказать о том, что для нее было мясо. Решил, что не стоит.

— Рут, я верю, что мы вырвемся отсюда…

Она не могла ничего ответить. Рот был забит

хлебом. Широко раскрытыми глазами она смотрела на него.

— Теперь я в это твердо верю, — сказал Бухер. Он не знал, почему вдруг в это уверовал. В какой-то степени это было связано с Пятьсот девятым и с тем, что тот сказал. Он побрел назад к бараку. Пятьсот девятый крепко спал. Его лицо почти касалось головы Вестгофа. Лица обоих были в кровоподтеках, и Бухер с большим трудом мог различить, кто из них еще дышит. Он не стал будить Пятьсот девятого, зная, что тот целых два дня здесь около барака ждал Левинского. Ночь была не очень холодная, но Бухер снял куртки с Вестгофа и двух других мертвецов и прикрыл ими Пятьсот девятого.

IX

Следующий налет авиации повторился два дня спустя. Сирены завыли в восемь вечера. Вскоре стали падать первые бомбы. Они падали стремительно, как ливень, а взрывы лишь немного заглушали огонь зениток. И только к концу заговорили орудия большого калибра.

«Меллерн цайтунг» больше не выходила. Она горела. Станки плавились. Рулоны бумаги полыхали в черном небе. Здание медленно разваливалось.

«Сто тысяч марок, — подумал Нойбауэр. — Сгорают принадлежащие мне сто тысяч марок. Сто тысяч марок! Даже не представлял себе, что так легко может гореть так много денег. Вот сволочи! Если бы я знал, вложил бы деньги в какой-нибудь рудник. Но рудники тоже горят. Их тоже бомбят. Тут тоже нет никакой уверенности. Судя по сообщениям, Рурская область лежит в руинах. Где еще можно себя чувствовать в безопасности?»

Его форма была серой от сажи. Глаза покраснели от дыма. От принадлежавшей ему табачной лавки остались только развалины. Еще вчера

золотое дно, а сегодня— груда пепла. Вот вам еще тридцать, а может, даже сорок тысяч марок. За один вечер можно было потерять столько денег. Ну, а что же партия? Сейчас каждому было только до себя! Страхование? Страховые компании разорились бы, если бы стали оплачивать все, что разрушено за один только вечер. К тому же он все застраховал по минимуму. Неуместная бережливость. Да и не было уверенности, распространяется ли страхование на ущерб, вызванный бомбардировками. Всегда говорили, что великая компенсация начнется после войны, после победы. Противнику придется за все заплатить. Только получишь ли чего? Да и ждать, наверно, придется долго, а затевать что-то новое — теперь уже слишком поздно. Да и к чему все это? Чья очередь гореть завтра?

Он пристально рассматривал черные лопнувшие стены лавки. Сгорели и сигары «Дойче вахт», пять тысяч сигар. Ну да ладно. Ничего не поделаешь. Тогда какой смысл было доносить на штурмфюрера Фрейберга? Из чувства долга? Да ерунда это все. Какое там чувство долга! Вот вам оно — горит. И сгорает. И вместе с ним сто тридцать тысяч марок. Еще один такой пожар, несколько бомб в торговый дом Йозефа Бланка, в

сад и в дом, где он живет — такое может случиться уже завтра, — и он окажется в том же положении, с которого начинал. Или в еще худшем. Сейчас он уже в возрасте и не в лучшей форме. И вот беззвучно и неожиданно им завладело то, что уже подкарауливало его, прячась по углам. Он отгонял это, не подпускал до тех пор, пока его собственность, его капитал оставались незыблемыми. Сомнения, страх, которые до недавнего времени уравновешивались более сильным антистрахом, вдруг вырвались из своих клеток и уставились на него. Усевшись на развалинах его табачной лавки, они прыгали по руинам, оставшимся от здания редакции его газеты, с ухмылкой разглядывали Нойбауэра и грозили будущему. Его толстая красная шея взмокла, он неуверенно сделал шаг назад, на какое-то мгновение его взгляд уперся в пустоту. Он знал — и тем не менее не хотел себе признаться в том, что выиграть войну было уже невозможно.

— Нет, — проговорил он громко. — Нет, нет… должен еще… фюрер… чудо… несмотря ни на что… конечно.

Он осмотрелся. Рядом никого не было. Даже тушить пожар было некому.

Зельма Нойбауэр наконец-то замолчала. Ее

лицо распухло, шелковый французский халат хранил многочисленные следы выплаканных слез, ее толстые ладони дрожали.

— Этой ночью они больше не прилетят, — сказал Нойбауэр не очень убедительно. — Весь город горит. Что тут еще бомбить?

— Твой дом, твой торговый дом. Твой сад. Они ведь еще стоят, а?

Нойбауэр преодолел раздражение и неожиданный страх из-за того, что это действительно может случиться.

— Вздор! Для этого они больше не прилетят.

— А другие дома. Другие магазины. Другие фабрики. Их еще предостаточно.

— Зельма…

Она прервала его.

— Можешь говорить, что хочешь! Я доберусь до тебя там, наверху! — Ее лицо снова покраснело. — Я поднимусь к тебе в лагерь, даже если придется спать в бараке у заключенных! Здесь в городе я не останусь! В этой крысоловке! Я не хочу погибнуть! Тебе, разумеется, все равно, лишь бы ты был в безопасности. Подальше от пуль! Как всегда! Расхлебывать-то нам! Ты всегда был такой!

Нойбауэр обиженно посмотрел на нее.

— Таким я никогда не был. И ты это знаешь!

Посмотри на свои платья! Туфли! Халаты! Все из Парижа! Кто это тебе привез? Я! А кружева? Тончайшие кружева из Бельгии. Я купил их для тебя. А шуба? А меховая накидка? Я ее привез из Варшавы. Загляни в свой подвал. А твой дом! Выходит, я неплохо о тебе позаботился!

— Ты забыл еще одну вещь. Гроб! Сейчас ты его быстро не достанешь. Завтра утром гробы подорожают. Их все равно почти нет во всей Германии. Но тебе ведь сделают один гроб в твоем лагере, там, наверху! На это у тебя хватит людей.

— Ах, вот как! Значит, так ты мне благодарна! За все, чем я рисковал. Так ты отблагодарила!

Зельма не слушала.

— Я не хочу сгореть! Не хочу, чтобы меня разорвало на части! — Она повернулась к дочери. — Фрейя! Ты слышишь своего отца? Своего родного отца! Единственное, чего мы хотим, это спать ночью в его доме там, наверху. Больше ничего. Чтобы спасти нашу жизнь. А он отказывает нам. Партия! Что скажет Дитц? Что скажет Дитц насчет бомб? Почему партия здесь ничего не предпринимает? Партия!

— Тихо, Зельма!

— «Тихо, Зельма!» Ты слышишь, Фрейя? Тихо! Смирно! Умереть без крика. «Тихо, Зельма!» — это

все, что он знает!

— Пятьдесят тысяч человек точно в таком же положении, — устало проговорил Нойбауэр. — Все…

— Пятьдесят тысяч человек меня совершенно не интересуют. И этим пятидесяти тысячам абсолютно все равно, если я буду подыхать. Поэтому прибереги свою статистику для партийных речей.

— Мой Бог…

— Бог! Где он? Вы его прогнали! И не вспоминай его…

«Почему не дать ей пощечину? — подумал Нойбауэр. — Почему я сразу почувствовал в себе такую усталость? Надо бы ей хорошенько врезать! Показать характер! А ну-ка поэнергичнее! Потеряно сто тридцать тысяч марок! А тут эта визгливая баба! А ну засучить рукава! Да! Спасать! Но что? Что спасать? Куда?»

Он сел в кресло — тончайшей работы гобеленовое кресло восемнадцатого века из дома графини Ламбер. Для него это было лишь богатой на вид мебелью. Поэтому несколько лет назад он купил его вместе с другими вещами у одного приехавшего из Парижа майора.

— Принеси мне бутылку пива, Фрейя.

— Принеси ему бутылку шампанского, Фрейя! Пусть выпьет, прежде чем взлетит на воздух! Пах! Пах! Стреляйте пробками! Победы положено обмывать!

— Будет тебе, Зельма…

Дочь вышла на кухню. Жена выпрямилась.

— Ну так — да или нет? Сегодня вечером мы придем к тебе туда наверх или нет?

Нойбауэр посмотрел на свои сапоги. Они все были в пепле. В пепле из ста тридцати тысяч марок.

— Там будут всякие разговоры. Нельзя сказать, что это запрещено, но у нас прежде такого не было. Станут говорить, мол, получил преимущество перед другими, которые вынуждены оставаться здесь внизу. У нас ведь важные военные предприятия.

Кое-что соответствовало действительности. Но подлинной причиной его отказа было желание оставаться одному. Там, наверху, у него была своя, как он говорил, частная жизнь. Газеты, коньяк, а иногда женщина, которая была на тридцать килограммов легче Зельмы. Эта женщина внимательно слушала его, когда он говорил, восхищалась им как мыслителем, мужчиной и нежным кавалером. В общем-то невинное

удовольствие, столь необходимое расслабление после борьбы за существование.

— Пусть говорят, что хотят! — заявила Зельма. — Твой долг — заботиться о семье!

— Об этом можно будет поговорить позже. Сейчас мне надо в бюро партии. Посмотрю, что там решают. Может, уже готовятся к размещению в деревнях людей, тех, что потеряли свои квартиры. Но может быть, и вы…

— Никакого «может быть»! Если я останусь в городе, буду с ума сходить и кричать, кричать…

Фрейя принесла пива. Оно не было холодным. Нойбауэр попробовал, внутренне собрался и встал.

— Значит, да или нет? — спросила Зельма.

— Вот вернусь, тогда поговорим. Мне надо выяснить, каковы последние указания.

— Ну, так да или нет?

Нойбауэр увидел, что Фрейя кивает за спиной у матери, делая ему знак, чтобы тот пока согласился.

— Хорошо, да, — проговорил он, раздосадованный. Зельма открыла рот. Напряжение вышло из нее, как газ из баллона. Она во весь рост плюхнулась на софу, составлявшую гарнитур с креслом восемнадцатого века. Как-то сразу она

превратилась в комок мягкой плоти, сотрясаемой рыданиями: «Я не хочу умереть… не хочу… со всеми нашими красивыми вещами… не сейчас…»

Над ее растрепанными волосами равнодушно, с иронической улыбкой смотрели в никуда пастухи и пастушки с гобелена восемнадцатого века.

Нойбауэр смотрел на нее с отвращением. Ей было проще: она кричала и выла, но кого интересовало, что он переживал? Ему пришлось все проглотить. Демонстрировать уверенность, как морской утес. Сто тридцать тысяч марок. Про это она его даже не спросила.

— Хорошенько последи за нею, — сказал он Фрейе и ушел.

В саду за домом стояли двое русских заключенных. Они продолжали работать, хотя было уже темно. Несколько дней назад так приказал Нойбауэр. Он велел им быстро перекопать кусок земли, где хотел посадить тюльпаны. А кроме того, еще петрушку, майоран, базилик и другую зелень. Он любил травы для салата и для соусов. Это было несколько дней назад. Казалось, целая вечность. Теперь он мог здесь посадить сгоревшие сигары, а еще расплавленный свинец из типографии.

Заключенные склонились над своими лопата-

ми, когда увидели приближающегося Нойбауэра.

— Ну, чего уставились? — спросил он. Вдруг его прямо затрясло от гнева. Старший ответил что-то по-русски.

— Чего уставились, я сказал! Ты чего глазеешь, большевистская свинья! Наглая такая! Наверно, радуешься, что разрушена частная собственность честных граждан, а?

Русский только молчал.

— А ну за работу, псы ленивые!

Русские его не понимали. Они пристально смотрели на него, стараясь понять, что он имел в виду. Нойбауэр замахнулся и ударил одного из них в живот. Русский упал и очень медленно поднялся. Опираясь на свою лопату, он сначала выпрямился и потом уже взял ее в руки. Нойбауэр увидел его глаза и руки, охватившие лопату. Страх, как ножевая рана в живот, заставил его схватиться за револьвер.

— Негодяй! Оказывать сопротивление, да?

Он ударил его рукояткой револьвера между глаз. Русский повалился на землю и больше не поднялся. Нойбауэр напряженно задышал.

— Я мог бы тебя расстрелять, — засопел он. — Сопротивление оказывать! Лопату хотел поднять, чтобы ударить! Люди здесь порядочные, вот что!

Другой бы его уже пристрелил! — Он посмотрел на охранника, стоявшего рядом навытяжку. — Вы видели, как он хотел поднять лопату?

— Так точно, господин оберштурмбаннфюрер.

— Ну да ладно. А ну-ка, плесните ему воды в морду. Нойбауэр бросил взгляд на второго русского. Тот копал, низко наклонившись над лопатой. Лицо его было каким-то бесчувственным. На соседнем участке, как безумная, лаяла собака. Там на ветру развевалось белье. Нойбауэр почувствовал, что у него пересохло во рту. Он вышел из сада. Руки тряслись. «Что случилось? — подумал он. — Что это — страх? Я его не испытываю, нет, только не я! Перед каким-то придурковатым русским. Нет. Тогда перед кем? Что со мной? Да ничего! Просто слишком много во мне порядочности, вот и все. Вебер, тот подверг бы парня медленной смерти. Дитц пристрелил бы его на месте. Но это не для меня. Я слишком сентиментален, вот в чем моя ошибка. Это моя ошибка во всем. В том числе и с Зельмой».

Машина ждала его снаружи. Нойбауэр расправил плечи.

— К новому дому партии, Альфред. Дорога туда свободна?

— Если только в объезд города.

— Хорошо. Поехали вокруг.

Машина развернулась. Нойбауэр посмотрел на шофера.

— Что-нибудь случилось, Альфред?

— Мать у меня погибла.

Нойбауэр как-то неуютно заерзал. Вот ведь как! Сто тридцать тысяч марок, вопли Зельмы, а сейчас еще говорить слова утешения.

— Мои соболезнования, Альфред, — произнес он скупо и по-военному, словно исполняя формальность. — Сволочи! Убийцы женщин и детей.

— Мы их тоже бомбили, — сказал Альфред, глядя перед собой на дорогу. — Вначале. Я был при этом. В Варшаве, Роттердаме и Ковентри. До того, как получил ранение и был комиссован.

Нойбауэр удивленно посмотрел на него. Что сегодня за наваждение? Сначала Зельма, а теперь вот шофер! Неужели все разваливается?

— Это не то же самое, Альфред, — сказал он. — Нечто совершенно иное. То диктовалось стратегической необходимостью. А это — чистое убийство.

Альфред ничего не ответил. Размышляя о своей матери, о Варшаве, Роттердаме и Ковентри, о жирном маршале немецкой люфтваффе, он резко повернул машину за угол.

— Так нельзя думать, Альфред. Это уже почти государственная измена! Конечно, это можно понять в минуту вашей скорби, но так думать запрещено. Будем считать, что я этого не слышал. Приказ есть приказ, и для нашей совести этого достаточно. Раскаяние — это не для немцев. И так думать — ошибка. Мы отомстим этим военным преступникам. Вдвойне и втройне! С помощью нашего секретного оружия! Мы их положим на лопатки! Уже сейчас мы днем и ночью обстреливаем Англию нашими снарядами Фау-1. Всем тем новым оружием, которое у нас есть, мы превратим весь остров в пепел. И Америку в том числе! Им придется за все заплатить! Вдвойне и втройне! Вдвойне и втройне! — повторил Нойбауэр с твердостью в голосе, уже сам почти уверовав в то, что говорил.

Нойбауэр достал из кожаного портсигара сигару и откусил кончик. Он хотел продолжить свои аргументы, вдруг ощутив в этом большую потребность, но осекся, увидев сжатые губы Альфреда. «Кому тут до меня дело, — подумал он. — Каждому сейчас только до себя. Поеду-ка я лучше в свой сад за городом. Кролики, мягкие и пушистые, с красными глазами в сумерках». Он еще мальчишкой всегда хотел завести кроли-

ков, но отец был против. Только теперь он стал их обладателем. Запах сена и шкурок, и свежей листвы. Сознание мальчишеских воспоминаний. Забытые сны. Иногда жуткое ощущение одиночества. Сто тридцать тысяч марок. В детстве у него только раз было семьдесят пять пфеннигов в кармане, да и те через два дня стащили.

В небо взлетал один огненный сноп за другим. Это был старый город, горевший, как солома, а сплошь деревянные дома отражались в воде, словно горела река.

Ветераны, которые могли передвигаться, сидели на корточках, сбившись в черную кучку перед бараком. В красной темноте можно было видеть, что пулеметные гнезда зияли пустотой. Огонь сверкал даже в глазах мертвецов, лежавших штабелями. Мягкий сероватый слой облаков был окрашен, как оперение фламинго.

Внимание Пятьсот девятого привлекло едва слышное шарканье. Левинский оторвал взгляд от земли. Пятьсот девятый глубоко вздохнул и выпрямился. Он ждал этого мига с тех пор, как снова мог ползать. Пятьсот девятый мог бы и сидеть, но встал, желая показать Левинскому, что не калека и в состоянии ходить.

— Значит, все снова наладилось? — спросил

Левинский.

— Конечно. Так легко нас не сломать. Левинский кивнул.

— Мы можем где-нибудь поговорить?

Они обошли груду мертвецов с другой стороны. Левинский быстро осмотрелся.

— Охранники у вас еще не вернулись…

— Здесь охранять-то нечего. У нас никому и в голову не придет бежать.

— Я как раз это имею в виду. А ночью вас не проверяют?

— Практически нет.

— А днем эсэсовцы часто заглядывают в бараки?

— Почти никогда. Боятся вшей, дизентерии и тифа.

— А старший по блоку?

— Он приходит только на перекличку. Ему на нас наплевать.

— Как его зовут?

— Больте. Шарфюрер. Левинский кивнул.

— Старосты блоков не спят вместе со всеми в бараках?

— Только старшие по помещению.

— Ваш-то как?

— Да ты только что с ним говорил. Зовут Бергер.

Лучше его не найти.

— Это врач, который сейчас работает в крематории?

— Да. Я вижу, ты все знаешь.

— Мы навели справки. Кто у вас староста блока?

— Хандке. Зеленый. Несколько дней назад он у нас одного насмерть затоптал. Но он мало что о нас знает. Боится чем-нибудь заразиться. Знаком только с некоторыми из нас. Столько лиц мелькает. Старший по блоку знает еще меньше. Контроль возлагается на старост по помещениям. Здесь можно делать, что угодно. Тебя это интересовало, а?

— Да, я хотел услышать именно это. Ты меня понял. — Левинский с удивлением посмотрел на красный треугольник на робе Пятьсот девятого. Для него это было неожиданностью.

— Коммунист? — спросил он. Пятьсот девятый покачал головой.

— Социал-демократ?

— Нет.

— Кто ж тогда? Кем-то ты ведь должен быть. Пятьсот девятый поднял взгляд. Кожа вокруг глаз еще оставалась выцветшей от кровоподтеков. От этого глаза казались светлее обычного; почти

прозрачные, они блестели в свете огня, словно не имели отношения к темному избитому лицу.

— Кусочком человеческой плоти, если угодно.

— Что?

— Да ладно. Так просто. Левинский на мгновение оторопел.

— Ах, какой идеалист, — проговорил он с налетом добродушного презрения. — Ну ладно, как скажешь. Если только мы сможем на вас положиться.

— Сможете. На нашу группу. Те, что там сидят. Они дольше всех здесь. — Пятьсот девятый поморщился. — Ветераны.

— А остальные?

— Тоже можно не сомневаться. Мусульмане. Надежные, как покойники. Дай им только кусок жратвы да возможность умереть лежа. У них нет сил для предательства.

Левинский посмотрел на Пятьсот девятого.

— Значит, кого-нибудь у вас можно спрятать, по крайней мере на несколько дней? Это не бросится в глаза?

— Нет. Только если он не будет очень упитанный.

Левинский пропустил это ироническое замечание мимо ушей. Он подсел поближе.

— У нас что-то носится в воздухе. В разных бараках красных старост блоков заменили на зеленых. Идут разговоры о том, что будут увозить ночью и в тумане. Ты знаешь, что это такое?

— Да. Транспорты с людьми в лагеря смерти.

— Идут слухи и о массовой ликвидации. Эту новость принесли люди, которых доставили из других лагерей. Нам надо быть готовыми. Организовать свою оборону. Эсэсовцы так просто не исчезнут. До сих пор мы о вас в этой связи не подумали…

— Вы считали, что мы подыхаем здесь, как полумертвые рыбы, не так ли?

— Да. Но это только раньше. Вы еще пригодитесь. Если там запахнет жареным, чтобы на какое-то время спрятать нужных нам людей.

— В лазарете уже не безопасно? Левинский снова поднял взгляд.

— Значит, и тебе известно?

— Да, мне тоже.

— Ты там участвовал с нами в движении?

— Это не важно, — сказал Пятьсот девятый. — Как там сейчас?

— Лазарет, — проговорил Левинский с другой интонацией, чем прежде, — уже не то, что раньше. У нас еще остались свои люди; но с некоторых

пор там вовсю лютуют.

— А как в тифозном отделении?

— Пока еще можно. Но этого недостаточно. Нам нужны другие места, чтобы прятать людей. В собственном бараке можно отсидеться только несколько дней. Того гляди, нагрянут эсэсовцы с ночной проверкой.

— Понимаю, — сказал Пятьсот девятый. — Вам нужно место, как это: где все быстро меняется и редко бывают проверки.

— Точно. И где проверкой занимаются люди, на которых можно положиться.

— Ну как у нас.

«Я расхваливаю Малый лагерь, как булочную», — подумал Пятьсот девятый и сказал:

— Что, вы справлялись насчет Бергера?

— Да, хорошо, что он работает в крематории. Там у нас никого нет. Бергер мог бы держать нас в курсе дела.

— Это он может. Бергер выдергивает в крематории зубы и подписывает свидетельства о смерти или что-то в этом роде. Он там уже два месяца. Прежнего лагерного врача при последней замене крематорской команды отправили с «ночной группой в тумане». Потом пару дней здесь был зубной техник. Он умер. И тогда они

нашли Бергера.

Левинский одобрительно кивнул:

— Тогда у него еще два-три месяца. На первый раз хватит.

— Да, хватит. — Пятьсот девятый поднял свое сине-зеленое лицо. Он знал, что весь состав работавших в крематории обновлялся каждые четыре-пять месяцев, после чего их увозили и уничтожали в газовых камерах лагеря. Так проще всего было отделаться от слишком много видевших свидетелей. Поэтому Бергеру, вероятно, осталось еще жить не более трех месяцев. Но три месяца — это был немалый срок. Еще многое могло случиться. Особенно при содействии трудового лагеря.

— А что от вас мы можем ожидать, Левинский? — спросил Пятьсот девятый.

— То же, что и мы от вас.

— Для нас это не столь важно. Пока нам некого прятать. Жратва нам нужна — вот что.

Левинский на миг задумался.

— Мы не можем снабжать весь ваш барак, — заметил он. — Ты это знаешь!

— Об этом никто и не просит. Нас всего дюжина людей. Мусульман все равно не спасти.

— У нас самих чересчур мало. Иначе сюда не

приходили бы каждый день новенькие.

— И это мне известно. Я не говорю о том, чтобы наесться досыта. Просто не хочется умереть с голода.

— То, без чего мы можем обойтись, надо отдать тем, кого мы уже сейчас прячем у себя. Для них у нас ведь нет пайка. Но мы сделаем для вас все возможное, обещаю.

Пятьсот девятый подумал: «Этого достаточно и вместе с тем практически ничто. Просто обещание — но я не могу ничего требовать, пока барак не ответит взаимностью».

— Годится, — сказал он.

— Хорошо. Тогда поговорим сейчас с Бергером. Он может быть нашим связным. Ему ведь разрешается бывать в нашем лагере. Лучше, чтобы обо мне знало как можно меньше людей. Достаточно одного связного для контакта между группами. И еще нужен запасной. Старое правило, ты его знаешь, правда?

— Его-то я знаю, — ответил Пятьсот девятый.

Левинский медленно пополз сквозь красную темноту за барак и потом в направлении сортира и выхода. Пятьсот девятый стал на ощупь пробираться назад. Он почувствовал себя очень усталым. Было такое ощущение, будто он целыми

днями не переставая говорил и напряженно думал. С момента выхода из бункера этот разговор был для него самым главным. Голова гудела. Раскинувшийся под ним город горел, как огромных размеров кузнечный горн. Он подполз к Бергеру.

— Эфраим, — проговорил он. — Мне кажется, мы вырвались отсюда.

С трудом передвигаясь, приблизился Агасфер.

— Ты с ним говорил?

— Да, старик. Они нам помогут. А мы им.

— Мы им?

— Да, — сказал Пятьсот девятый и выпрямился. Голова у него перестала гудеть. — Мы им тоже.

В его голосе звучала какая-то бессмысленная гордость. Им никто ничего не подарил, они что-то возвращали людям. Они еще на что-то годились. Они могли помочь даже Большому лагерю. Они были настолько ослаблены, что при такой физической немощи не устояли бы при резком порыве ветра. Но в тот момент они этого не ощущали.

— Мы вырвались отсюда, — сказал Пятьсот девятый. — Мы снова почувствовали связь с миром. Больше нет этой изоляции. Мы прорвали карантин.

Казалось, будто он проговорил: «Мы больше не обречены на смерть, у нас есть маленький шанс.

В этом заключалось гигантское различие между отчаянием и надеждой».

— Теперь мы всегда должны об этом думать, — сказал он. — Мы должны это поедать. Как хлеб. Как мясо. Скоро все кончится. Это точно. И мы выберемся отсюда. Раньше это нас бы сломало. Это было слишком далеко. Было слишком много разочарований. Но это прошло. Теперь оно наступило. Теперь оно должно нам помочь. Мы должны его пожирать вместе с нашими мозгами. Оно, как мясо.

— Он не принес никаких новостей? — спросил Лебенталь. — Обрывок газеты или что-нибудь в этом роде.

— Нет. Все запрещено. Но они тайно собрали радиоприемник. Из утиля и ворованных частей. Через несколько дней заработает. Может быть, они его здесь спрячут. Тогда мы будем знать, что происходит.

Пятьсот девятый достал из кармана два кусочка хлеба и передал их Бергеру.

— Вот, Эфраим. Раздай. Левинский принесет еще.

Каждый взял свою долю. Они ели не торопясь. Внизу под ними пылал город. За спиной у них лежали мертвецы. Сидя на корточках, крохотная

группа молчаливо прижималась друг к другу и ела хлеб, который по вкусу отличался от любого хлеба раньше. Это было как особое причастие, которое их отличало от других в бараке. От мусульман. Они начали борьбу. Они обрели товарищей. У них появилась цель. Они разглядывали поля, и горы, и ночь — и никто в этот Момент не видел колючую проволоку и башни с пулеметами.

X

Нойбауэр снова взял бумагу, лежавшую на письменном столе. «Просто для братьев, — подумал он. — Одно из тех резиновых предписаний, по которым можно сделать все, что угодно. И хотя оно читалось как нечто совершенно бесхитростное, в нем чувствовался скрытый подтекст. В качестве дополнения предлагалось составить список важных политических заключенных, если таковые еще остались в лагерях. Ах, вот в чем фокус! Намек ясен». В разговоре с Дитцем сегодня утром уже не было никакой необходимости. Дитцу легко говорить. «Избавьтесь от того, что представляет опасность, — заявил он. — В такое трудное время мы не можем иметь в тылу, да еще кормить, откровенных врагов отечества». Говорить всегда было легко. Но потом это кому-то приходилось выполнять. Это — другое дело. Такие приказы следовало четко формулировать в письменном виде. А Дитц не выдал никаких письменных указаний — и этот чертов запрос не был настоящим приказом; Дитц как бы перекладывал всю ответственность на других.

Нойбауэр отодвинул бумагу и достал сигару. И с куревом становится все труднее. У него оставалось еще четыре коробки. Потом ведь придется переходить на «Дойче вахт», но и этих сигар осталось не так уж много. Почти все сгорело. Надо было запасаться, когда царил полный достаток. Но кто бы мог подумать, что однажды все так повернется?

Вошел Вебер. Преодолев мимолетное колебание, Нойбауэр придвинул к нему коробку. — Угощайтесь, — проговорил он с наигранной сердечностью. — Сейчас это редкость.

— Спасибо. Я курю только сигареты.

— Ах, да. Я все время забываю. Тогда курите свои сигареты.

Вебер подавил в себе ухмылку. Он извлек из кармана свой плоский золотой портсигар и постучал сигарету, утрясая в ней табак. В 1933 году табакерка принадлежала советнику юстиции Арону Вейценблюту. Она оказалась удачной находкой, в которую хорошо вписывалась монограмма «Антон Вебер». Это была его единственная добыча за все минувшие годы. Сам он довольствовался малым и не интересовался, у кого что есть.

— Тут поступило предписание, — сказал Нойбауэр. — Вот, прочитайте это.

Вебер взял лист бумаги. Он читал медленно и долго. Нойбауэр начал терять терпение.

— Остальное не столь важно, — сказал он. — Главное — вот этот пункт насчет политических заключенных. Сколько у нас еще таких примерно?

Вебер бросил бумагу. Она скользнула по полированной поверхности стола, натолкнувшись на маленькую стеклянную вазу с фиалками.

— В данный момент не скажу точно, сколько всего, — ответил он. — Думаю, примерно половина от общего числа всех заключенных. А может быть, чуть больше или меньше. Все те, что с красным уголком. Иностранцы, разумеется, не в счет. Вторая половина — это уголовники, затем гомосексуалисты, исследователи библии и всякие прочие.

Нойбауэр поднял глаза. Он никак не мог понять, сознательно ли Вебер прикидывается дурачком. Тем более что его лицо ничего не выражало.

— Я не это имею в виду. Люди с красными уголками ведь не все политические преступники. Не в смысле этого предписания.

— Разумеется, нет. Красный уголок — это весьма условная общая классификация. Сюда относятся евреи, католики, демократы, социал-демократы,

коммунисты и еще бог знает кто.

Нойбауэру все это было хорошо знакомо. Только чего ради десять лет спустя Вебер решил просвещать его. Ему вдруг показалось, что начальник лагеря снова потешается над ним.

— Как насчет действительно политических заключенных? — спросил он с невозмутимым видом.

— Это в основном коммунисты.

— Можно назвать точные цифры, а?

— Достаточно. Это отражено в документах.

— У нас здесь сидят и важные политические деятели?

— Я дам указание проверить. Возможно, еще есть некоторое число журналистов, социал-демократов и демократов.

Нойбауэр отогнал от себя дым сигары «Партага». Удивительно, как быстро сигара успокаивает и настраивает на оптимистический лад!

— Хорошо! — проговорил он добродушно. — Сначала отметим сам факт. Дайте указание проверить списки. Мы ведь всегда сможем подправить данные в зависимости от того, сколько людей нам потребуется для отчета. Вы согласны?

— Безусловно.

— Это не очень срочно. У нас примерно две

недели в запасе. А это приличный период времени, чтобы кое-чего добиться, не так ли?

— Безусловно.

— Кроме того, кое-что можно пометить задним числом. Я имею в виду то, что все равно произойдет. Не надо больше фиксировать имена людей, которые очень скоро умрут. Это все пустые хлопоты и порождает ненужные встречные вопросы.

— Безусловно.

— Слишком много таких у нас все равно не будет; я имею в виду, что это не бросится в глаза…

— Нам это и не требуется, — сказал Вебер спокойным голосом.

Он знал, что Нойбауэр имеет в виду, а Нойбауэр, и свою очередь, знал, что Вебер его понимает.

— Незаметно, само собой разумеется, — сказал он. — Все надо организовать по возможности незаметно. Здесь я ведь могу на вас положиться…

Он встал и осторожно поковырял разогнутой канцелярской скрепкой кончик сигары. Нойбауэр слишком торопливо надкусил, и вот теперь она погасла. Фирменные сигары никогда нельзя надкусывать, можно только осторожно надламывать или, в крайнем случае, надрезать острым ножичком.

— Как идет работа? У нас есть, чем заниматься?

— Во время бомбардировки здорово пострадал медеплавильный завод. Мы приказали людям начать расчистку. Остальные коммандос работают как и прежде.

— Расчистка? Хорошая идея. — Сигара снова загорелась. — Сегодня Дитц говорил со мной об этом. Надо привести в порядок улицы, снести разрушенные бомбами дома. Городу требуются сотни людей. Это же бедствие, а у нас самая дешевая рабочая сила. Дитц за это. Я тоже. Нет основания быть против, а?

— Нет.

Нойбауэр стоял у окна и смотрел вдаль.

— Тут поступил еще один запрос насчет запасов продовольствия. Нам следует быть экономными. Что можно сделать?

— Выдавать меньше продовольствия, — лаконично ответил Вебер.

— Здесь нельзя переусердствовать. Если люди будут валиться от изнеможения, они не смогут работать.

— Экономить можно на Малом лагере. Там полно бесполезных едоков. Кто умирает, тому уже не нужна еда.

Нойбауэр кивнул.

— И тем не менее вы знаете мой принцип: всегда человечность в пределах возможного. Если это выходит за рамки, действует другой принцип: приказ есть приказ…

Теперь оба стояли у окна и курили. Они спокойно и по-деловому беседовали, как два порядочных скототорговца на бойне. За окном на клумбах, окружавших дом коменданта, работали заключенные.

— Я велел здесь для обрамления посадить касатик и нарциссы, — сказал Нойбауэр. — Прекрасное цветовое сочетание — желтый с голубым.

— Да, — ответил Вебер без особого энтузиазма. Нойбауэр рассмеялся.

— Наверно, вам это не очень интересно, а?

— Не очень. Моя страсть — кегли.

— В этом тоже что-то есть. — Нойбауэр еще немного понаблюдал за работавшими. — А как дела у лагерного оркестра? Эти парни здорово обленились.

— Они играют при выходе на работу и отправлении маршем и еще два раза в неделю после обеда.

— Какой толк рабочим коммандос от их игры после обеда? Распорядитесь, чтобы они игра-

ли еще час после переклички. Это полезно для людей. Развлеките их. Особенно сейчас, когда придется экономить на еде.

— Я дам указание.

— Мы вроде бы все обсудили и понимаем друг друга.

Нойбауэр вернулся к письменному столу, открыл ящик и достал маленькую коробочку.

— Вот еще один сюрприз для вас, Вебер. Сегодня получил. Думаю, что доставит вам радость.

Вебер открыл коробочку. В ней был крест за боевые заслуги. Нойбауэр с удивлением отметил, что Вебер покраснел. Нойбауэр ожидал любую реакцию, но только не эту.

— Подтверждение того, — объявил он, — что вы это давно заслужили. Мы ведь здесь до некоторой степени тоже на войне. Ни слова больше об этом. — Он протянул Веберу руку. — Суровые времена. Мы должны их пережить.

Вебер ушел. Нойбауэр покачал головой. Маленький трюк с наградой возымел большее действие, чем он рассчитывал. Ведь у каждого есть свои слабости. В раздумье он остановился на миг перед большой пестрой физической картой Европы, висевшей на стене напротив портрета Гитлера. Торчавшие на ней флажки уже не со-

ответствовали реальному положению вещей. Они обозначали глубинные территории России. Нойбауэр велел натыкать их как бы из суеверия в надежде на то, что со временем все вернется на круги своя. Он вздохнул, вернулся к письменному столу, взял вазу с фиалками и вдохнул сладкий запах.

«Такие уж мы, мои дорогие, — подумал он взволнованно. — В нашем сердце есть место для всего. Железная дисциплина, если того требует историческая необходимость, и глубочайшая душевность. Фюрер с его любовью к детям; Геринг, обожающий животных». Он еще раз понюхал цветы. Сто тридцать тысяч марок он потерял и тем не менее снова карабкается в гору. Сломать его не так просто! И снова пробуждается в нем чувство прекрасного! Идея с лагерным оркестром ему показалась удачной. Сегодня вечером сюда наверх к нему приедет Зельма с Фрейей. Это произвело бы на них блестящее впечатление. Он сел за пишущую машинку и двумя толстыми пальцами напечатал приказ о лагерном оркестре. Это предназначалось для его личного дела. Затем последовало предписание об освобождении от работы ослабевших заключенных. Оно имело совершенно другой смысл. Как будет реагировать

Вебер, это уже его дело. Он что-нибудь да придумает. Крест за боевые заслуги подвернулся вовремя. В личном деле было множество доказательств того, что Нойбауэр относится к окружающим заботливо и доброжелательно. Это, разумеется, обычный компромат на начальство и товарищей по партии. Но кто находится под обстрелом, тому ох как не просто укрываться от огня.

Нойбауэр с удовлетворением захлопнул голубую папку и снял телефонную трубку. Его адвокат дал прекрасный совет— скупать подвергшиеся бомбежке земельные участки. Из-за их дешевизны. Но и те, на которые бомбы не падали. Так можно компенсировать собственный ущерб. Дело в том, что земельные участки, даже если их сотни раз бомбили, сохраняли свою стоимость. Надо было воспользоваться сиюминутной паникой.

Коммандос по расчистке развалин возвращались с медеплавильного завода. Позади были двенадцать часов изнурительного труда. Часть большого цеха обвалилась, и другим участкам был нанесен огромный ущерб. В распоряжении заключенных было немного кирок и лопат, так что большинству пришлось работать голыми руками. Кожа на руках была разодрана и кровоточила. Все ощущали смертельную усталость

и голод. На обед им дали жидкий суп, в котором плавали какие-то растения: великодушный дар дирекции медеплавильного завода. Единственное утешение, что суп был теплый. За это инженеры и надзиратели завода — они были гражданскими лицами, но некоторые из них мало в чем уступали эсэсовцам — издевались над узниками, как над рабами.

Левинский шагал в середине колонны. Рядом с ним — Вилли Вернер. При формировании коммандос обоим посчастливилось попасть в одну группу. Здесь выкликали уже не отдельные номера, а целиком группу в четыреста человек. Уборка развалин была трудным делом, и добровольцев нашлось немного, поэтому Левинский и Вернер попали в эту коммандос без труда. Оба уже несколько раз проделывали это прежде.

Четыреста заключенных шли медленным шагом. Среди них было шестнадцать человек, которым эта работа оказалась не по силам. Двенадцать еще могли кое-как идти при чужой поддержке; остальных пришлось нести на грубо сколоченных носилках или держа за руки и за ноги.

Путь к лагерю был долгим: заключенных гнали вокруг города. Эсэсовцы старались, чтобы узни-

ков на городских улицах никто не видел. Кроме того, эсэсовцы не хотели, чтобы пленные увидели масштабы разрушений.

Вот они приблизились к небольшому березняку. В закатных лучах шелком светились стволы деревьев. Охранники СС и старшие коммандос распределились вдоль колонны. Эсэсовцы в любой момент были готовы открыть огонь по заключенным, которые с трудом тащились по дороге. Ветви благоухали зеленью и весной. В листве щебетали птицы. Но никто не обращал на это внимания. Все были слишком усталые. Потом снова пошли поля и пашни, и снова охранники подтягивались друг к другу.

Левинский шагал рядом с Вернером. Он был возбужден. — Куда ты это засунул? — спросил он слабым движением губ.

Вернер едва заметно прикоснулся рукой к ребрам.

— Кто нашел?

— Мюнцер. На том же месте.

— Та же марка? Вернер кивнул.

— Значит, теперь у нас все части?

— Да. Мюнцер смонтирует их в лагере.

— Я нашел горсть патронов, но не рассмотреть, подойдут ли они. Пришлось сразу спрятать.

— Не бойся, пригодятся.

— У кого-нибудь еще что-то есть?

— У Мюнцера остались части револьвера.

— Они лежали на том же месте, что и вчера?

— Да.

— Видимо, кто-то их туда положил.

— Конечно. Кто-то, но не из лагерных.

— Из рабочих.

— Да. Такое мы находим уже в третий раз. Это не случайно.

В ожидании решающей схватки с эсэсовцами лагерное движение Сопротивления уже давно пыталось раздобыть оружие, чтобы не оказаться абсолютно беззащитным. С началом бомбардировок коммандос, занимавшиеся расчисткой развалин, вдруг стали натыкаться на оружие и его отдельные части. Видимо, рабочие специально для них прятали оружие в грудах мусора. Эти находки были причиной того, что все больше добровольцев изъявляли желание поработать на разборке развалин. Это были надежные люди.

Заключенные миновали луг, огороженный колючей проволокой. Вплотную к проволоке подошли и стали ее обнюхивать две буро-белые коровы. Одна замычала. Но никто из заключенных не обращал на них внимания: ведь это

только обостряло постоянное чувство голода.

— Ты думаешь, они будут проверять нас сегодня?

— Почему? Они ведь и вчера не проверяли. Наша коммандос работала вдали от военного отдела. После разборки за пределами военного завода обычно уже не проверяют.

— Кто знает. А если нам придется избавляться от этих вещей…

Вернер посмотрел на небо. Оно светилось розовыми, золотыми и голубыми красками.

— Когда мы доберемся до места, станет уже достаточно темно. Мы должны следить за тем, как будут развиваться события. Ты хорошо завернул свои патроны?

— Да. В тряпку.

— Ясно. Если что-нибудь случится, передай назад Гольдштейну, который перекинет их Мюнцеру, а тот дальше — Ремме. Один из них эти патроны выбросит. Если не повезет и эсэсовцы будут со всех сторон, выкиньте их посреди группы. Тогда трудно будет схватить кого-то одного. Надеюсь, что вместе с нами вернется коммандос, работающая на корчевании деревьев. Там Мюллер и Людвиг в курсе дела. Их группа, если нас станут проверять, сделает вид, что непра-

вильно поняла команду, приблизится к нам и все возьмет.

Описав кривую, дорога по вытянутой прямой снова приблизилась к городу. С обеих сторон к дороге подступали небольшие сады с деревянными беседками. Там работали люди в рубашках с засученными рукавами. Только немногие поднимали взгляд. Узники были им знакомы.

Из садов на дорогу доносился запах вскопанной земли. Кукарекал петух. На обочине стояли щиты, предупреждающие автомобилистов о крутом повороте. До Хольцфельде осталось двадцать семь километров.

— А это еще что? — спросил вдруг Вернер. — Уже возвращаются с корчевания?

Далеко впереди они увидели темную массу растянувшихся по дороге людей; так много, что трудно было рассмотреть лица.

— Наверно, они подошли раньше нас, — проговорил Левинский. — Может, мы их еще догоним.

Он обернулся. За ними, пошатываясь, шел Гольдштейн. Он с трудом тащился, положив руки на плечи двух шедших рядом.

— Давайте, — сказал Левинский обоим, помогавшим Гольдштейну. — Мы вас сменим. Потом, перед лагерем, снова ему поможете.

Он подхватил Гольдштейна с одной стороны, а Вернер подпер его с другой.

— Проклятое сердце, — пропыхтел Гольдштейн. — Мне сорок лет, а сердце ни к черту. Просто идиотизм.

— Зачем ты-то пошел? — спросил Левинский. — Тебя ведь можно было отправить в сапожную мастерскую.

— Да посмотреть хотел, как там за воротами лагеря. Свежий воздух… Это было ошибкой.

На сером лице Гольдштейна мелькнула вымученная улыбка.

— Ты еще отдохнешь, — сказал Вернер. — А сейчас обопрись, мы тебя дотащим.

Голубые тени соскользнули с холмов на землю, и небо утратило последний блеск.

— Послушайте, — прошептал Гольдштейн, — засуньте все в мои вещи. Если им взбредет проверять, проверят и вас и, наверное, носилки. Нас, дохляков, контролировать не станут. Мы уже конченые люди. Нас пропустят как есть.

— Если решат проверять, это коснется всех, — сказал Вернер.

— Нет, нас не станут, мы совсем выбились из сил. А еще к нам добавилось несколько человек там на дороге. Засуньте все мне под рубашку.

Вернер обменялся взглядом с Левинским.

— Все обойдется, Гольдштейн. Уж как-нибудь пробьемся.

— Нет, отдайте мне.

Оба никак не реагировали.

— Мне в общем-то все равно, схватят меня или нет. Это не имеет ничего общего с самопожертвованием и бахвальством, — сказал Гольдштейн с кривой улыбкой. — Так практичнее. Я ведь все равно долго не протяну.

— Увидим, — возразил Вернер. — Нам еще идти почти час. Перед лагерем ты снова вернешься в свой ряд. Если что-нибудь случится, вещи мы тебе отдадим. Ты их сразу передашь Мюнцеру. Мюнцеру, понятно?

— Да.

Мимо проехала женщина на велосипеде. Она была толстая и в очках, а на руле возвышалась картонная коробка. Она не хотела видеть заключенных и отвела взгляд в сторону.

Подняв глаза, Левинский стал напряженно разглядывать, что впереди.

— Послушайте, — сказал он. — Это не коммандос по корчеванию деревьев.

Приблизилась черная масса шагавших впереди. Толпа сама шла навстречу. Теперь уже можно

было видеть, что это огромный людской поток.

— Новое пополнение? — спросил кто-то. — Или это целый этап?

— Нет. При них нет эсэсовцев. Да и идут они не к лагерю. Это — гражданские.

— Гражданские?

— Ты что, не видишь? У них шляпы. Здесь и женщины. И дети. Много детей.

Теперь их можно было четко рассмотреть. Обе колонны быстро приближались друг к другу.

— Правее взять! — заорал эсэсовец. — Резко вправо! В кювет, крайний ряд вправо. Быстро!

Надзиратели бегали вдоль колонны заключенных.

— Вправо! Взять вправо! Кто свернет влево, будет расстрелян!

— Это пострадавшие от бомбардировок, — проговорил Вернер неожиданно резко и тихо. — Горожане. Беженцы.

— Беженцы?

— Беженцы, — повторил Вернер.

— По-моему, ты прав! — Левинский прищурился. — Это действительно беженцы. Но на этот раз немецкие беженцы!

Это слово шепотом пронеслось вдоль колонны. Беженцы! Немецкие беженцы! После того как

несколько лет они одерживали победы в Европе и гнали людей впереди себя, теперь в собственной стране им была уготована роль изгоев. Это казалось немыслимым, но это соответствовало действительности.

Женщины, дети, старики тащили пакеты, ручные сумки и чемоданы. Некоторые тянули маленькие тележки, на которые был погружен их скарб. Они брели друг за другом беспорядочной и угрюмой толпой.

Обе колонны почти поравнялись друг с другом. Мгновенно стало очень тихо. Слышно было только шарканье ног. И вдруг, даже не перекинувшись взглядом, заключенные преобразились. Казалось, кто-то отдал безмолвный приказ всем этим до смерти уставшим, изможденным, голодным людям, словно какая-то искра воспламенила их кровь, встряхнула мозг, расправила мышцы. Только что спотыкавшаяся колонна зашагала маршем. Головы распрямились, лица посуровели и в глазах засветилась жизнь.

— Пустите меня, — проговорил Гольдштейн.

— Что за чушь!

— Пустите меня! Хотя бы пока они не пройдут!

Его отпустили. Он пошатнулся, стиснул зубы и чуть не упал. Левинский и Вернер подставили

плечи, сжатый ими с обеих сторон, Гольдштейн зашагал сам. Запрокинув голову, тяжело дыша, он шел сам, без поддержки.

Шаркавшие ногами узники теперь зашагали в ногу. Вместе с ними маршировало отделение бельгийцев и французов, а также небольшая группа поляков.

Колонны поравнялись. Немцы направлялись в окрестные селения, куда добраться на поезде было невозможно. Колонной руководило несколько гражданских лиц с повязками штурмовиков. Кое-кто из детей плакал. Мужчины пристально смотрели перед собой.

— Так вот нам пришлось бежать из Варшавы, — тихо прошептал поляк за спиной Левинского.

— А нам из Льежа, — добавил бельгиец.

— А нам точно так же из Парижа.

— Нам было намного тяжелее. Несравненно. И гнали нас по-другому.

Они едва ли ощущали чувство реванша. Или ненависти. Женщины и дети везде одинаковые, и обычно чаще всего преследуют не тех, кто виноват, а тех, кто ни в чем не повинен. В этой уставшей массе наверняка было много таких, кто не желал и сознательно не делал ничего бесчеловечного. У заключенных было только чувство

гигантской обезличенной несправедливости, которое возникло в тот самый момент, когда поравнялись обе колонны. Совершилось и почти удалось злодеяние в мировом масштабе: закон жизни отдан на поругание, исхлестан бичом, сожжен огнем; разбой стал нормой, убийство — добродетелью, террор — законным деянием. И теперь, именно в этот момент, четыреста жертв произвола неожиданно осознали: «Все, с них довольно!» И маятник резко качнулся. Они почувствовали, что речь идет о спасении не только отдельных стран и народов; на карту поставлен закон самой жизни, ее заветы, у которых было много названий, и самое простое и древнее это — Бог. А это означало — и человек.

И вот колонна беженцев миновала колонну заключенных. Казалось, что на несколько минут беженцы стали заключенными, а заключенные — свободными людьми.

Колонну замыкали две доверху груженные поклажей телеги, в которые были запряжены сивые лошади. Эсэсовцы нервно бегали вдоль колонны взад и вперед, стараясь уловить какой-либо взгляд или слово. Однако ничего не происходило. Колонна молча шагала дальше, и скоро ноги снова стали шаркать, снова вернулась усталость.

Гольдштейн положил руки на плечи Левинскому и Вернеру, но когда показались красно-черные барьеры лагеря и железные ворота со старым прусским девизом «Каждому — свое», то каждый смотрел на этот девиз, не один год остававшийся жуткой издевкой, неожиданно по-новому.

Лагерный оркестр уже ждал у ворот. Играл марш «Фридрих, король». За музыкантами стояли группа эсэсовцев и второй начальник лагеря. Заключенные стали маршировать.

— Носок вперед! Направо, равняйсь!

Коммандос по корчеванию деревьев еще не вернулась в лагерь.

— Смирно! Пересчитайсь!

Они пересчитались. Левинский и Вернер наблюдали за вторым начальником лагеря. Прогибаясь в коленях, он кричал: «Личный обыск! Первая группа — шаг вперед!»

Осторожно завернутые в тряпки части оружия стали передавать назад к Гольдштейну. Левинский почувствовал, как вдруг покатились по спине капельки пота.

Шарфюрер СС Гюнтер Штейнбреннер, который стоял, как овчарка в карауле, услышал какой-то шорох и, расталкивая других, бросился к Гольдштейну. Вернер сжал губы. Если сейчас вещи не

дошли до Мюнцера или Ремме, всему конец. Но прежде чем Штейнбреннер приблизился, Гольдштейн повалился на землю. Эсэсовец ткнул его под ребро.

— А ну, подымайся, сволочь!

Гольдштейн попробовал встать, поднялся на колени, выпрямился и застонал, изо рта выступила пена, и он повалился снова.

Штейнбреннер видел серое лицо и закатившиеся глаза и еще раз ткнул Гольдштейна ногой; прикинул, а не поднести ли под нос горящую спичку, чтобы привести его в чувство. Но потом вспомнил, что недавно залепил пощечину мертвецу, из-за чего над ним смеялись его товарищи. Еще раз такое не должно повториться. Поэтому, что-то пробурчав, он вернулся на свое место.

— Что? — спросил второй начальник лагеря старшего коммандос скучным голосом. — Значит, эти не с военного завода?

— Нет. Эти из коммандос по расчистке развалин.

— А где же остальные?

— Как раз поднимаются в гору, — сказал обершарфюрер СС, возглавлявший коммандос.

— Ну ладно. Этих дураков обыскивать не надо. А ну, разойдись!

— Первая группа, назад, шагом марш! — скомандовал обершарфюрер. — Коммандос, смирно! Налево, шагом марш!

Гольдштейн поднялся с земли. Он шатался, но ему удалось остаться в группе.

— Выбросил? — спросил Вернер почти беззвучно, увидев рядом с собой голову Гольдштейна.

— Нет.

— На самом деле?

Они встали в строй. Эсэсовцев они больше не интересовали. Сзади стояла колонна с военного завода. Ее проверили с особой тщательностью.

— У кого вещи? — спросил Вернер. — У Ремме?

— У меня.

Они подошли маршем к месту переклички и построились.

— А если бы ты больше не смог подняться на ноги? — спросил Левинский. — Как ты незаметно все передал бы нам?

— Я все равно поднялся бы.

— Это как?

Гольдштейн улыбнулся.

— Когда-то хотел стать артистом.

— Ты все это разыграл?

— Не все. Только самую последнюю часть.

— Пену у рта тоже?

— Это школьные трюки.

— Тем не менее это надо было передать дальше. Почему? Почему ты оставил?

— Я объяснил раньше.

— Внимание, — прошептал Вернер. — Эсэсовец! Они вытянулись по стойке «смирно».

XI

Новый транспорт прибыл после обеда. Примерно полторы тысячи людей с трудом тащились в гору. Среди них было меньше инвалидов, чем ожидалось: кто во время долгого пути падал, пристреливали на месте.

Регистрация вновь прибывших отнимала много времени. Сопровождавшие транспорты эсэсовцы пытались обманом зарегистрировать несколько десятков покойников, которых забыли списать. Однако лагерная бюрократия была начеку. Она требовала предъявить каждое тело, живое или мертвое, принимая только тех, кто живым проходил в ворота. При этом случилось происшествие, доставившее эсэсовцам массу удовольствия. Пока транспорт стоял перед воротами, целая группа людей окончательно выбилась из сил. Товарищи попытались было тащить их на себе, но эсэсовцы скомандовали: «Бегом марш!» В результате часть инвалидов оказалась брошенной на произвол судьбы. Примерно два десятка людей остались лежать, рассеянные на последних двухстах метрах дороги. Они крях-

тели, пыхтели, щебетали, как раненые птицы, или просто лежали с вытаращенными от страха глазами, слишком слабые, чтобы кричать. Они знали, что их ожидает, если не подняться. Они слышали, как во время марша сотни товарищей умирали от выстрела в затылок.

Эсэсовцы быстро восприняли «комизм» этой ситуации.

— Ты только посмотри, как они молят, чтобы попасть в концлагерь, — воскликнул тогда Штейнбреннер.

— Давай! Давай! — покрикивали эсэсовцы, пригнавшие транспорт.

Узники пробовали ползти.

— Черепашьи бега! — ликовал Штейнбреннер. — Ставлю вон на того лысого в центре.

Лысый полз на широко расставленных руках и коленях, как обессилевшая лягушка на блестящем асфальте. Миновав узника, у которого то и дело подкашивались руки, он снова мучительно выпрямлялся, но никак не мог сдвинуться с места. У всех ползущих людей голова каким-то странным образом была вытянута вперед навстречу спасительным воротам. И одновременно они напряженно прислушивались в ожидании выстрелов за спиной.

— А ну, вперед, лысый! Эсэсовцы выстроились цепью. Вдруг сзади прогремели два выстрела. Стрелял шарфюрер СС из конвоя. С ухмылкой он вложил револьвер в кобуру. Он стрелял в воздух. Но эти выстрелы страшно перепугали заключенных. От возбуждения они теперь передвигались еще хуже, чем прежде. Один остался лежать на земле, раскинув руки и сжав ладони. Его губы дрожали, на лбу блестели крупные капли пота. Второй беззвучно и покорно лег на землю, прикрыв лицо руками, не подавал признаков жизни.

— Еще шестьдесят секунд! — прокричал Штейнбреннер. — Минута! Через одну минуту закроются ворота в рай. Кто не успеет, останется снаружи.

Он посмотрел на свои ручные часы и дотронулся до ворот, словно желая их закрыть. В ответ раздался стон человеческих «насекомых». Шарфюрер СС из конвоя выстрелил еще раз. Люди закопошились с еще большим отчаянием. Не шелохнулся только тот, кто прикрыл лицо руками. Он испустил дух.

— Ур-р-а! — крикнул Штейнбреннер. — Мой лысый пришел к финишу!

Чтобы ободрить человека, Штейнбреннер пнул его под зад. Через ворота проползли еще несколь-

ко человек, но больше половины пока оставалось снаружи.

— Еще тридцать секунд! — прокричал Штейнбреннер тоном радиодиктора, объявляющего точное время.

Шуршание, царапание и причитание усилились. Двое беспомощных лежали на дороге, размахивая руками и ногами, словно пловцы веслами. Подняться больше не было сил. Один из них плакал высоким фальцетом.

— Пищит, как мышь, — сказал Штейнбреннер, поглядывая на свои часы. — Еще пятнадцать секунд!

Раздался еще выстрел. На этот раз не в воздух. Человек, прикрывший лицо руками, вздрогнул и совсем распластался на дороге. Вокруг его головы, как темный венец, образовалась лужа крови. Молящийся рядом с ним узник попробовал подняться, но сумел встать только на колено, потом сполз на бок и повалился на спину. Он судорожно закрыл глаза, поболтал руками и ногами, словно желая бежать и не зная, что всего лишь сотрясает воздух, как младенец в колыбели. Эти старания вызвали взрыв смеха.

— Как ты его хочешь взять, Роберт? — спросил один из эсэсовцев шарфюрера, который пристре-

лил первого заключенного. — Сзади через грудь или через нос?

Роберт медленно обошел барахтавшегося на земле. На какой-то миг он в задумчивости остановился у того за спиной. Потом наискось выстрелил в голову. Суетившийся взвился, несколько раз тяжело хлопнул ботинками по земле и завалился. Он медленно прижимал к телу одну ногу, потом вытягивал ее, снова прижимал и снова вытягивал…

— Не точно ты попал, Роберт.

— Нет, точно, — возразил равнодушно Роберт, не глядя на критика. — А это лишь нервные рефлексы.

— Все, конец! — объявил Штейнбреннер. — Ваше время истекло! Ворота закрываются!

Охранники действительно начали медленно закрывать ворота. Раздался испуганный крик.

— Только не надо так напирать, господа! — орал Штейнбреннер. Глаза его весело светились. — Пожалуйста, только без толкотни, один за другим! А то еще кто-нибудь скажет, что вас здесь не уважают!

Трое так и не доползли. Они лежали на дороге в нескольких метрах друг от друга. Двоих Роберт спокойно прикончил выстрелом в затылок. А

вот третий все крутил головой, наблюдая за ним. Он полусидел, и когда Роберт заходил к нему со спины, то поворачивался и смотрел на Роберта, словно таким образом мог предотвратить выстрел. Роберт попробовал дважды, но каждый раз тому удавалось последним усилием повернуться так, чтобы видеть Роберта в лицо. Наконец, Роберт пожал плечами.

— Как хочешь, — сказал он и выстрелил узнику в лицо. Он сунул оружие в кобуру. — Вместе с этим всего сорок.

— Сорок прикончил? — спросил подошедший к нему

Штейнбреннер. Роберт кивнул.

— Из этого транспорта.

— Черт возьми, ну ты и молодец! — Штейнбреннер смотрел на него с восхищением и завистью, словно тот установил спортивный рекорд. Роберт был старше его всего на несколько лет. — Вот это я понимаю, класс!

Подошел более старший по возрасту обершарфюрер.

— А вы тут со своими хлопушками! — выругался он. — Да еще теперь снова устроят театр с оформлением бумаг по тем, кого прикончили. Возятся с ними так, будто привезли принцев.

За три часа, пока шло персональное оформление нового транспорта, от изнеможения упали тридцать шесть человек. Четверо умерли. С утра не было воды. Двое заключенных попытались тайком принести из шестого блока ведро воды. Но их схватили, и теперь они висели с вывернутыми суставами на крестах возле крематория.

Персональное оформление продолжалось. Спустя два часа умерло семеро и более пятидесяти, обессилев, лежало на земле. В семь часов — уже сто двадцать, и трудно было определить, сколько из них умерло. Потерявшие сознание лежали неподвижно, как мертвые.

К восьми часам личный учет тех, кто еще мог стоять, был закончен. Стемнело, небо затянули серебристые барашки. Возвращались трудовые коммандос. Им специально устроили сверхурочные, чтобы управиться с вновь прибывшим транспортом. Коммандос по расчистке развалин снова нашли оружие. Уже в пятый раз и на одном и том же месте. В этот раз была приложена записка: «Мы помним о вас». Заключенные давно поняли, что оружие по ночам прятали для них рабочие военного завода.

— Полюбуйся-ка этой неразберихой, — прошептал Вернер. — Ничего, пробьемся.

Левинский прижимал к груди плоский пакетик.

— Жаль, что мало. Работы осталось всего на два дня, не более. Тогда и разбирать будет нечего.

— Шагом марш, вперед! — скомандовал Вебер. — Перекличка будет позже.

— Черт возьми, почему у нас до сих пор нет пушки? — прошептал Гольдштейн. — Ну и не везет же нам!

Они маршем прошли к баракам.

— Новичков в дезинфекцию! — объявил Вебер. — Мы не хотим, чтобы занесли тиф или чесотку. Где старший по помещению?

Появился старший.

— Вещи этих людей необходимо дезинфицировать, чтобы не было вшей, — сказал Вебер. — У нас хватит для них носильного белья?

— Слушаюсь, господин штурмфюрер. Месяц назад получено еще две тысячи пар.

— Ах, да, верно, — вспомнил Вебер. Одежду прислали из Освенцима. В лагерях смерти всегда достаточно вещей, чтобы поделиться ими с другими лагерями. — Ну-ка, всех в баню!

Раздалась команда: «Раздевайсь! Всем мыться. Форменную одежду и белье положить сзади, личные вещи — перед собой!»

Потемневшие от грязи люди заколебались. Прозвучавшая команда действительно могла означать баню: но точно так же, как и отправку в газовые камеры. Туда в лагерях смерти отправляли нагишом тоже под предлогом мытья. Только вот из душа шла не вода, а смертельный газ.

— Что будем делать? — прошептал узник Зульцбахер своему соседу Розену. — Упасть на землю?

Они разделись. Вспомнили о том, что очень часто им приходилось в считанные секунды принимать решение о жизни и смерти. Они не знали, что это за лагерь. Если лагерь смерти с газовыми камерами, то лучше притвориться, что упал в обморок. Тогда появится хоть малый шанс продлить жизнь, ибо потерявших сознание, как правило, не сразу тащат на смерть: ведь даже в лагерях смерти убивали не всех. Если в этом лагере нет газовых камер, разыгрывать потерю сознания небезопасно. Очень может быть, что ввиду бесполезности воткнут шприц, и конец всему.

Розен посмотрел на потерявших сознание. Отметил для себя, что никто не старается привести их в чувство, и сделал вывод, что, наверное, до умерщвления газом дело не дойдет. Иначе загоняли бы максимально большими партиями.

— Нет, — прошептал он. — Еще нет…

Ряды узников, ранее казавшиеся темными, теперь засветились грязно-серым цветом. Заключенные разделись донага; каждый был человеком, но об этом они уже почти забыли.

Весь транспорт прогнали через огромный чан с концентрированным дезинфекционным раствором. На вещевом складе каждому бросили по паре одежды. И вот теперь шеренги заключенных снова выстроились на площади для переклички.

Они быстро оделись и чувствовали себя почти счастливыми: они оказались не в лагере смерти. Зульцбахеру вместо нижнего белья подкинули шерстяные женские подштанники со шнурками, а Розену — священнический стихарь. Все это были вещи, принадлежавшие умершим. В стихаре было входное отверстие от пули, вокруг которого тянулось желтовато-растекшееся кровяное пятно. Часть людей получила деревянные башмаки с острыми краями, которые попали сюда из концлагеря в Голландии; по сути это были орудия пыток для непривычных, истертых в кровь ног.

Вот-вот должно было начаться распределение по блокам. И в этот момент в городе завыли сирены. Все взгляды были устремлены на начальника лагеря.

— Продолжать! — кричал Вебер сквозь шум.

Эсэсовцы и старшие из заключенных возбужденно бегали взад и вперед. Шеренги заключенных спокойно стояли на месте; только головы были чуточку приподняты да на лицах отражался блеклый лунный свет.

— Головы пригнуть! — крикнул Вебер.

Эсэсовцы и специально назначенные дежурные метались вдоль шеренг и громко повторяли команду. На мгновение и они сами бросали взгляд на небо. Их голоса тонули в окружающем шуме. Пошли в ход и дубинки.

Сунув руки в карманы, Вебер прохаживался по краю площадки. Никаких указаний он больше не давал. Примчался Нойбауэр.

— Что случилось, Вебер? Почему люди еще не в бараках?

— Распределения не было, — ответил флегматично Вебер.

— Все одно. Им нельзя здесь оставаться. На такой открытой площадке их могут принять за войска.

Нойбауэр знал, чего ждет Вебер — что он побежит в убежище. От досады он остановился.

— Только последние идиоты могли прислать нам этих парней, — ругался он. — Своих собствен-

ных бы лучше прочесать, а тут шлют нам еще целый транспорт! Абсурд! Ну почему эту банду не отправить в лагерь смерти?

— Наверно, лагеря смерти слишком далеко отсюда, на Востоке.

Нойбауэр поднял взгляд.

— Что вы имеете в виду?

— Слишком далеко отсюда, на Востоке. Автомобильные и железные дороги необходимо использовать для других целей.

Вдруг Нойбауэр почувствовал, как у него от страха сводит живот.

— Ясное дело, — сказал он ради самоуспокоения, — для отправления на фронт. Мы новеньким сейчас покажем!

Вебер ничего не ответил. Нойбауэр угрюмо посмотрел на него.

— Пусть люди лягут на землю, — сказал он. — Тогда они не так похожи на войсковое подразделение.

— Слушаюсь. — Вебер не спеша сделал несколько шагов. — Ложись! — скомандовал он.

— Ложись! — повторили эсэсовцы.

Шеренги слились в единую массу. Вернулся Вебер. Нойбауэр уже хотел пойти домой, но что-то в поведении Вебера ему не понравилось.

«Почему он задержался? Вот ведь неблагодарная тварь, — подумал он. — Едва получил крест за боевые заслуги, как уже снова обнаглел. Экая метаморфоза! В общем-то что ему терять? Два куска железа на дурацкой груди этого героя, больше ничего. Одно слово, ландскнехт!»

Больше налета не было. Через некоторое время прозвучали сигналы отбоя тревоги. Нойбауэр повернулся к Веберу лицом.

— Как можно меньше света! Поскорее закончите распределение по блокам. В темноте ведь мало что видно. Остальное доделают завтра старосты блоков вместе с канцелярией.

— Слушаюсь.

Нойбауэр на миг замер, наблюдая за тем, как расходится транспорт. Люди с трудом расправляли плечи. Одних, заснувших от изнеможения, товарищи никак не могли разбудить. Другие, вконец измученные, не могли идти.

— Умерших оттащить во двор крематория! Тех, кто без сознания, взять с собой!

— Слушаюсь!

Сформировавшаяся колонна медленно двинулась вниз по дороге к баракам.

— Бруно! Бруно!

Нойбауэр резко обернулся. От ворот через

площадь бежала его жена. Она была близка к истерике.

— Бруно! Где ты? Что случилось? Ты…

Она увидела его и остановилась. За ней шла дочь.

— Что вы здесь делаете? — спросил Нойбауэр свирепо, но тихо, потому что Вебер находился неподалеку от него. — Как вы сюда прошли?

— Часовой. Он ведь нас знает! Ты не вернулся, и я подумала, с тобой что-то случилось… Все эти люди…

Зельма оглянулась, словно пробуждаясь ото сна.

— Разве я не говорил, что вам следует оставаться в моей служебной квартире? — спросил Нойбауэр все так же тихо. — Разве я не запрещал вам появляться здесь?

— Папа, — проговорила Фрейя. — Мама жутко перепугалась. Эта пронзительная сирена, совсем рядом с…

Транспорт свернул на основную улицу и пошел у обочины вплотную мимо них.

— Что это? — шепотом спросила Зельма.

— Это? Ничего! Транспорт сегодня прибыл.

— Но…

— Никаких но! Вам тут нечего делать. Давайте

отсюда! — Нойбауэр оттеснил их в сторону. — Ну, ну! Уходите!

— Но как они выглядят! — Зельма рассматривала лица, мелькавшие в лунном свете.

— Выглядят? Да это же заключенные! Изменники родины! Как они еще должны выглядеть? Может, как коммерции советники?

— А которые их на себе тащат, они…

— Ну, это уже слишком! — грубо оборвал ее Нойбауэр. — Только этого еще не хватало! Расчирикалась! Люди прибыли сегодня. Мы не имеем отношения к их внешнему виду, как раз наоборот! Здесь их даже подкормят. Разве не так, Вебер?

— Так точно, оберштурмбаннфюрер. — Вебер измерил Фрейю полушутливым взглядом.

— Ну вот, добились своего. А теперь уходите отсюда! Находиться здесь запрещено. Это не зоопарк!

Нойбауэр теснил женщин в сторону. Он боялся, что Зельма ляпнет что-нибудь опасное. Тут надо быть осторожным. Ни на кого нельзя положиться, даже на Вебера. Черт возьми, и надо же было случиться, что Зельма и Фрейя явились сюда наверх, когда прибыл транспорт! Он забыл сказать, чтобы они оставались в городе. Но Зельма все равно не осталась бы там, когда прозвучала

тревога. Одному дьяволу было известно, отчего у нее этот психоз. Солидная женщина, во всех отношениях. Но как только прозвучала сирена, она превратилась в худосочную девчонку.

— А караулом я как-нибудь займусь лично! Запросто впустил вас сюда! Просто чудеса! В следующий раз пропустят в лагерь любого!

Фрейя обернулась.

— Не многие захотят здесь появиться.

У Нойбауэра на мгновение замерло дыхание. Что за наваждение? Фрейя? Его плоть и кровь? Свет его очей? Революция! Он заглянул в ее спокойное лицо. «Она не могла так подумать. Нет, она хотела сказать что-то безобидное». Он как-то неожиданно рассмеялся.

— Ну, я еще не знаю. Эти, этот транспорт, они умоляли, чтобы им разрешили здесь остаться. Умоляли! Плакали! Что ты думаешь, как они будут выглядеть через две-три недели? Их будет трудно узнать! Мы здесь — самый лучший лагерь во всей Германии. Поэтому широко известны. Настоящий санаторий.

Перед Малым лагерем оставалось еще двести человек с транспорта. Это были совсем выбившиеся из сил люди. Они, как могли, поддерживали друг друга. Среди них были Зульцбахер и Розен.

Блоки выстроились снаружи. Они знали, что сам Вебер контролирует размещение. Поэтому Бергер послал за пищей Пятьсот девятого и Бухера. Он не хотел, чтобы их увидел начальник лагеря. Но на кухне им ничего не дали. Сказали, что еду будут раздавать только по прибытии транспорта.

Везде было темно. Только у Вебера и шарфюрера СС Шульте имелись карманные фонарики, которые они включали время от времени. Отрапортовали старосты блоков.

— Оставшихся загонять сюда, — скомандовал Вебер второму старосте лагеря.

Староста лагеря распределял людей. Шульте проверял. Вебер прохаживался рядом.

— Почему здесь намного меньше людей, чем снаружи? — спросил он, подойдя к секции «Д» двадцать второго барака.

Староста блока стоял навытяжку.

— Помещение здесь меньше, чем в других секциях, господин штурмфюрер.

Вебер зажег фонарик. Луч света пробежал по застывшим лицам. Пятьсот девятый и Бухер стояли в последнем ряду. Светлый круг скользнул по Пятьсот девятому, ослепил его, побежал дальше и вернулся.

— А тебя я знаю. Откуда?

— Я уже давно в лагере, господин штурмфюрер. Светлый круг выхватил номер из темноты.

— Пора б тебе уже сдохнуть!

— Это один из тех, кого недавно вызывали в канцелярию, господин штурмфюрер, — доложил Хандке.

— Ах да, верно. — Луч снова опустился, высветив номер, потом побежал дальше. — Запомните-ка этот номер, Шульте.

— Так точно, — проговорил шарфюрер Шульте звонким молодым голосом. — Сколько сюда войдет?

— Двадцать. Нет, тридцать. Немного подожмем. Шульте и староста лагеря пересчитали заключенных и сделали записи. Из темноты глаза ветеранов наблюдали за карандашом Шульте. Они не видели, чтобы он писал номер Пятьсот девятого. Вебер ему этого не сказал, и фонарик снова выключили.

— Готово? — спросил Вебер.

— Так точно.

— Остальную писанину доделает завтра канцелярия. А теперь, шагом марш! И подыхайте! Иначе мы вам поможем!

Вебер вразвалку и самоуверенно пошел обратно по лагерной улице. За ним следовали шарфюре-

ры. Хандке еще немного прошелся вдоль строя.

— Кому на кухню за едой, шаг вперед! — пробурчал он.

— Останьтесь здесь,—прошептал Бергер Пятьсот девятому и Бухеру. — Найдется кому сходить. Лучше вам не попадаться еще раз на глаза Веберу.

— Шульте записал мой номер?

— Я не видел.

— Нет, — сказал Лебенталь. — Я стоял впереди и внимательно следил. Он в спешке забыл.

Тридцать новичков почти неподвижно стояли на ветру в темноте.

— В бараках есть место? — спросил наконец Зульцбахер.

— Воды, — проговорил рядом с ним человек хриплым голосом. — Воды! Дайте ради Христа воды!

Кто-то принес наполовину наполненное водой жестяное ведро. Новички кинулись и опрокинули его. Им не во что было налить, они черпали ладонями, бросились на землю, стараясь собрать воду. Они стонали и облизывали землю черными грязными губами.

Бергер видел, что Зульцбахер и Розен в этом не участвовали.

— У нас есть водопровод около сортира, — сказал он. — Если подождать, можно набрать достаточно воды для питья. Возьмите ведро и сходите за водой.

Один из новичков оскалил зубы.

— Чтобы вы за это время сожрали нашу еду, а?

— Я схожу, — сказал Розен и взял ведро.

— Я тоже. — Зульцбахер взялся за другую сторону ручки.

— Ты останься здесь, — сказал Бергер. — Бухер сходит с ним и все покажет.

Оба ушли.

— Я здесь старший по помещению, — объяснил Бергер новичкам. — У нас установлен определенный порядок. Я вам советую его уважать. Иначе будут трудности.

В ответ ни слова. Бергер даже не был уверен, слушал ли кто-нибудь его.

— В бараках есть еще места? — снова спросил Зульцбахер.

— Нет. Приходится спать по очереди. Некоторые вынуждены оставаться снаружи.

— А что-нибудь поесть? Мы целый день шли, нас ни разу не кормили.

— Дежурные пошли на кухню. — Бергер не обмолвился ни словом о том, что новичкам, по-

видимому, никакой еды не дадут.

— Меня зовут Зульцбахер. Это что, лагерь смерти?

— Нет.

— Точно?

— Да.

— О, слава Богу! У вас нет газовых камер?

— Нет.

— Слава Богу, — повторил Зульцбахер.

— Ты так рассуждаешь, словно в гостинице остановился, — сказал Агасфер. — Не суетись! А откуда вы?

— Мы пять дней в дороге. Все время пешком. Нас было три тысячи. Лагерь закрыли. Кто не мог идти, того пристреливали.

— Откуда вы?

— Из Ломе.

Часть новичков еще лежала на земле.

— Воды! — прохрипел один из них. — Ну, где тот с водой? — Небось, никак не может напиться вволю, вот свинья!

— Ты сам смог бы, как он? — спросил Лебенталь. Человек уставился на него пустым взглядом.

— Воды! — проговорил он более спокойным голосом. — Воды, пожалуйста!

— Значит, вы из Ломе? — спросил Агасфер.

— Да.

— Случайно не знали там Мартина Шиммеля?

— Нет.

— Или Морица Гевюрца? Совсем лысый, с пробитым носом.

Зульцбахер устало задумался.

— Нет.

— А может быть, Гедалье Гольда? У него осталось только одно ухо, — спросил с надеждой Агасфер. — На него сразу все обращают внимание. Из двенадцатого блока.

— Из двенадцатого?

— Да. Четыре года назад.

— О, Боже! — Зульцбахер отвернулся. — Вопрос-то идиотский. Четыре года назад. Ну тогда почему не сто?

— Оставь ты его в покое, старик, — попросил Пятьсот девятый. — Устал он, вот и все.

— Мы были друзьями, — пробормотал Агасфер. — А о судьбе друзей принято справляться.

Пришли Бухер и Розен с ведром воды. У Розена текла кровь. Его стихарь был разорван на плече, а куртка распахнута.

— Новички дерутся из-за воды, — сказал Бухер. — Нас спас Манер. Он там навел порядок. Теперь они становятся в очередь за водой. Здесь

тоже надо ввести это правило, иначе они снова опрокинут ведро.

Новички поднялись.

— В очередь становись! — крикнул Бергер. — Каждый получит свою долю. У нас есть на всех. Кто не станет в очередь, не получит ничего!

Все подчинились, кроме двух, бросившихся вперед. За это им досталось дубинками. Потом Агасфер и Пятьсот девятый достали свои кружки, и все по очереди напились.

— Посмотрим, может, еще чего раздобудем, — сказал Бухер Розену и Зульцбахеру, когда они осушили ведро. — Теперь это уже не опасно.

— Нас было три тысячи, — снова произнес Зульцбахер механически.

Вернулись дежурные с едой. На новичков ничего не дали. Сразу же возникла свалка. Дрались перед секциями «А» и «Б». Старосты помещений ничего не могли добиться. Дело в том, что у них собрались сплошь мусульмане, по сравнению с которыми новички оказались половчее и не такими смиренными.

— Придется чем-нибудь поступиться, — тихо сказал Бергер Пятьсот девятому.

— Максимум супом. Но не хлебом. Он нам нужнее. Мы слабее.

— Поэтому придется что-нибудь отдать. Иначе они это возьмут сами. Видишь, что там творится.

— Да. Но только суп. Хлеб нужен нам самим. Давай поговорим с тем, Зульцбахером.

— Послушай, — сказал Бергер. — Сегодня вечером нам ничего для вас не дали. Но мы поделимся нашим супом.

— Спасибо, — ответил Зульцбахер.

— Что?

— Спасибо.

Они с удивлением посмотрели на него. В лагере было не принято благодарить.

— Ты можешь нам помочь? — спросил Бергер. — Иначе ваши люди снова все пошвыряют. А больше ничего нет. Есть еще кто-нибудь, на кого можно положиться?

— Розен. И еще двое при нем.

Ветераны и четверо новичков вышли навстречу дежурным с едой и обступили их. Бергер заранее позаботился о том, чтобы остальные встали в очередь. Только тогда они принесли пищу.

Когда все выстроились, началась раздача. У новичков не было мисок. Им пришлось есть порции стоя и сразу отдавать миски. Розен следил за тем, чтобы никто не подошел дважды. Некоторые из узников со стажем ругались.

— Вернем вам завтра ваш суп, — сказал Зульцбахер.

— Его просто одолжили. Хлеб нам самим нужен. Наши люди слабее вас. Может, завтра утром и вам что-нибудь перепадет.

— Да. Спасибо за суп. Мы его завтра вернем. А как нам спать?

— Мы подготовили несколько мест в бараке. Вам придется спать сидя. Но и тогда всех мы не можем обеспечить.

— А вы?

— Мы останемся снаружи. Позже мы вас разбудим и поменяемся местами.

Зульцбахер покачал головой.

— Если они уснут, вам не просто будет вытащить их из барака.

Часть новичков уже спала с раскрытыми ртами перед бараком.

— Пусть себе спят, — сказал Бергер и оглянулся.

— А где остальные?

— Они сами уже нашли место в бараке, — сказал Пятьсот девятый. — В темноте мы не сможем их вытащить наружу. На эту ночь оставим все как есть.

Бергер посмотрел на небо.

— Может, не будет слишком холодно. Сядем вплотную к стене и тесно прижмемся друг к другу. У нас три одеяла.

— Завтра все должно быть по-другому, — заявил Пятьсот девятый. — Насилия в этой секции не бывает.

Они рядком уселись на корточки. Здесь были почти все ветераны; даже Агасфер, Карел и овчарка. Около них устроились Розен и Зульцбахер и еще примерно с десяток новичков.

— Мне очень жаль, — сказал Зульцбахер.

— Да ерунда. Вы не можете отвечать за других.

— Я могу проследить, — сказал Карел Бергеру. — В эту ночь умрут не меньше шестерых. Они лежат справа внизу у двери. Мы их вынесем и потом по очереди сможем спать на их местах.

— И как ты собираешься в темноте выяснять, живы они или умерли?

— Это просто. Я наклоняюсь над самым лицом. Если больше не дышат, это сразу заметно.

— Еще до того, как вынесем, на их место уже ляжет кто-то из барака, — заметил Пятьсот девятый.

— Да, — живо подхватил Карел, — но я приду и сообщу. И как только мы вынесем мертвеца, на его место сразу же ложится другой.

— Ладно, Карел, — сказал Бергер. — Внимательно следи!

Похолодало. Из бараков доносились стоны и крики ужасов во сне.

— Боже мой, — сказал Зульцбахер Пятьсот девятому. — Какое счастье! Мы думали, что попали в лагерь смерти. Только бы не погнали нас дальше!

Пятьсот девятый молчал. «Счастье, — подумал он. — Но для прибывших это было действительно так».

— Как там было у вас? — спросил спустя некоторое время Агасфер.

— Они пристреливали всех, кто не мог идти. Нас было три тысячи…

— Мы знаем. Ты уже несколько раз говорил.

— Да… — проговорил беспомощно Зульцбахер.

— И что вы видели по дороге? — поинтересовался Пятьсот девятый. — Как там в Германии?

Зульцбахер немного задумался.

— Позавчера вечером у нас было достаточно воды, — добавил он. — Иногда люди нам что-нибудь давали. А иногда ничего. Нас было слишком много.

— Как-то ночью один нам принес четыре бутылки пива, — сказал Розен.

— Я имею в виду не это, — сказал нетерпеливо Пятьсот девятый. — Как там города? Разрушены?

— В города мы не попадали. Всегда в обход.

— Вы что, вообще ничего не видели? Зульцбахер посмотрел на Пятьсот девятого.

— Когда с трудом ковыляешь и у тебя за спиной стреляют, увидишь немного. Поезда мы не видели.

— А почему закрыли ваш лагерь?

— Из-за приближения линии фронта.

— Как? И что тебе об этом известно? Ну, рассказывай! — Где расположен Ломе? Далеко от Рейна? Сколько километров?

Зульцбахер пробовал бороться со сном.

— Да, довольно далеко… пятьдесят… семьдесят… километров… завтра… — успел произнести он, и его голова упала на грудь. — Завтра… сейчас я хочу спать.

— Это примерно семьдесят километров, — сказал Агасфер. — Я там был.

— Семьдесят? А отсюда? — Пятьсот девятый стал подсчитывать. — Двести… двести пятьдесят…

Агасфер повел плечами.

— Пятьсот девятый, — сказал он тихо. — Ты всегда размышляешь о километрах. А ты хоть раз

задумался о том, что они могут сделать с нами то же самое, что и вот с этими? Лагерь закрыть… нас отсюда отправить… но куда? Что тогда с нами станет? Мы ведь здесь уже не в состоянии шагать.

— Кто не может идти, будет расстрелян… — Зульцбахер как-то неожиданно пробудился и снова уснул.

Все вокруг молчали. Они ни разу не задумывались об этом. Вдруг серьезная угроза нависла над ними. Пятьсот девятый разглядывал сначала толкотню серебристых облаков на небе, потом дороги в долине, растворившейся в сумеречной мгле. «Не надо было отдавать им суп, — вдруг подумалось ему. — Нам самим нужны силы, чтобы шагать. Впрочем, насколько этого хватило бы? В лучшем случае на несколько минут марша. Новичков гнали сюда несколько суток».

— Может, они не будут расстреливать у нас тех, которые остаются? — спросил он.

— Разумеется, нет, — ответил Агасфер с мрачной усмешкой. — Они накормят вас мясом, выдадут новую одежду и помашут ручкой на прощание.

Пятьсот девятый окинул его взглядом. Агасфер был абсолютно спокоен. Ничто не могло его напугать.

— А вот и Лебенталь, — воскликнул Бергер. Лебенталь сел рядом.

— Ну, что-нибудь еще разузнал, Лео? — спросил Пятьсот девятый.

Лео кивнул.

— Им хотелось бы насколько возможно отделаться от прибывших с транспортом. Левинскому это рассказал рыжий писарь из канцелярии. Ему еще не известно, каким образом они собираются от них отделаться. Но это должно произойти скоро; так они смогут списать умерщвленных как умерших от последствий перехода.

Один из новичков вдруг вскочил во сне и закричал. Потом снова опустился на нары и захрапел с широко раскрытым ртом.

— Они собираются прикончить только людей с транспорта?

— Левинскому стало известно только это. Но он велел передать, чтобы мы были начеку.

— Да, надо быть начеку. — Пятьсот девятый немного помолчал. — Это значит, что надо держать язык за зубами. Именно это он имеет в виду. Или нет?

— Ясное дело. Что еще?

— Если мы предупредим новичков, они будут более осторожными, — проговорил Мейер. — А

если эсэсовцы решат расстрелять определенное число и этого количества не окажется, они возьмут остаток из нас.

— Похоже на то, — Пятьсот девятый посмотрел на Зульцбахера, голова которого тяжело лежала на плече Бергера. — Итак, что будем делать? Помалкивать?

Это было непростое решение. Если станут просеивать и не найдется достаточное количество новичков, вполне возможно, что брешь закроют людьми из Малого лагеря; тем более что новички еще не так обессилели.

Молчание тянулось долго.

— Что они нам? — проговорил Мейер. — Сначала о себе надо позаботиться.

Бергер тер свои воспаленные глаза. Пятьсот девятый от волнения теребил край куртки. Агасфер повернулся к Мейеру. В его глазах мерцал блеклый свет.

— Если им до нас нет дела, — сказал он, — то и нас они не должны волновать.

— Ты прав, — сказал Бергер, подняв голову.

Агасфер тихо сидел у стены и молчал. Его старый изможденный череп с глубоко сидящими глазами, казалось, видел то, чего обычно не видел никто.

— Мы скажем этим обоим здесь, — проговорил Бергер, — чтобы они предупредили других. На большее мы не способны. Мы сами не знаем, чего еще ждать.

Из барака подошел Карел.

— Один там умер. — Пятьсот девятый встал.

— Давайте вынесем. — Потом повернулся к Агасферу. — Пошли, старик. Там и останешься, чтобы поспать.

XII

Блоки выстроились на плацу Малого лагеря. Шарфюрер Ниман с удовольствием покачивался, пружиня колени. Это был мужчина примерно тридцати лет, с узким лицом, оттопыренными маленькими ушами и покатым подбородком. У него были волосы песочного цвета и очки без оправы. В штатском его можно принять за типичного мелкого конторского служащего. Он как раз и был таким, прежде чем вступил в СС.

— Внимание! — сказал Ниман высоким, чуточку сдавленным голосом. — Новый транспорт, шаг вперед, марш!

— Осторожно! — пробормотал Пятьсот девятый Зульцбахеру.

Перед Ниманом выстроились две шеренги.

— Больные и инвалиды, вперед вправо! — скомандовал он.

Шеренга оживилась, но никто не отошел в сторону. Люди не верили; подобное случалось с ними уже не раз.

— Быстрее! Быстрее! Кому надо к врачу и на перевязку, шаг вперед и встать справа!

Несколько узников робко отошли в сторону. Ниман подошел к ним.

— Что у тебя? — спросил он первого.

— Ноги натер до крови и сломал палец на ноге, господин шарфюрер.

— А ты?

— Двусторонняя паховая грыжа, господин шарфюрер.

Ниман продолжал выяснение. Потом отослал двоих обратно. Это был обманный трюк, чтобы ввести узников в заблуждение и усыпить их бдительность. Задуманный прием сработал. Сразу же вызвалось несколько новичков. Ниман едва заметно кивнул головой.

— Сердечники, шаг вперед! Кто не способен выполнять тяжелую работу, но умеет штопать чулки и чинить обувь.

Нашлось еще несколько добровольцев. Теперь Ниман набрал примерно тридцать человек. Стало ясно, что больше ему не набрать.

— Я вижу, что остальные в прекрасной форме! — злобно проорал он. — А ну, давайте-ка проверим! На-пра-во! Бегом, марш!

Двойная шеренга побежала вокруг плаца для переклички. Тяжело дыша, они бежали мимо остальных узников, которые замерли на месте,

отдавая себе отчет в том, что их жизнь тоже в опасности. Если кто-нибудь упадет, Ниман запросто отошлет его к отобранной группе. Кроме того, никто не знал, займется ли он особо стариками.

Узники в шестой раз пробежали мимо. Они начали спотыкаться, но уже твердо знали, что их заставили бегать не для того, чтобы выявить неспособность выполнять тяжелую работу. Они бегали во имя выживания. Их лица обливались потом, а в глазах светился отчаянный страх перед смертью, осознанный страх, свойственный только человеку.

Даже те, кто согласились, теперь поняли, в чем дело. Их охватило беспокойство. Еще двое попытались присоединиться к бегущим. Ниман это увидел.

— Назад! Марш на место!

Но его не слышали. Оглохшие от страха, они бросились вперед. На ногах были деревянные ботинки, которые они сразу же потеряли, но продолжали бежать, мелькали только их сбитые в кровь голые ноги. Ниман не спускал с них глаз. Некоторое время они бежали вровень со всеми. Когда же в их обезображенных лицах постепенно засветилась жадная надежда на бегство, Ниман спокойно сделал несколько шагов вперед и, как

только они проковыляли рядом с ним, сделал им подножку. Они упали, хотели встать. Но Ниман пинками снова повалил их на землю. Тогда они попробовали ползти.

— Встать! — заорал он своим сдавленным тенором. — Марш, вон туда!

В это время он стоял спиной к двадцать второму бараку. Карусель смерти продолжалась в ритме бега. Упали еще четверо. Двое были без сознания. Один был в гусарской униформе, которую получил накануне вечером; другой в женской блузке с дешевыми кружевами под каким-то обрезанным кафтаном. Старший по помещению с юмором распределил среди узников вещи из Освенцима. Было еще несколько десятков заключенных, которых вырядили, как на карнавал.

Пятьсот девятый видел, как отставал, полусогнувшись, ковыляя, Розен, и знал, что через несколько секунд у Розена полностью иссякнут силы и он рухнет на землю. «Меня это не касается, ничуть, — подумал он. — Зачем делать глупости? Каждый должен сам о себе заботиться». Шеренга снова пробегала мимо барака, приблизившись к нему вплотную. Пятьсот девятый отметил, что теперь Розен уже был последним. Он бросил беглый взгляд на Нимана, который все еще стоял

спиной к бараку, потом огляделся кругом. Никто из старост бараков не обращал на него внимания. Все наблюдали за теми, кому Ниман подставил подножку. Хандке, подняв голову, даже вышел вперед. Пятьсот девятый схватил зашатавшегося Розена за руку, подтянул его к себе и, выдернув из шеренги, спрятал за своей спиной.

— Быстрее! В барак! Спрячься там!

Он слышал тяжелое дыхание за спиной, воспринимал уголками глаз какое-то движение, потом пыхтение прекратилось. Ниман ничего не видел. Он все еще стоял спиной. Хандке тоже ничего не заметил. Пятьсот девятый знал, что дверь в барак была открыта, и надеялся, что Розен его понял. И он надеялся, что если его схватят, тот не продаст. Розен должен был понимать, что ему и без того была бы крышка. Ниман не пересчитывал новичков, и у Розена появился шанс. Пятьсот девятый почувствовал, что у него дрожат колени и пересохло горло. Потом вдруг зашумела кровь в ушах.

Он осторожно бросил взгляд на Бергера. Тот спокойно наблюдал за бежавшей толпой, из которой падало на землю все больше людей. По его напряженному лицу было видно, что он все видел. Потом Пятьсот девятый услышал за спи-

ной шепот Лебенталя: «Он уже внутри». Колени затряслись еще сильнее. Ему пришлось даже опереться на Бухера.

Повсюду были разбросаны деревянные башмаки, которые достались некоторым новичкам. Людям непривычно было их носить, и они их теряли. Только двое еще отчаянно грохотали в этих башмаках. Ниман протер запотевшие очки. Он раскраснелся: его возбуждал страх узников перед смертью. Они падали, вскакивали, снова падали, вскакивали и, покачиваясь из стороны в сторону, бежали дальше. Он ощущал тепло в животе и вокруг глаз. Впервые у него было такое ощущение, когда он убил первого еврея.

Он, собственно, этого вовсе не хотел, но потом… Он всегда был пришибленным, закомплексованным и поначалу испытывал чуть ли не страх, замахиваясь на еврея. Но когда тот валялся у него в ногах и молил о жизни, Ниман вдруг почувствовал, что стал другим: крепким и могучим; он ощутил в себе ток крови, его горизонт расширился: разрушенная четырехкомнатная квартира с мебелью, обитой зеленым репсом, этого мелкого еврейского торговца готовым платьем превратилась в азиатскую пустыню Чингисхана, а торговый служащий Ниман мгновенно стал

властителем над жизнью и смертью; к нему пришли власть, всемогущество, пьянящее упоение, которое все ширилось и возрастало, пока первый удар совершенно непроизвольно не обрушился на очень податливый череп с редкими крашеными волосами.

— Отделение, стой!

Узники не могли поверить своим ушам. Они ожидали, что их будут гонять до тех пор, пока они не расстанутся с жизнью. Бараки, плац и люди закружились перед глазами, как во время солнечного затмения. Они держались друг за друга. Ниман снова надел свои протертые очки. Он вдруг заторопился.

— Трупы перенести сюда!

Они уставились на него. Ведь до сих пор никаких трупов не было.

— Те, что попадали на землю, — поправился он. — Которые остались лежать.

Пошатываясь, они стали приподымать лежащих за руки и за ноги. В одном месте образовался целый клубок людей. Они падали, натыкаясь друг на друга. В этой толкотне Пятьсот девятый разглядел Зульцбахера. Прикрытый стоявшими спереди, он старался оттащить лежавшего за волосы и уши. Потом наклонился и поставил его

на колени. Человек упал без чувств. Зульцбахер снова встряхнул его, взял под руки и попробовал поставить на ноги. Ему это не удалось. Тогда Зульцбахер в отчаянии стал бить не приходящего в сознание кулаками, пока его не оттащил староста блока. Зульцбахер никак не унимался. И тогда староста блока дал ему пинок, думая, что Зульцбахер вымещает какую-то злобу на находившемся в бессознательном состоянии.

— Ты, скотина чертова! — пробурчал он. — Оставь его, наконец, в покое! Ему все равно хана.

Специально выделенный дежурный Штрошнейдер приехал на грузовике с плоской платформой, на которой обычно перевозят покойников. Двигатель грохотал, как пулемет. Штрошнейдер подрулил к толпе. Погрузили совершенно обессилевших. Некоторые еще пытались сбежать. Но теперь Ниман внимательно следил: он никого больше не отпустил, никого, даже из числа добровольцев.

— Кто не отсюда, отойти в сторону! — кричал он. — Кто назвался больным, приступить к погрузке остальных!

Люди бросились врассыпную по баракам. Так и не пришедших в сознание погрузили на платформу. Штрошнейдер дал газ. Он ехал так медленно,

что добровольцы могли идти пешком. Ниман шагал рядом.

— Теперь вашим страданиям конец, — сказал он своим жертвам другим, чуть ли не дружеским голосом.

— Куда их везут? — спросил один из новичков в двадцать втором бараке.

— Вероятно, в сорок шестой блок.

— И что там будет?

— Не знаю, — ответил Пятьсот девятый. Он не хотел рассказывать, что было известно в лагере: в одном из помещений сорок шестого экспериментального блока у Нимана были канистра с бензином и несколько шприцев для инъекций, причем никто из заключенных никогда не возвращался обратно. А вечером Штрошнейдер отвезет их в крематорий.

— А чего ты так волтузил того самого? — спросил Пятьсот девятый.

Зульцбахер посмотрел на него, но ничего не ответил. Он давился, словно старался проглотить кусок ваты.

— Это был его брат, — сказал Розен. Зульцбахера вырвало только зеленоватым желудочным соком.

— Ты посмотри-ка! Все еще здесь? Они про тебя,

наверно, забыли, а?

Хандке стоял перед Пятьсот девятым и медленно осматривал его с ног до головы. Это было во время вечерней переклички. Узники выстроились на плацу.

— Тебя, наверно, записали в книгу. Надо будет проверить.

Он раскачивался на каблуках, разглядывая Пятьсот девятого своими светло-голубыми выпученными глазами. Пятьсот девятый замер.

— Ну так что? — спросил Хандке.

Пятьсот девятый молчал. Было бы безумием хоть как-то раздражать старосту блока. Молчание — это самое правильное. Он надеялся только на то, что Хандке снова все забудет или не примет всерьез. Хандке ухмыльнулся. У него были желтые зубы с пятнами.

— Ну и что? — повторил свой вопрос Хандке.

— Номер тогда записали в книгу, — проговорил спокойно Бергер.

— Ах, так? — Хандке повернулся к нему. — Ты это точно знаешь?

— Да. Номер записал шарфюрер Шульте. Я сам видел.

— В темноте? Тогда все в порядке. — Хандке еще немного покрутился. — Значит, я могу спокойно

пойти и выяснить. Ничто мне не помешает, а?

Все молчали.

— Ты можешь еще подкормиться, — любезно сказал Хандке. — Ужин. Не имеет смысла расспрашивать про тебя начальника блока. Сразу же сделаю это в подходящем месте, ты, сатанинское отродье. — Он огляделся. — Внимание! — громко крикнул он.

Подошел Больте. Он как всегда спешил. Целых два часа он проиграл в карты и был в хорошем настроении. Он скучным взглядом окинул груду мертвецов и поскорее удалился. Хандке остался, послал дежурных за едой на кухню и потом неторопливо направился к проволочному заграждению, разделявшему женские бараки и Малый лагерь. Там он остановился и стал разглядывать противоположную сторону.

— Пошли в бараки, — сказал Бергер. — Один может остаться снаружи и продолжать за ним наблюдение.

— Я хочу, — вызвался Зульцбахер.

— Дай знать, когда он уйдет. Немедленно! Ветераны разошлись по баракам. Лучше было не попадаться Хандке на глаза.

— Что будем делать? — спросил озабоченно Бергер. — А если эта свинья действительно ска-

зала всерьез?

— Может, снова забудет? Похоже, что он сегодня в бешенстве. Если бы у нас был шнапс, чтобы его накачать!

— Шнапс! — Лебенталь сплюнул. — Невозможно! Абсолютно невозможно!

— Может, он просто хотел пошутить, — проговорил Пятьсот девятый. Он не совсем в это верил; но такие вещи в лагере уже случались, и нередко. Эсэсовцы поднаторели в том, чтобы постоянно держать людей в страхе. В конце концов не один из них сам сводил с жизнью счеты: одни с разбегу повисали на колючей проволоке, у других отказывало сердце.

Приблизился Розен.

— У меня есть деньги, — сказал он шепотом Пятьсот девятому. — Бери. Вот, сорок марок. Отдай их ему. Насчет денег мы тут сами подсуетились.

Он сунул банкноты Пятьсот девятому в руку.

— От этого никакой пользы, — сказал Пятьсот девятый. — Он возьмет их и все равно будет делать то, что хочет.

— Тогда пообещай ему больше.

— Откуда нам взять еще?

— У Лебенталя есть, — сказал Бергер. — Разве

не так, Лео?

— Да, у меня кое-что есть. Но если однажды мы пробудим в нем интерес к деньгам, он с каждым днем, будет требовать все больше, пока у нас ничего уже не останется. И скоро мы опять, как сейчас, будем на мели. И от денег останутся одни воспоминания.

Все молчали. Никто не усомнился в доводах Лебенталя. Все было сказано по-деловому. Вопрос был сформулирован ясно и просто: допустимо ли ставить под удар все коммерческие возможности Лебенталя только ради того, чтобы добиться для Пятьсот девятого нескольких дней отсрочки. Ветеранам досталось бы меньше пищи, возможно, именно настолько, чтобы извести кое-кого или даже всех. Каждый из них без колебания отдал бы все, лишь бы Пятьсот девятый был действительно спасен. Но нельзя было рисковать жизнью дюжины узников ради того, чтобы один из них прожил всего на два-три дня больше. Это был неписаный, жестокий лагерный закон, благодаря которому они до сих пор остались в живых. Они все его знали, но на этот раз еще не хотели его признавать. Они искали выход.

— Убить надо эту падлу, — безнадежно проговорил Бухер.

— Чем? — спросил Агасфер. — Он в десять раз физически сильнее нас.

— Но если все мы с нашими мисками…

Бухер умолк. Он знал, что это идиотская идея. Если бы план удался, повесили бы десяток людей, не меньше.

— Он все еще стоит там? — спросил Бергер.

— Да, на том же месте.

— Может, он забудет?

— Тогда он не стал бы ждать, пока все поедят. В темноте воцарилось зловещее молчание.

— По крайней мере, ты можешь дать ему сорок марок, — сказал Розен Пятьсот девятому некоторое время спустя. — Они принадлежат тебе одному. А я передам их тебе. Только тебе. Никому больше до этого нет дела.

— Верно, — проговорил Лебенталь. — Вот это верно. Пятьсот девятый пристально смотрел в открытую дверь. Он увидел темную фигуру Хандке на фоне серого неба. Когда-то уже было что-то подобное — темная голова на фоне неба и огромная надвигающаяся опасность. Он никак не мог вспомнить, когда это было. Снова посмотрел и удивился своей нерешительности. В нем подымалось неясное мрачное желание оказать сопротивление. Сопротивление попытке купить

Хандке. Подобное ощущение было для него впервой; раньше он испытывал лишь откровенно выраженный страх.

— Пойди туда, — проговорил Розен. — Отдай ему деньги и пообещай еще.

Пятьсот девятый медлил. Он не понимал самого себя. Он, правда, отдавал себе отчет в том, что подкуп — бесполезное дело, если Хандке действительно решил его извести. Он частенько наблюдал такие случаи в лагере: у людей отнимали то, что они имели, после чего их приканчивали, чтобы они уже не могли ничего сказать. Но один день жизни — это один день, и за это время многое может произойти…

— Идут дежурные с едой, — сообщил Карел.

— Послушай, — прошептал Бергер Пятьсот девятому. — Все же надо попробовать. Отдай ему деньги. Если же он будет требовать еще, мы ему пригрозим, что привлечем к ответственности за взяточничество. Нас ведь много свидетелей. Мы все заявим, что видели своими глазами. Это — единственное, на что мы способны.

— Он идет сюда, — дал знать Зульцбахер. Хандке повернул в сторону секции «Д».

— Где ты, сатанинское отродье? — спросил он. Пятьсот девятый выступил вперед. Какой смысл

было прятаться!

— Здесь я.

— Хорошо. Я сейчас пойду. Простись и оставь завещание. Они тебя заберут потом. С помпой.

Пятьсот девятый ухмыльнулся. Фразу насчет завещания он воспринял как великолепную шутку. Так же, как и насчет помпы. Бергер подтолкнул Пятьсот девятого. Тот сделал шаг вперед.

— Можно на минутку с вами поговорить?

— Ты со мной? Что за бред!

Хандке направился к выходу. Пятьсот девятый последовал за ним.

— У меня при себе есть деньги, — сказал он в спину Хандке.

— Деньги? Вот как? Сколько же? — Хандке шагал не останавливаясь. Он даже не оборачивался.

— Двадцать марок. — Пятьсот девятый хотел сказать сорок, но какая-то странная сила помешала ему это сделать. Он ощущал это сопротивление как своего рода упрямство; он предложил половину суммы за собственную жизнь.

— Двадцать марок и два пфеннига!

Хандке прибавил шагу. Пятьсот девятому удалось с ним поравняться.

— Двадцать марок — это все равно лучше, чем

ничего.

— Все это ерунда!

Предлагать теперь сорок не имело никакого смысла. Пятьсот девятый почувствовал, что допустил решающую ошибку. Он должен был выложить все целиком. Вдруг его желудок полетел куда-то в бездну.

— У меня еще есть деньги, — сказал он скороговоркой.

— Ты смотри! — Хандке остановился. — Капиталист! Капиталист на издыхании! Сколько же у тебя есть еще?

Пятьсот девятый вздохнул.

— Пять тысяч швейцарских франков.

— Что?

— Пять тысяч швейцарских франков. Они лежат в хранилище одного банка в Цюрихе.

Хандке рассмеялся.

— И я должен поверить тебе, ничтожество?

— Я не всегда был ничтожеством.

Хандке бросил мимолетный взгляд на Пятьсот девятого.

— Половину этих денег я завещаю вам, — торопливо проговорил Пятьсот девятый. — Тут достаточно переписать деньги на ваше имя, и они ваши. Две тысячи пятьсот швейцарских фран-

ков. — Он посмотрел в суровое невыразительное лицо перед собой. — Война скоро закончится. И тогда деньги в Швейцарии очень могут пригодиться. — Он ждал. Хандке все еще медлил с ответом. — А если еще война будет проиграна, — медленно добавил Пятьсот девятый.

Хандке поднял голову.

— Ах, так, — тихо проговорил он. — Значит, на это ты рассчитываешь, а? Но мы постараемся тебе здорово насолить! Вот ты сам себя и выдал — теперь тобой займется еще Политический отдел; запрещенное обладание валютой за границей! Одно присовокупится к другому! Слушай, мне не хотелось бы оказаться на твоем месте.

— Иметь две тысячи пятьсот франков и не иметь их — не то же самое…

— Для тебя тоже нет… Проваливай! — неожиданно рявкнул Хандке и так резко толкнул Пятьсот девятого в грудь, что тот упал.

Пятьсот девятый медленно выпрямился. Подошел Бергер. Хандке между тем растворился в темноте. Пятьсот девятый понимал, что догонять его уже не имеет никакого смысла. К тому же Хандке был уже далеко.

— Что произошло? — спросил торопливо Бергер.

— Он отказался взять.

Бергер промолчал. Пятьсот девятый понял, что Бергер держал за спиной дубину.

— Я предложил ему еще немного больше. Но Хандке не захотел. — Он смущенно посмотрел вокруг. — Наверное, я что-то не так сделал. Но я не знаю, что.

— Что он, собственно, против тебя имеет?

— Да терпеть меня не может. — Пятьсот девятый провел рукой по лбу. — Сейчас это уже не так важно. Я даже предложил ему деньги в швейцарском банке. Франки. Две с половиной тысячи. Он не захотел.

Они подошли к бараку. От них не ждали никаких объяснений, Здесь уже знали, что произошло. Все стояли, как прежде: ни один не сошел со своего места, но было такое ощущение, что вокруг Пятьсот девятого уже образовалось какое-то свободное пространство, невидимое, неприкасаемое кольцо, изолировавшее его от остальных — одиночество смерти.

— Черт возьми! — проговорил Розен.

Пятьсот девятый спас его утром. Удивительно, что ему это удалось и что сейчас Розен уже находился бы там, откуда больше не смог бы протянуть руки.

— Дай мне часы, — сказал Пятьсот девятый Лебенталю.

— Зайдем в барак, — проговорил Бергер. — Нам надо кое-что обдумать…

— Нет. Теперь можно только ждать. Дай мне часы. И оставьте меня одного…

Он сел один. Стрелки часов поблескивали зеленоватым светом в темноте. «Всего полчаса, — подумалось ему. — Десять минут, чтобы дойти до административных зданий; десять минут — на доклад и приказы; десять минут, чтобы вернуться. Полукруг большой стрелки — вот и вся его жизнь.

А может, больше: если Хандке доложит насчет швейцарских денег, вмешается Политический отдел. Они попробуют заполучить эти деньги, не будут трогать меня до тех пор, пока не достигнут своей цели. Я не думал об этом, когда завел разговор с Хандке. В мыслях было только одно — жадность старосты блока. Это был шанс. Но с трудом верилось, что Хандке доложит о деньгах. Наверно, он доложил, что Вебер желает видеть Пятьсот девятого».

Бухер тихонько проскользнул в темноте.

— Вот здесь еще одна сигарета, — проговорил он как-то нерешительно. — Бергер хочет, чтобы

ты вошел и там покурил.

Сигарета. Это верно, у ветеранов оставалась еще одна сигарета. Одна из тех, которые добыл Левинский после проведенных дней в бункере. Бункер! Теперь ему стало ясно, что это была за фигура на фоне неба, о которой ему напомнил Хандке, и где он ее видел. Это был Вебер. Тот самый Вебер, с которого все и началось.

— Пошли! — сказал Бухер.

Пятьсот девятый покачал головой. Сигарета. Последний обед приговоренного к смерти. Последняя сигарета. Как долго ее курить? Пять минут? Десять, если курить не торопясь? В общем, треть отведенного ему времени. Это слишком много. Вместо этого он должен был сделать что-нибудь другое. Но что? Вдруг у него во рту стало сухо от страстного желания покурить. Он внушал себе, что если закурит, то ему конец.

— Уходи от меня! — прошептал он, свирепея. — Убирайся со своей проклятой сигаретой!

Он вспомнил подобное страстное желание курить. То была сигара Нойбауэра, тогда, когда Вебер избил его и Бухера. Вебер, снова он. Как всегда. Как несколько лет назад…

Он не хотел думать о Вебере. Тем более сейчас. Он посмотрел на часы. Прошло пять минут. Он

глянул на небо. Ночь была влажная и очень мягкая. В такую ночь все пробуждается к жизни. Это ночь роста корней и почек. Одно слово — весна. Первая весна надежды, странное слабое эхо убиенных лет, но даже это казалось грандиозным, от чего кружилась голова и все менялось. Какой-то внутренний голос подсказывал ему: не надо было говорить Хандке, что война проиграна.

Слишком поздно. Он это уже сделал. Казалось, небо все снижается, становится все темнее, прокопченнее, прямо как огромная крышка, под которой спрессованы разные угрозы. Пятьсот девятый тяжело вздохнул. Ему хотелось уползти прочь, сунуть голову куда-нибудь в угол и закопаться глубже в землю, спасти, вырвать свое сердце и спрятать подальше ото всех, чтобы оно не перестало биться, как вдруг…

Четырнадцать минут. Он почувствовал у себя за спиной причудливое бормотание, почти переходившее в пение. «Агасфер, — подумалось ему. — Агасфер, совершающий молитву». Он прислушался, ему показалось, что прошло несколько часов, прежде чем он вспомнил, что это такое. Это было то же распевное бормотание, которое ему приходилось часто слышать: каддиш — молитва по покойным. Агасфер уже читал молитву

по нему.

— Я еще не мертв, старик, — проговорил он через плечо. — Вполне живой. Преврати свою молитву.

— Он не молится, — сказал Бухер.

Пятьсот девятый больше не прислушивался. В своей жизни ему довелось познать многие страхи; он знал беспросветный моллюскообразный страх нескончаемого заключения, глубокий мимолетный страх перед собственным отчаянием — он все это познал и все это прошел; да, он знал это, но он имел представление и о другом, самом главном, и он знал, что это уже на пороге: страх страхов, великий страх перед смертью. Он несколько лет был лишен этого ощущения, верил в то, что этот страх никогда больше не найдет его, никогда не завладеет им, что он растворился в безысходности, в постоянной близости смерти и в абсолютном безразличии. Даже когда они с Бухером направлялись в канцелярию, он не ощущал этого. Но теперь он чувствовал ледяные капли этого страха в своих позвонках и понимал, что это так и есть, ибо он снова обрел надежду, он ощущал этот страх, который представал в его восприятии, как лед, пустота, распад и беззвучный крик. Упершись ладонями в землю, он

смотрел прямо перед собой. Над ним уже было не небо, а сосущий смертельный ужас! Где тут место для жизни? Где сладкие звуки роста? Где почки? Где эхо, нежное эхо надежды? Сверкая и угасая в горькой агонии, прошипела последняя жалкая искра надежды; гнетуще тяжелым замер мир в падении и страхе.

Бормотание. Куда делось бормотание? От него не осталось и следа. Пятьсот девятый очень медленно поднял руку. Он медлил, прежде чем раскрыть ладонь, словно в ней лежал алмаз, превращающийся в обычный уголь. Он расслабил пальцы и несколько раз вдохнул воздух, прежде чем взглянуть на бледные линии, определявшие его судьбу.

Тридцать пять минут. Тридцать пять! На пять минут больше, чем он рассчитывал. На пять больше; пять драгоценных, важных минут. Не исключено, что на донесение в Политическом отделе понадобилось еще больше времени.

Еще семь минут. Пятьсот девятый сидел неподвижно. Сделав вдох, он почувствовал, что дышит. Пока ничего не было слышно. Никаких шагов, никакого звона, никаких голосов. Небо снова появилось и отступило. Оно уже не казалось черной давящей массой из могильных

облаков. Мало-помалу разгуливался ветер.

Двадцать минут. Тридцать. Кто-то застонал у него за спиной. Просветлело небо. Оно словно расширилось. Опять зазвучало эхо, потом далекое-предалекое биение сердца, едва слышная пульсация и затем по нарастающей: эхо в эхо; и ладони, которые снова ощутили себя, искра, которая не погасла и продолжала тлеть, но разгоралась сильнее, чем прежде. Несколько сильнее. И это «несколько» было продиктовано страхом. Из обессилевшей левой руки выпали часы.

— Может быть… — прошептал Лебенталь из-за спины Пятьсот девятого и замолчал, испуганный и суеверный.

Время вдруг перестало быть. Оно растеклось. Растеклось во все стороны. Вода времени, расплескиваясь, стекала по откосам холма. Его нисколько не поразило, что Бергер поднял с земли часы и сказал:

— Час десять минут. Сегодня уже ничего не будет. Может быть, никогда, Пятьсот девятый. Может, он все это уже продумал.

— Да, — ответил Розен. Пятьсот девятый обернулся.

— Лео, девушки сегодня вечером не придут? Лебенталь уставился на него.

— Ты размышляешь сейчас об этом?

— Да.

«О чем же еще, — подумалось Пятьсот девятому. — Обо всем, что избавляет меня от этого страха, от которого кости превращаются в желатин».

— У нас есть деньги. Я предложил Хандке только двадцать марок.

— Ты предложил ему только двадцать марок? — спросил недоверчиво Лебенталь.

— Да. Двадцать или сорок, какая разница. Если он захочет, то возьмет, и баста. Тогда уже все равно, двадцать это или сорок.

— А если он завтра придет?

— Если придет, получит свои двадцать марок. Если он на меня донес, явится СС. Тогда деньги мне вообще не понадобятся.

— Не донес он на тебя, — сказал Розен. — Наверняка. А деньги он возьмет.

Лебенталь успокоился.

— Оставь себе эти деньги, — проговорил он. — На сегодняшний вечер с меня хватит.

Он увидел, как Пятьсот девятый сделал какой-то жест.

— Не нужно мне это, — резко проговорил он. — С меня хватит. Оставь меня в покое.

Пятьсот девятый медленно выпрямился. Пока сидел, у него было такое ощущение, что ему уже никогда не встать, а его кости действительно превратились в желатин. Он пошевелил руками и ногами. Бергер последовал за ним. Некоторое время они молчали.

— Эфраим, — проговорил Пятьсот девятый. — Ты веришь, что мы когда-нибудь снова избавимся от страха?

— Это было так плохо?

— Так плохо, как никогда.

— Это было плохо, потому что ты дольше всех в живых, — сказал Бергер.

— Ты так думаешь?

— Да. Мы все стали другими.

— Может быть. Но избавимся ли мы когда-нибудь от страха в нашей жизни?

— Трудно сказать. От такого страха, да. То был разумный страх. Оправданный. Другой страх — он постоянный, страх концлагерный — об этом я ничего не могу сказать. В общем, это все равно. Пока нам следует думать только о завтрашнем дне. О завтра и о Хандке.

— Об этом мне думать как раз не хочется, — проговорил Пятьсот девятый.

XIII

Бергер направлялся в крематорий. Рядом с ним шагала группа из шести человек. Он знал одного из них. Это был адвокат Моссе. В 1932 году он как представитель истца, подавшего дополнительный иск, участвовал в процессе по обвинению двух нацистов в убийстве. Нацисты были оправданы, а Моссе после прихода Гитлера к власти сразу был отправлен в концлагерь. Бергер не видел его с тех пор, как оказался в Малом лагере, но сразу же узнал, потому что Моссе носил очки, в которых было только одно стекло. Второе ему не требовалось, так как у него остался только один глаз: другой выжгли сигаретой в 1933 году в отместку за участие в том самом процессе.

Моссе шел по внешней стороне.

— Куда? — спросил его Бергер, не пошевелив губами.

— В крематорий. На работу.

Группа прошагала мимо. Теперь Бергер увидел, что знает еще одного. Бреде, секретаря социал-демократической партии. Ему вдруг вспомнилось, что все шестеро были политическими заключен-

ными. За ними с зеленым уголком уголовников следовал специально выделенный дежурный. Он насвистывал веселую мелодию. Бергер вспомнил, что это был шлягер из какой-то старой оперетты. Автоматически вспомнились слова: «Прощай же, маленькая фея в трубке, когда увидимся мы вновь?»

Он посмотрел этой группе вслед. «Фея в трубке, — раздраженно подумал он. — Скорее всего имелась в виду телефонистка». Почему память сохранила эту шарманочную мелодию да еще эти дурацкие слова? В то время как многое, более важное, давно забыто.

Медленно шагая, он вдыхал свежий утренний воздух. Эта прогулка по трудовому лагерю всегда была для него почти что как прогулка по парку. Еще пять минут до стены, окружавшей крематорий. Пять минут ветра и раннего утра.

Он видел, как группа, в которую входили Моссе и Бреде, исчезла под аркой ворот. Казалось странным, что для работы в крематории отправляли новых людей. Крематорская команда включала в себя особую группу узников, которые жили вместе. Их кормили лучше, чем остальных, кроме того, они пользовались определенными преимуществами. Зато по прошествии нескольких

месяцев их сменяли и сжигали в газовых камерах. А вот нынешняя команда существовала всего лишь два месяца; новичков в такие команды присылали весьма редко. Бергер был практически исключением из правила. Поначалу его направили туда всего на несколько дней на подмогу, а потом, когда умер его предшественник, оставили работать в крематории постоянно. Там лучше кормили, и он жил раздельно с командой, непосредственно производившей кремацию. Поэтому он надеялся, что в ближайшие два-три месяца его никуда не отошлют вместе с другими.

Пройдя через ворота, он увидел теперь шестерых, выстроившихся во дворе. Они находились неподалеку от виселиц, сооруженных посреди двора. Все старались не обращать внимания на деревянный помост. У Моссе изменилось лицо. Он со страхом смотрел единственным глазом через очки на Бергера. Бреде стоял, опустив голову.

Обернувшись, специально выделенный дежурный увидел Бергера.

— А тебе что здесь надо?

— Откомандирован в распоряжение крематория. Контроль за зубами.

— Значит, зубной клепальщик. Тогда убирайся отсюда! Остальные смирно!

Шестеро по мере сил выполнили команду. Бергер вплотную прошел мимо них. Он слышал, как Моссе что-то шептал, но не расслышал. К тому же он не мог остановиться; специально выделенный дежурный наблюдал за ним. «Все же странно, — подумалось ему, — что такой маленькой группой командует специально выделенный дежурный, а не мастер».

В подвале крематория имелась большая наклонная шахта с выходом на поверхность. Трупы со двора бросали в эту шахту, и они проскальзывали в подвал. Там их раздевали, если только они уже не были голые, классифицировали и проверяли на наличие золота.

Бергер служил здесь, внизу. Ему приходилось выписывать свидетельства о смерти и выдергивать изо рта покойников золотые зубы. Его предшественник, техник из Цвиккау, умер от заражения крови.

Осуществлявший надзор дежурный Дрейер появился на несколько минут позже.

— Ну, давай, — проговорил он угрюмо и уселся за маленький стол, на котором лежали списки.

Кроме Бергера из крематорской команды было еще четыре человека. Они заняли свое место около шахты. Первый покойник проскользнул,

как огромный жук. Четверо протащили его по цементному полу, на середину. Труп уже окоченел. Они мгновенно его раздели, содрали куртку с номером и нашивками. При этом один из узников оттягивал все время поднимавшуюся правую руку до тех пор, пока не снял рукав. Потом он отпустил руку, и она, как ветка на дереве, отскочила назад. Снять штаны было проще.

Специально выделенный дежурный зафиксировал номер покойника.

— Кольцо есть? — спросил он.

— Нет. Кольца нет.

— Зубы?

Он осветил фонариком полуоткрытый рот, на котором засохла тонкая полоска крови.

— Справа золотая пломба, — сказал Бергер.

— Хорошо. Вытаскивай.

Бергер со щипцами опустился на колени на уровне головы, которую придерживал помогавший ему заключенный. Другие уже раздевали следующий труп, выкрикивали номер. С треском, как горящий сухой валежник, все больше и больше покойников проскальзывало в шахту. Они падали и переплетались друг с другом. Один приземлился прямо на ноги и встал к стволу шахты, с широко раскрытыми глазами и пере-

кошенным ртом. Скрюченные пальцы были полусжаты в кулак, из расстегнутой рубашки на цепочке свисала медаль. Он так и стоял, пока на него с грохотом не повалились другие трупы. Среди них была женщина с длинными волосами. Она была, скорее всего, из обменного лагеря. Она упала вниз головой, накрывая его лицо своими волосами. Наконец, словно ощутив тяжесть, он медленно скользнул на бок и распластался на полу. Женщина повалилась на него. Наблюдая это, Дрейер ухмыльнулся и облизал верхнюю губу, на которой рос толстый прыщ.

Между тем Бергер выбил зуб. Он положил его в один из двух ящиков. Второй предназначался для колец. Дрейер регистрировал золотую пломбу.

— Внимание! — вдруг крикнул один из узников. Пятеро вытянулись по стойке «смирно». Это явился шарфюрер Шульте.

— Продолжайте работу.

Шульте верхом уселся на стул, который стоял в нескольких шагах от стола со списками. Он окинул взглядом груду трупов.

— Там снаружи целых восемь человек забрасывают трупы в шахту, — сказал он. — Это слишком много. Четырех надо перевести вниз. Пусть здесь помогут. Вот ты, — он показал на одного из уз-

ников.

Бергер снял обручальное кольцо с пальца одного из трупов. Обычно это не составляло труда, ведь пальцы были тонкие. Он положил кольцо во второй ящичек. Дрейер оприходовал его. Зубов у трупа не было. Шульте зевнул.

Согласно предписанию предусматривалось вскрытие с целью установления причины смерти, о чем следовало делать соответствующую запись в документах. Но на эти требования никто не обращал внимания. Лагерный врач появлялся редко; умерших он никогда не осматривал, а причины смерти у всех значились одни и те же. Вестгоф тоже умер от сердечной недостаточности.

Зарегистрированные голые тела складывали около лифта. Наверх в кремационное помещение этот лифт подавали, когда требовалось загрузить печи.

Вышедший наружу человек вернулся в сопровождении четверых. Они были из группы, которую видел Пятьсот девятый. В ее составе были Моссе и Бреде.

— Туда, шагом марш! — скомандовал Шульте. — Помочь при раздевании и регистрации вещей! Лагерную одежду в одну кучу, граждан-

скую в другую, обувь отдельно. Вперед!

Шульте был молодым человеком двадцати трех лет, с серыми глазами, с правильными чертами лица. Ещё до прихода нацистов к власти он был членом гитлерюгенд. Ему внушили, что есть арийцы и неарийцы, он познакомился с расовыми теориями и партийными догмами, которые стали его религией. Шульте считал себя хорошим сыном, вместе с тем он заявил бы на своего отца, если бы тот был против партии. Партию считал непогрешимой и ничего другого он не знал. Узники лагеря были врагами партии и государства, и поэтому к ним были неприменимы понятия сострадания и человечности. Они были хуже зверей. Когда их убивали, отношение к ним было, как к вредным насекомым. Его нисколько не мучила совесть. Он хорошо спал, и единственное, о чем сожалел, что не попал на фронт из-за порока сердца. Он был надежен в дружбе, любил поэзию и музыку и в то же время считал пытку неизбежным средством для получения информации от заключенных, ибо все враги партии лгали. За свою жизнь он убил по приказу шестерых и никогда об этом не задумывался, причем двоих подверг медленной смерти, добиваясь выдачи сообщников. Он был влюблен в дочь советника

и писал ей красивые, немножко романтичные письма. В свободное от службы время Шульте любил петь. У него был приятный тенор.

Возле лифта были сложены последние раздетые трупы. Их подносили Моссе и Бреде. Лицо Бреде было спокойным. Он улыбнулся Бергеру. Страх, который он испытывал прежде, был беспочвенным. Он думал, что ему не избежать виселицы. Теперь он делал то, что им было сказано. Все было в порядке. Он был спасен. Он быстро работал, чтобы продемонстрировать свою добрую волю.

Открылась дверь и вошел Вебер.

— Внимание!

Все узники замерли по стойке «смирно». Вебер прошел к столу в начищенных элегантных сапогах. Он обожал красивые сапоги; они были его почти единственной страстью. Вебер осторожно уплотнил сигарету и закурил ее, чтобы отогнать неприятный трупный запах.

— Готово? — спросил он Шульте.

— Так точно, господин штурмфюрер. Только что. Все зарегистрировано и сделаны соответствующие записи.

Вебер заглянул в ящички с золотом. Он вынул медаль, которую носил стоячий труп.

— Что это?

— Святого Христофора, господин штурмфюрер, — преданно объяснил Шульте. — Медаль на счастье.

Вебер ухмыльнулся. Шульте не заметил, что позволил себе шутку.

— Хорошо, — сказал Вебер и положил медаль на место. — Где те четверо сверху?

Четверо выступили вперед. Дверь снова открылась, и вместе с обоими узниками, оставшимися снаружи, вошел шарфюрер СС Гюнтер Штейнбреннер.

— Встаньте рядом с этой четверкой, — проговорил Вебер. — Остальным выйти вперед! И наверх!

Узники из крематорской команды быстро исчезли. За ними последовал Бергер. Вебер окинул взглядом оставшихся шестерых.

— Туда не надо, — сказал он. — Встаньте вот сюда, под крючьями.

На поперечной стене напротив шахты были закреплены четыре солидных крючка. Они были расположены примерно на полметра выше узников. В углу справа от них стоял табурет на трех ножках; рядом в ящике лежали бечевки, связанные в короткие петли, к концам которых были прицеплены крючки.

Левым сапогом Вебер подтолкнул табурет, который остановился перед первым узником.

— А ну, наверх!

Человек задрожал и встал на табурет. Вебер посмотрел на ящик с короткими бечевками.

— Итак, — сказал он, обращаясь к Штейнбреннеру. — Можно начинать фокус. Ну-ка покажи, на что ты способен.

Бергер делал вид, будто старается погрузить трупы на носилки. Обычно его не использовали на такой работе; для этого он был слишком слаб. Но когда узники, которых прогнали, поднялись наверх, бригадир наорал на всех, требуя, чтобы они тоже участвовали; это было проще всего — изображать, будто выполняешь приказ.

Одним из двух трупов на носилках была женщина с распущенными волосами, другим — мужчина, который, казалось, состоял весь из грязного воска. Бергер приподнял плечи женщины и просунул под них ее волосы, чтобы при введении в раскаленную печь они не вспыхнули, не взметнулись и не обожгли руки ему и другим. Удивительно, что волосы не обрезали; раньше это регулярно делалось, потому что волосы собирали. Наверное, решили, что нет смысла, ведь в лагере было всего несколько женщин.

— Готово, — сказал он другим.

Они открыли дверцы печи. Пахнуло жаром. Одним рывком они задвинули плоские железные носилки в огонь.

— Дверцы закрыть! — крикнул кто-то. — Закрыть дверцы!

Двое узников закрыли тяжелые дверцы, но одна створка все же; снова раскрылась (сбоку застрял узкий кусочек кости), и Бергер увидел, как вздыбился, словно проснувшись, труп женщины. На какой-то миг от вспыхнувших волос засветилась вся ее голова, как дикий бледно-желтый венец.

— Что это было? — спросил испуганно один из узников. До сих пор он занимался только тем, что раздевал трупы. — Она еще была жива?

— Да нет. Это от печного жара, — прохрипел Бергер. — Горячим воздухом ей выжгло шею.

Казалось, что выгорели даже глаза, но они все еще вращаются.

— Иногда трупы там вальсируют, — заметил проходивший мимо крепыш из крематорской команды. — А что вы, собственно, делаете здесь наверху, вы — подвальные призраки?

— Нас наверх послали. Человек рассмеялся.

— Зачем это? Чтобы тоже попасть в печь?

— Внизу сплошь новички, — заметил Бергер.

Человек перестал смеяться.

— Что? Новички? Зачем это?

— Я не знаю. Шестеро на новенького.

Человек уставился на Бергера. Его глаза засветились яркой белизной на черном лице.

— Этого не может быть! Мы всего лишь два месяца здесь. Вам еще рано нас менять. Так нельзя! Это на самом деле так?

— Да. Они сами это сказали.

— Выясни! Ты можешь это точно выяснить?

— Я попробую, — сказал Бергер. — У тебя не найдется куска хлеба? Или чего-нибудь поесть? Я тебе все расскажу.

Человек достал из кармана кусок хлеба и разломил его на две части. Меньшую он отдал Бергеру.

— Вот, держи. Только выясни. Нам это важно знать!

— Да. — Бергер отошел назад.

Кто-то хлопнул его сзади по плечу. Это был «зеленый» дежурный, который привел в крематорий Моссе, Бреде и еще четверых.

— Это ты зубной клепальщик?

— Да.

— Еще один зуб надо вытянуть. Там внизу. Спустись вниз.

Дежурный был очень бледен. Весь в поту, он прислонился к стене. Бергер посмотрел на человека, который дал ему хлеба, и прищурил глаз. Человек проводил его к выходу.

— Все выяснилось, — сказал Бергер. — Они пришли не на смену. Они уже мертвые. Мне надо вниз.

— Это точно?

— Да. Иначе бы меня не позвали вниз.

— Слава Богу. — Человек облегченно вздохнул. — Верни мне хлеб, — проговорил он тогда.

— Нет. — Бергер сунул руку в карман и крепко вцепился в кусок хлеба.

— Дурак! Я просто хочу дать тебе за это больший кусок. Оно стоит того.

Они обменялись кусками, и Бергер вернулся в подвал. Штейнбреннер и Вебер ушли. Остались только Шульте и Дрейер. На четырех крючьях в стене висели четверо. Одним из них был Моссе, которого повесили прямо в очках. Бреде и последний из шестерки уже лежали на полу.

— Разберись вон с тем, — равнодушно проговорил Шульте. — У него спереди золотая коронка.

Бергер попробовал приподнять человека. Но у него ничего не вышло. Помог Дрейер. Человек повалился, как набитая опилками кукла.

— Этот, что ли? — спросил Шульте.

— Так точно.

У покойника была золотая коронка на клыке. Бергер вырвал его и положил в ящичек. Дрейер сделал запись и книге учета.

— Еще у кого-нибудь из них что-нибудь есть? — спросил Шульте.

Бергер проверил обоих покойников, лежавших на полу. Дежурный посветил фонариком.

— У них ничего нет. У одного цементная пломба и из амальгамы серебра.

— Это нам не надо. А у тех, которые еще висят? Бергер тщетно пытался приподнять Моссе.

— Оставь это, — нетерпеливо заметил Шульте. — Лучше видно, когда они висят.

Бергер оттянул в сторону распухший язык в широко раскрытом рту. Выпученный глаз за стеклом очков словно уперся в него. Из-за сильной линзы глаз казался еще крупнее и искаженнее. Веко над другой, пустой глазницей было полуоткрыто. Глазная жидкость вытекла. От этого щека была влажной. Дежурный стоял сбоку рядом с Бергером, а Шульте прямо у него за спиной. Бергер чувствовал, как Шульте дышал ему в затылок. Пахло мятными таблетками.

— Нет ничего, — проговорил Шульте. — Сле-

дующий.

Со следующим было проще, у него отсутствовали передние зубы. Ему их выбили. Бергер снова почувствовал, как Шульте стал дышать ему в затылок. Дыхание ревностного нациста, ревностно исполнявшего свой долг, самозабвенно искавшего золотые пломбы, бесстрастно воспринимавшего обвинения из только что загубленных уст. Бергер вдруг почувствовал, что он просто не сможет больше выдержать это порывистое мальчишеское дыхание. «Словно ищет птичьи яйца в гнезде», — подумал он.

— Ладно, нет ничего, — произнес разочарованно Шульте. Он взял один из списков, ящичек с золотом и показал на шестерых, уже мертвых.

— Доставить их наверх, помещение хорошенько вычистить.

С высоко поднятой головой и юношеским задором на лице он вышел из комнаты. Бергер начал раздевать Бреде. Ему не требовалось посторонней помощи. Эти покойники еще не успели окоченеть. На Бреде были сетчатая майка и гражданские штаны в паре с кожаной курткой. Дрейер закурил сигарету. Он знал, что Шульте больше не вернется.

— Он забыл очки, — сказал Бергер.

— Что?

Бергер показал на Моссе. Подошел Дрейер. Бергер снял очки с лица мертвого. Штейнбреннер воспринял как шутку то, что Моссе повесили в очках.

— Одна линза целая, — сказал специально назначенный дежурный. — Но что толку, если она одна. Разве что детям пригодится, как увеличительное стекло.

— Но оправа еще ничего. Дрейер снова наклонился вперед.

— Никель, — произнес он с отвращением. — Дешевый никель.

— Нет, — возразил Бергер. — Белое золото.

— Что?

— Белое золото.

Специально назначенный дежурный взял очки в руки.

— Говоришь, белое золото? Это точно?

— Абсолютно. Оправа грязная. Если помыть ее с мылом, сами убедитесь.

Дрейер прикинул на ладони, сколько могут весить очки Моссе.

— Значит, они что-то стоят.

— Да.

— Надо зарегистрировать.

— Списков нет, — заметил Бергер, окинув взглядом дежурного. — Их забрал с собой шарфюрер Шульте.

— Не играет роли. Можно за ним сходить.

— Пожалуйста, — сказал Бергер и снова посмотрел на Дрейера. — Шарфюрер Шульте не обратил внимания на очки. Или решил, что они ничего не стоят. Может, я заблуждаюсь; наверно, это действительно никель.

Дрейер поднял глаза.

— Можно считать, что их выбросили. В кучу с бесполезными вещами. Подумаешь, разбитые никелевые очки.

Дрейер положил оправу на стол.

— Вначале разберемся-ка с этим.

— Один я с этим не справлюсь. Трупы очень тяжелые.

— Тогда возьми на подмогу троих сверху.

Бергер ушел и вернулся с тремя узниками. Они сняли Моссе с виселицы. Со свистом вышел из легких накопившийся воздух, когда развязалась петля вокруг шеи. Крючья в стене были закреплены достаточно высоко, чтобы повешенные больше не касались ногами пола. Таким образом, процесс умерщвления длился значительно дольше. При нормальной виселице шея обычно

переламывалась, проскальзывая на веревке вниз. Тысячелетний рейх внес в это свои коррективы. Повешение было рассчитано на медленное удушение. Цель заключалась не только в том, чтобы убить, но убить медленно и очень мучительно. Одним из первых культурных достижений нового правительства была отмена гильотины и возвращение к практике использования топора-тесака.

Теперь Моссе лежал голый на полу. Ногти на руках были обломаны. Под ними набилась известковая пыль. Задыхаясь, он цеплялся ногтями за стену.

Бергер побросал одежду и ботинки Моссе в соответствующие кучи. Он посмотрел на стол Дрейера. Очков там больше не было. Не было их и в кучке бумаги, грязных писем и не имеющих ценности обрывков, извлеченных из карманов покойников.

Дрейер возился с чем-то за столом. Он не поднимал глаз.

— Что это? — спросила Рут Голланд. Бухер прислушался.

— Птица какая-то поет. Наверно, дрозд.

— Дрозд?

— Да. Так рано не начинает петь ни одна дру-

гая птица. Это — дрозд. Я вспоминаю, как было прежде.

Они присели на корточки по обе стороны двойного забора из колючей проволоки, разделявшего женские бараки и Малый лагерь. Никто не обращал на них внимания. Сейчас Малый лагерь был настолько переполнен, что повсюду сидели и лежали люди. Кроме того, охранники покинули сторожевые башни, потому что кончилось их время. Они не стали дожидаться смены караула. Сейчас в Малом лагере такое иногда случалось. Это запрещалось, но дисциплина уже давно была не такой, как прежде.

Солнце опустилось низко над горизонтом. Его отблеск заливал красным светом окна городских домов. Целая улица, избежавшая разрушений, сияла, словно в домах бушевал огонь. В реке отражалось беспокойное небо.

— Где поет дрозд?

— Там. Где деревья. Рут Голланд стала разглядывать сквозь колючую проволоку луг, поля, несколько деревьев, крестьянскую избу с соломенной крышей, а еще дальше, на холме, низкий дом с садом.

Бухер внимательно смотрел на нее. Солнце смягчало ее изнуренное лицо. Он достал из кар-

мана корку хлеба.

— Вот, Рут. Бергер дал мне для тебя. Он получил это сегодня. Кусочек специально для нас.

Он изловчился и бросил корку через колючую проволоку. Лицо у нее вздрогнуло. Корка лежала рядом с ней. На некоторое время воцарилось молчание.

— Она — твоя, — проговорила, наконец, Рут с напряжением в голосе.

— Нет, я уже получил свой кусочек. Она икнула.

— Ты это говоришь только для того, чтобы…

— Нет, вовсе нет… — Он увидел, как ее пальцы вцепились в корку. — Ешь медленно, — проговорил он. — Тогда будет больше толку.

Она кивнула и стала жевать.

— Мне надо медленно есть. Я потеряла еще один зуб. Они просто выпадают. Это не больно. Теперь осталось шесть зубов.

— Если не больно, тем лучше. У нас здесь был один, у которого загноилась вся челюсть. Он все стонал, пока не умер.

— Скоро у меня вообще не останется зубов.

— Можно вставить искусственные. У Лебенталя тоже вставная челюсть.

— Я не хочу, чтобы у меня была вставная че-

лость.

— Почему нет. Так у многих людей. В этом нет ничего особенного, Рут.

— Здесь мне не сделают искусственные зубы.

— Здесь, действительно, не сделают. Этим можно будет заняться позже. Существуют прекрасные протезы. Значительно изящнее, чем у Лебенталя. Его протез старый. Он носит его уже двадцать лет. Он говорит, сейчас есть новые протезы, которые вообще не чувствуешь. Они хорошо сидят и даже элегантнее натуральных зубов. Рут съела свой кусочек хлеба и посмотрела на Бухера своими печальными глазами.

— Йозеф, ты действительно веришь, что мы когда-нибудь выберемся отсюда?

— Уверен в этом! Абсолютно уверен! Пятьсот девятый тоже в это верит. Сейчас мы все в это верим.

— А что потом?

— Потом… — Бухер еще не очень задумывался над этим, — Потом мы станем свободными, — сказал он, не совсем отдавая себе в этом отчет.

— Мы снова будем вынуждены прятаться. А они снова будут нас преследовать. Как преследовали нас раньше.

— Они больше не станут нас преследовать.

Она пристально посмотрела на него.

— И в это ты веришь?

— Да.

Она покачала головой.

— На некоторое время они, видимо, оставят нас в покое. Но потом снова станут нас преследовать. Они не знают ничего другого, кроме…

Дрозд запел снова. Его прозрачная и сладостная песня рвала душу.

— Они не станут нас больше преследовать, — сказал Бухер. — Мы будем вместе. Мы выйдем на волю. Проволочный забор будет снесен. Мы пойдем вон по той дороге. Никто не будет в нас стрелять. Никто не станет нас сюда возвращать. Мы пройдем по полям и направимся в дом, как тот белый, и сядем на стулья.

— Стулья?

— Да. На настоящие стулья. Там будут стол и тарелки из фарфора и камин.

— И люди, которые нас выгонят.

— Они нас не выгонят. Будет кровать с одеялами и чистыми простынями. И хлеб, и молоко, и мясо.

Бухер увидел, как скривилось ее лицо.

— Ты должна в это поверить, Рут, — произнес он с беспомощной интонацией в голосе.

Она плакала без единой слезинки. Плач был только в ее глазах. Они вдруг сузились, и что-то смутное засквозило во взоре.

— В это так трудно поверить, Йозеф.

— Ты должна в это поверить, — повторил он, — Левинский принес новые вести. Американцы и англичане продвинулись далеко за Рейн. Они приближаются. Они нас освободят. Уже скоро.

Вдруг изменился закатный свет. Солнце достигло края горы. Город погрузился в голубые сумерки. Погасли окна. Замерла река. Замерло все. Умолк и дрозд. Но засиял небосвод. Облака превратились в перламутровые корабли, широкие лучи заката набегали на них, и они плыли сквозь красные ворота надвигавшегося вечера. Последний луч солнца полностью осветил белый домик на возвышении, и пока угасала остальная земля, продолжал светиться только домик, и от этого казался и ближе и дальше, чем когда-либо прежде.

Птицу они увидели, только когда она вплотную подлетела к ним. Они увидели маленький черный шар с крыльями. Они заметили его на фоне огромного неба, он взмывал вверх, а потом вдруг камнем падал вниз. Они видели его и хотели оба что-то сделать, но не сделали; мгновение, как раз

прежде, чем он коснулся земли, все еще маячил его силуэт — маленькая головка с желтым клювом, расправленные крылья и круглая грудка, из которой лилась мелодия. И вдруг раздался легкий треск, а потом из заграждения, по которому был пропущен электрический ток, вылетела крохотная и бесцветная, но смертоносная искра. И остался только обугливший кусочек со свисающей маленькой лапкой на самом нижнем ряду проволоки, а также с клочком крыла, которое коснулось земли и тем вызвало свою погибель.

— Это был дрозд, Йозеф…

Бухер видел страх в глазах Рут Голланд.

— Нет, Рут, — быстро проговорил он. — Это была другая птица. Это был не дрозд. Если же это был дрозд, все равно не тот, который пел, — наверняка, Рут, не наш.

— Ты, наверно, думаешь, что я про тебя забыл, не так ли?

— Нет, не думаю.

— Вчера было слишком поздно. Но, у нас ведь есть время. Его хватит, чтобы на тебя донести: например, завтра целый день.

Он стоял прямо перед Пятьсот девятым.

— Ты, миллионер! Швейцарский миллионер! Они будут франк за франком выбивать деньги из

твоих почек.

— Какой смысл выбивать из меня деньги? — сказал Пятьсот девятый. — Их можно получить более простым путем. Я подпишу записку, и они мне больше не принадлежат. — Он уверенно посмотрел на Хандке. — Две с половиной тысячи франков. Приличная сумма.

— Козлы и распятие, и бункер, и Бройер со своей методой специально для тебя, и в конце виселица.

— Ну об этом еще рано говорить.

Хандке рассмеялся.

— А что, по-твоему, еще? Может, похвальный диплом? За незаконные деньги?

— Об этом тоже нет речи.

Пятьсот девятый не сводил глаз с Хандке. Его удивило, что он не испытывал страха, хотя понимал, что полностью во власти Хандке. Но острее всего он вдруг ощутил нечто другое — ненависть. Не глухую и слепую, мелкую каждодневную лагерную ненависть из-за каких-нибудь благ или огорчений одной изголодавшейся и исстрадавшейся твари к другой, нет; он неожиданно почувствовал, что в нем подымается холодная, глубоко осознанная ненависть, причем он ощутил ее так пронзительно, что опустил глаза,

боясь, что Хандке его поймет.

— Та-а-к? И что же потом, мудрая обезьяна? Пятьсот девятый принюхивался к дыханию Хандке.

И это было для него новым. Зловоние Малого лагеря не допускало прежде никаких запахов. Пятьсот девятый знал также, что терпеть не может Хандке, потому что исходившие от него запахи были еще более резкими, чем разносившийся вокруг смрад разложения; он принюхивался к Хандке, так как ненавидел его.

— Ну? Онемел что ли от страха?

Хандке толкнул его в ногу. Пятьсот девятый даже не вздрогнул.

— Я не думаю, что меня станут пытать, — проговорил он спокойно и снова посмотрел на Хандке. — Это было бы нецелесообразно. Я могу умереть прямо в руках у эсэсовцев. Ведь я очень слаб и мне уже немного надо. В данный момент это — преимущество. Гестаповцам лучше не торопиться со всем этим, пока деньги не окажутся в их руках. До тех пор я им нужен. Дело в том, что я — единственный, кто может распоряжаться этими деньгами. На Швейцарию власть гестапо не распространяется. Пока деньги не попали к ним, со мной ничего не случится. И это про-

длится некоторое время. До этого может многое произойти.

Хандке задумался. Пятьсот девятый увидел в полутьме, как сказанное отразилось на его плоском лице. Он детально разглядывал лицо Хандке. Ему показалось, будто на затылке у Хандке были установлены прожектора, освещавшие лицо. Само лицо оставалось неизменным, но каждая черточка на нем казалась увеличенной.

— Значит, все это ты сам себе насочинял, а? — изрек наконец староста блока.

— Ничего я не сочинил, вот и все.

— А насчет Вебера? Он ведь тоже с тобой хотел поговорить! Ждать он не будет.

— Как же, будет, — уверенно возразил Пятьсот девятый. — Господину штурмфюреру Веберу придется подождать. Об этом позаботится гестапо. Для них важнее заполучить эти швейцарские франки.

Глядя на Хандке, Пятьсот девятому показалось, что его голубые глаза навыкате стали вращаться. Рот производил какие-то жевательные движения.

— Я смотрю, в тебе здорово прибавилось хитрости, — проговорил он наконец. — Раньше ты умел разве что испражняться! Черти вонючие! Все вы

здесь в последнее время оживились, как козлы! Получите еще свое, подождите! Они еще пропустят вас всех через трубу! — Он ткнул Пятьсот девятого пальцем в грудь. — А ну, гони двадцать марок, — фыркнул Хандке.

Пятьсот девятый достал банкноту из кармана. На какое-то мгновение он решил не давать, но сразу же понял, что это было бы самоубийством. Хандке вырвал у него деньги из рук.

— За это ты можешь испражняться на один день больше, — объявил он, надув щеки. — Живи еще один день, червяк ты гнусный! До завтра.

— Значит, один день,—проговорил Пятьсот девятый. Левинский задумался.

— Мне кажется, он на это не пойдет, — произнес он затем. — Ну что ему от этого перепадет?

Пятьсот девятый повел плечами.

— Ничего. Но если он достанет что выпить, становится невменямым. Или если с ума сходит от бешенства.

— Его надо убрать. — Левинский снова задумался. — В данный момент мы мало что можем предпринять. — Опасно. Эсэсовцы проверяют списки поименно. Кого можно, мы спрячем в лазарете. Скоро придется тайно переправлять к вам несколько человек. С этим никаких проблем, а?

— Да. Если только снабдите их едой.

— Разумеется. Но здесь вот еще что. У нас, того гляди, начнутся облавы и проверки. Вы можете спрятать несколько вещей, чтобы их не нашли?

— Крупные?

— Вот такие… — Левинский огляделся. Они сидели на корточках сзади погрузившегося в сумерки барака. Кроме целой колонны мусульман, которые с трудом тащились в сортир, ничего не было видно. — Размером, например, с револьвер…

Пятьсот девятый резко вздохнул.

— Револьвер?

— Да.

Пятьсот девятый немного помолчал. — Под моей кроватью в полу есть дыра, — сказал он тихо скороговоркой. — Половицы неплотные, можно спрятать больше, чем револьвер. Запросто. Здесь не проверяют.

Он не заметил, что заговорил как желающий убедить другого, а не как тот, кого следует убедить в наличии риска.

— Он у тебя с собой? — спросил Пятьсот девятый.

— Да.

— Давай сюда.

Левинский еще раз посмотрел вокруг.

— Ты понимаешь, что это значит?

— Да, да, — нетерпеливо ответил Пятьсот девятый.

— Нам не просто было его заполучить. Мы многим рисковали.

— Да, Левинский, все понятно. Я буду об этом помнить. Давай его сюда.

Левинский запустил руку в свою робу и вложил оружие в руку Пятьсот девятого. Тот ощупал револьвер, который оказался тяжелее, чем он ожидал.

— Во что это завернуто? — спросил он.

— Тряпка, немного смазанная жиром. Дыра под твоей кроватью сухая?

— Да, — ответил Пятьсот девятый. Это было не так, но ему не хотелось отдавать оружие. — Боеприпасы тоже тут? — спросил он.

— Да. Немного, несколько патронов. Кроме того, он заряжен.

Пятьсот девятый сунул револьвер под рубашку и застегнул на пуговицы робу. Он чувствовал револьвер около своего сердца и ощутил, как по коже пробежала дрожь.

— Я ухожу, — сказал Левинский. — Будь очень внимателен. Спрячь револьвер сразу же. — Он

говорил об оружии как о важном человеке. — В следующий раз, когда я приду, со мной будет кто-нибудь от нас. У вас действительно есть место? — Он окинул взглядом плац для переклички, на котором в темноте лежало несколько более темных фигур.

— У нас есть место, — ответил Пятьсот девятый. — Для ваших людей у нас всегда найдется место.

— Хорошо. Если Хандке снова появится, дай ему еще денег. У вас есть деньги?

— Есть немного. На один день.

— Я постараюсь собрать еще, передам Лебенталю. Левинский исчез в тени ближайшего барака. Оттуда он, как мусульманин, наклонившись вперед, заковылял в направлении сортира. Пятьсот девятый еще посидел немного, прислонившись спиной к стене барака. Правой рукой он прижимал к телу револьвер. Он устоял перед соблазном вынуть и развернуть тряпку, чтобы прикоснуться к металлу. Он только сжимал револьвер в руке; он ощущал линии дула и рукоятки, и ему казалось, что от них исходила мощная темная сила. Впервые за многие годы он прижимал к своему телу то, чем мог себя защитить. Он уже не чувствовал себя абсолютно беззащитным. Он

уже не зависел полностью от чужого произвола. Он понимал, что это было иллюзией и что он не пустит оружие в ход; но его успокаивало сознание того, что оружие было при нем. Одной мысли об этом оказалось достаточно для того, чтобы вызвать в нем какие-то перемены. Узкое орудие смерти было как ток жизни. Оно вселяло дух сопротивления.

Он думал о Хандке. Думал о ненависти, которую к нему испытывал. Хандке получил свои деньги, однако он оказался слабее Пятьсот девятого. Он думал о Розене: он ведь смог его спасти. Потом он задумался о Вебере. Он долго размышлял и о первом периоде своего пребывания в лагере. Такого с ним не случалось уже несколько лет. Он отгонял от себя всякие воспоминания, в том числе о долагерной жизни. Ему не хотелось больше слышать даже собственного имени. Он перестал быть человеком, да и не хотел им быть; его бы это только сломало. Он стал номером, точно так же обращались к нему и другие. Он молча сидел в ночи, дышал и, придерживая рукой оружие, чувствовал, как многое изменилось в нем за последние недели. Вдруг на Пятьсот девятого снова нахлынули воспоминания, и ему почудилось, будто он одновременно ест и пьет то, чего не

мог видеть и что являлось сильнодействующим лекарством.

Пятьсот девятый услышал, как сменяются караульные. Он осторожно встал. Прошел, покачиваясь, несколько метров, словно хмельной. Потом медленно направился вокруг барака. Около двери кто-то сидел на корточках.

— Пятьсот девятый! — прошептал он. Это был Розен. От неожиданности Пятьсот девятый вздрогнул, словно проснулся после бесконечного тяжелого сна. Он посмотрел под ноги.

— Меня зовут Коллер, — проговорил он, погруженный в свои мысли. — Фридрих Коллер.

— Да-а? — произнес, ничего не понимая, Розен.

XIV

— Мне нужен священник; — ныл Аммерс. Он ныл уже с самого утра. Они старались его отговорить, но все было тщетно. Так неожиданно это на него нашло.

— Какого еще священника? — спросил Лебенталь.

— Католического. Чего ты об этом спрашиваешь, ты же иудей!

— Смотри-ка! — Лебенталь покачал головой. — Антисемит. Только этого нам здесь не хватало.

— Такого в лагере хватает, — заметил Пятьсот девятый.

— Вы в этом виноваты! — сетовал Аммерс. — Во всем! Без вас, евреев, нас бы здесь не было.

— Что? Почему?

— Потому что тогда не было бы лагерей. Мне нужен священник!

— Тебе не стыдно, Аммерс? — произнес раздраженно Бухер.

— Мне нечего стыдиться. Я болен! Сходи же за священником.

Пятьсот девятый посмотрел на посиневшие

губы и ввалившиеся глаза.

— В лагере нет священника, Аммерс.

— Должен быть. Это — мое право. Я умираю.

— Я не думаю, что ты умираешь, — сказал Лебенталь.

— Я умираю, так как вы, проклятые евреи, сожрали все, что было положено мне. А теперь вы даже не хотите сходить для меня за священником. Я желаю исповедаться. Что вы в этом понимаете? Чего ради я должен находиться в еврейском бараке? Я имею право на то, чтобы быть в бараке для арийцев.

— Здесь такой возможности уже нет. Только в трудовом лагере. Тут все равны.

Аммерс, задыхаясь, отвернулся в сторону. На деревянной стене над его головой с всклокоченными волосами синим карандашом было написано: «Йоген Мейер, 1941 г., тиф. Отомстите...»

— Что это с ним? — спросил Пятьсот девятый Бергера.

— Он уже давно должен умереть. По-моему, сегодня действительно его последний день.

— Похоже на то. Он уже все путает.

— Ничего он не путает, — возразил Лебенталь. — Он понимает, что говорит.

— Думаю, это не так, — заметил Бухер. Пятьсот девятый посмотрел на него.

— Когда-то он был другим, — проговорил он спокойно. — Но потом его сломали. От того, чем он когда-то был, не осталось ничего. Сейчас это совсем другой человек, сросшийся из прежних остатков и клочков. К тому же клочки были повреждены. Я все это видел.

— Священника, — продолжал свои стенания Аммерс. — Я должен исповедаться! Я не хочу нести на себе вечное проклятие!

Пятьсот девятый присел на край постели. Рядом с Аммерсом лежал человек с нового транспорта, у него была высокая температура, а дыхание поверхностное и напряженное.

— Ты можешь и без священника, Аммерс, — сказал Пятьсот девятый. — Ну что ты порочного совершил? Здесь нет никаких грехов. Это не для нас. Мы сразу искупим все покаянием. Кайся в том, в чем ты должен покаяться. Если покаяние невозможно, и этого достаточно. Так сказано в катехизисе.

На мгновение Аммерс перестал тяжело дышать.

— Ты тоже католик? — спросил он.

— Да, — сказал Пятьсот девятый. Но это была

ложь.

— Тогда ты это должен знать! Мне нужен священник! Я должен исповедаться и причаститься! Я не хочу гореть в вечном огне! — Аммерс задрожал. Его глаза были широко раскрыты. Лицо было размером в два кулачка, из-за чего глаза казались чересчур большими. В нем было что-то от летучей мыши.

— Если ты католик, то должен знать, как все это выглядит. В общем, как крематорий; но там никогда не сжигают. Ты хочешь, чтобы так было со мной?

Пятьсот девятый посмотрел на дверь. Она была открыта. Ясное вечернее небо повисло в проеме двери, как картинка. Потом он снова бросил взгляд на изнуренную голову, в которой распалялись сцены ада.

— Для нас здесь — это все по-другому, Аммерс! — проговорил он наконец. — По сравнению с теми, кто там, мы в привилегированном положении. Кусочек ада мы прошли уже здесь.

Аммерс беспокойно замотал головой.

— Не греши! — прошептал он. Потом он с трудом приподнялся, осмотрелся вокруг, и вот тут его неожиданно как прорвало: — Вы! Вы здоровы! А мне подыхать! Именно теперь! Да, смейтесь!

Смейтесь! Я слышал все, что вы говорили! Вы хотите вырваться отсюда! И вы вырветесь! А я? Прямой дорогой в крематорий! В огонь! И вечно… ух… ух!

Он завыл, как взбесившаяся собака. Его тело резко подтянулось, он ревел. Его рот был похож на черную дыру, из которой вылетало хриплое завывание.

Со своего места поднялся Зульцбахер.

— Я сейчас схожу, — сказал он. — Спрошу насчет священника…

— Где? — спросил Лебенталь.

— Где-нибудь. В канцелярии. Или на вахте…

— Ты с ума сошел. Здесь нет никаких священнослужителей. СС этого не потерпит. Тебя просто засадят в бункер.

— Это не имеет значения.

Лебенталь уставился на Зульцбахера.

— Бергер, Пятьсот девятый! — проговорил он затем. — Вы слышали?

Лицо Зульцбахера стало очень бледным. Резко заострились челюсти. Он ни на кого не смотрел.

— Все это бесполезно, — сказал ему Бергер. — Это запрещено. Мы тоже никого не знаем среди узников. Иначе мы уже давно сходили бы за ним.

— Все же я схожу, — возразил Зульцбахер.

— Самоубийство! — Лебенталь вцепился в свои волосы. — К тому же он антисемит!

У Зульцбахера задвигались челюсти.

— Хорошо, для антисемита.

— Сумасшедший! Еще один рехнулся!

— Ладно, пусть сумасшедший. Но я все равно схожу.

— Бухер, Бергер, Розен, — спокойно произнес Пятьсот девятый.

Бухер стоял уже с дубинкой в руках за спиной у Зульцбахера. Он ударил его по голове. Удар был не очень сильный, но достаточный, чтобы Зульцбахер зашатался. Оттащив Зульцбахера вниз, все набросились на него.

— Агасфер, принеси веревки, которыми связывали овчарку, — сказал Бергер.

Они скрутили Зульцбахеру руки и ноги, после чего отпустили его.

— Будешь орать, придется сунуть тебе чего-нибудь в рот, — сказал Пятьсот девятый.

— Вы меня не понимаете…

— Как же. Побудешь в таком виде, пока не пройдет твое сумасшествие. Мы и так уже потеряли достаточно людей…

Они затолкали его в угол и не вспоминали о

нем. Розен встал во весь рост.

— У него все еще жуткая путаница в голове, — пробормотал он, словно вынужденный извиниться за Зульцбахера. — Вы должны его понять. Его брат тогда…

Аммерс охрип. Говорил только шепотом.

— Где он? Где священник?.. Постепенно все от этого устали.

— В бараках действительно нет священника, пономаря или диакона? — спросил Бухер. — Кого-нибудь, только чтобы его успокоить.

— Было четверо в семнадцатом. Одного увели, двое умерли, оставшийся — в бункере, — сказал Лебенталь. — Бройер каждое утро избивает его цепью. Он называет это: «Вместе читать мессу».

— Пожалуйста, — продолжал нашептывать Аммерс. — Ради Христа…

— Мне кажется, в секции «Б» есть человек, знающий латынь, — сказал Агасфер, — как-то слышал об этом. Нельзя ли его позвать?

— Как его зовут?

— Не знаю точно. Дельбрюк, Хельбрюк или что-то в этом роде. Староста помещения наверняка знает.

Пятьсот девятый встал.

— Манер. Мы у него спросим.

Он отправился туда с Бергером.

— Скорее всего это Хельвиг, — сказал Манер. — Один из тех, кто знает языки. Немного помешался на этом. Иногда декламирует. Он из секции «А».

— Наверное, так оно и есть.

Они пошли в секцию «А». Манер поговорил со старостой помещения, долговязым и сухопарым человеком с головой, напоминавшей по форме грушу. Ее обладатель только пожал плечами. Манер зашел в лабиринт кроватей, ног, рук и стонов, где выкрикнул это имя.

Через несколько минут он вернулся. За ним последовал какой-то подозрительный тип.

— Вот он, — сказал Манер Пятьсот девятому. — Давай выйдем из барака. Здесь ведь не разберешь ни слова.

Пятьсот девятый объяснил Хельвигу ситуацию,

— Ты говоришь на латыни? — спросил он.

— Да.. — Лицо Хельвига нервно подернулось. — Вы знаете, что сейчас стащат мою миску?

— Чего вдруг?

— Здесь воруют. Вчера, пока я сидел в сортире, у меня стащили ложку. Я спрятал ее под своей постелью. А теперь я оставил там миску.

— Тогда сходи за ней.

Не говоря ни слова, Хельвиг исчез.

— Он не вернется, — сказал Манер.

Они стали ждать. Начало темнеть. Из теней поползли тени; из темноты бараков — темнота. Потом появился Хельвиг. Он прижал к груди свою миску.

— Я не знаю, сколько понимает Аммерс, — проговорил Пятьсот девятый. — Наверняка не более чем «тебя отпускаю». Это, наверное, ему запомнилось. Если ты ему это скажешь на латыни и еще, что тебе придет в голову…

При ходьбе длинные тонкие ноги Хельвига слегка подкашивались.

— Вергилий? — спросил он. — А может, Гораций?

— Нет чего-нибудь церковного?

— Верую во единого Бога…

— Очень хорошо.

— Или «Верую, потому что нелепо» note 2

Пятьсот девятый поднял взгляд. Он заглянул в два удивительно беспокойных глаза.

— Этим мы все грешим, — заметил он.

Хельвиг остановился. При этом он показал своим узловатым указательным пальцем на Пятьсот

---

note notes: Note2
Афоризм.

девятого, словно желая его пронзить.

— Ты знаешь, это святотатство. Но я на это иду. Я ему не нужен. Существует покаяние и отпущение грехов без исповеди.

— Может, он не может покаяться без священника.

— Я сделаю это только для того, чтобы ему помочь. А в это время они стащут мою порцию супа.

— Манер сохранит для тебя твой суп. Но дай-ка твою миску, — сказал Пятьсот девятый. — Я посторожу ее для тебя, пока ты будешь в бараке.

— Почему?

— Может, он скорее поверит тебе, если ты будешь без миски.

— Хорошо.

Они вошли в барак. Было уже почти темно. До них долетало бормотание Аммерса.

— Вот здесь, — проговорил Пятьсот девятый. — Аммерс, мы нашли тут одного.

Аммерс утих.

— На самом деле? — спросил он ясным голосом. — Он здесь?

— Да.

Хельвиг наклонился.

— Слава Иисусу Христу!

— Во веки веков, аминь, — прошептал Аммерс голосом изумленного ребенка.

Они что-то бормотали. Пятьсот девятый вместе с остальными вышел из барака. На горизонте поздний вечер бесшумно опускался над близлежащим лесом. Пятьсот девятый присел около стены барака. Она еще сохранила немного солнечного тепла. Подошел Бухер и сел рядом с ним.

— Странно, — проговорил он. — Иногда умирает сотня людей и ничего не ощущаешь, а иногда — один, с которым в общем-то не многое тебя связывает, а кажется, будто это тысяча.

Пятьсот девятый кивнул.

— Силу нашего воображения нельзя измерить точными данными. Да и чувства под влиянием цифр не становятся глубже… Их можно измерять лишь в пределах единицы. Казалось бы, единица, — но и ее вполне хватает, если есть глубина восприятия.

Хельвиг вышел из барака. Наклонившись, он прошел сквозь проем двери, и на какой-то миг показалось, будто он тащит на себе зловонную темноту, как пастух черную овцу на своих плечах, чтобы сбросить ее с себя и обмыть в вечерней чистоте. Потом он выпрямился и снова стал обычным узником.

— Это действительно было святотатством? — спросил Пятьсот девятый.

— Нет. Я не выполнял никаких действий священника. Я лишь присутствовал при покаянии.

— Мне хотелось что-нибудь оставить для тебя. Сигарету или кусочек хлеба. — Пятьсот девятый отдал Хельвигу его миску. — Но у нас самих ничего нет. Мы можем предложить тебе только суп Аммерса, если только он умрет до ужина. Тогда мы получим суп вместо него.

— Мне ничего не надо. Да я и не хочу ничего. Было бы свинством брать что-нибудь за это.

Пятьсот девятый только теперь заметил слезы на глазах у Хельвига. Он посмотрел на него с немалым удивлением.

— Ну как он? Успокоился? — спросил Пятьсот девятый.

— Да. Сегодня в обед он стащил кусок принадлежащего вам хлеба. Он просил вам об этом сказать.

— Я все знаю.

— Ему хотелось, чтобы вы пришли. Он всех вас просит о прощении.

— Бога ради! К чему этот разговор?

— Он этого хочет. Особенно желает видеть того, кого зовут Лебенталь.

— Ты слышишь, Лео? — сказал Пятьсот девятый.

— Он еще быстро хочет отрегулировать свои отношения с Богом, вот почему, — заявил непримиримо Лебенталь.

— Не думаю. — Ответил Хельвиг и сунул миску себе под мышку. — Странно, когда-то я действительно хотел стать священником, — проговорил он. — Потом сдрейфил. Теперь уже трудно в этом разобраться. В общем, у меня исчезло всякое желание. — Он прошелся своим странным взглядом по сидящим рядом. — Если во что-то веришь, страдания не столь мучительны.

— Да. Но есть многое такое, во что можно верить. Не только в Бога.

— Разумеется, — вдруг проговорил Хельвиг предупредительно, словно стоял в салоне и дискутировал. Он держал голову, чуть наклонив в сторону, будто во что-то вслушиваясь. — Это была своего рода аварийная исповедь, — сказал он. — Спешные крещения всегда были. Исповеди без формальностей… — Его лицо вздрогнуло. — Вопрос для богословов, добрый вечер, господа…

Он, как гигантский паук, пополз в направлении своей секции. Остальные удивленно смотрели ему вслед. Они не слышали больше такого с того

момента, как попали в лагерь.

— Зайди к Аммерсу, Лео, — сказал Бергер минуту спустя.

Лебенталь медлил.

— Зайди! — повторил Бергер. — Иначе он снова начнет кричать. А мы сейчас развяжем Зульцбахера.

Сумерки перешли в светлую ночь. Со стороны города донеслись звуки колокола. В бороздах на пашне лежали глубокие голубые и фиолетовые тени.

Они сидели малой группой перед бараком. Аммерс все еще умирал внутри. Зульцбахер приходил в себя. Он сидел смущенный около Розена. Вдруг Лебенталь встал во весь рост.

— Что это такое?

Он пристально разглядывал пашню через колючую проволоку. Что-то мелькало там, замирало и скакало дальше.

— Заяц! — проговорил Карел.

— Ерунда! Откуда ты взял, что это заяц?

— У нас дома было несколько таких. Я насмотрелся на них в детстве. Я имею в виду, когда еще был на свободе, — сказал Карел.

Его детство пришлось на предлагерную жизнь. Еще до того, как его родителей сожгли в газовой

камере.

— Это ведь действительно заяц! — Бухер сощурил глаза. — Или кролик. Хотя нет, для кролика он чересчур велик.

— Боже праведный! — проговорил Лебенталь. — Так и есть, живой заяц.

Теперь все его увидели. На мгновение он выпрямился, повел длинными ушами, понесся куда-то дальше.

— А если бы этот заяц заскочил сюда! — Лебенталь щелкнул своей челюстью. Он подумал о «фальшивом» зайце Бетке, таксе, которую он выменял на золотой зуб Ломана. — Его можно было бы выменять, Мы не съели бы его сами. Мы получили бы за него в два, нет, в два с половиной раза больше мясных отбросов.

— Мы не стали бы его выменивать. Мы съели бы его сами, — сказал Мейергоф.

— Да? А кто бы его зажарил? Может, ты стал бы его есть сырым? Если отдашь его кому-нибудь жарить, больше уже никогда не получишь обратно, — возбужденно проговорил Лебенталь. — Странно, что все это утверждают люди, которые неделями не выходят из барака.

Мейергоф символизировал одно из чудес, происшедших в двадцать втором бараке. Три недели

он пролежал с воспалением легких и дизентерией в ожидании смерти. Он настолько ослаб, что перестал даже говорить. Бергер уже махнул на него рукой. И вот вдруг Мейергоф оклемался всего за несколько дней. Он буквально воскрес из мертвых. Поэтому Агасфер назвал его Лазарем Мейергофом. Сегодня он впервые снова вышел из барака. Бергер запретил, но он тем не менее выполз наружу. На нем было пальто Лебенталя, свитер умершего Буксбаума и гусарская венгерка, которую кому-то передали под видом куртки. Простреленный стихарь, который Розен получил как нижнее белье, он намотал наподобие шарфа вокруг шеи. Все ветераны помогали «экипировать» его перед этой прогулкой. Его выздоровление они рассматривали как общий триумф.

— Если бы он здесь появился, обязательно задел бы электрический провод. Потом его сразу бы зажарили, — мечтательно проговорил Мейергоф. — Можно было бы протащить его через колючую проволоку сухой деревянной палкой.

Они не отрывали глаз от зверя. Он скакал по бороздам, временами прислушиваясь.

— Тогда эсэсовцы сами его подстрелят, — проговорил Бергер.

— Не так-то просто подстрелить его одной

пулей, когда так темно, — возразил Пятьсот девятый. — Эсэсовцы больше привыкли к тому, чтобы стрелять в людей со спины на расстоянии нескольких метров.

— Заяц. — Агасфер пожевал губами. — Интересно, какой вкус у зайчатины?

— Вкус как у зайца, — пояснил Лебенталь. — Вкуснее всего спинка, ее обдирают, чтобы мясо было сочнее, нашпиговывают салом. К этому положено иметь сметанный соус. Так едят зайчатину не евреи.

— И еще картофельное пюре, — добавил Мейергоф.

— Чушь какая, картофельное пюре! Пюре из каштанов и брусники.

— И все же картофельное пюре лучше. Каштаны! Это для итальянцев.

Лебенталь раздраженно уставился на Мейергофа.

— Послушай… Агасфер перебил его.

— Ну что вам дался заяц? Лично я всем зайцам предпочел бы гуся. Хорошего фаршированного гуся…

— С яблоками…

— Заткните свои глотки! — выкрикнул кто-то сзади. — Вы что, совсем что ли осатанели? От

всех этих разговоров действительно можно рехнуться!

Сидя на корточках и наклонившись вперед, они разглядывали зайца сидящими в черепах глазами почти что мертвецов. Менее чем в сотне метров от них прыгал живой фантастический обед, содержавший несколько фунтов мяса, пушистый комочек, в котором некоторые видели спасение собственной жизни. Мейергоф ощущал это всеми своими кишками и костями; для него это животное становилось гарантией от рецидива.

— Хорошо, ладно, пусть будет пюре с каштанами, — кряхтел он. Во рту у него вдруг стало сухо и пыльно, как на угольном складе.

Заяц распрямился и принюхался. В этот момент его, видимо, увидел один из дремавших охранников СС.

— Эдгар! Дружище! Смотри, вон там длинноухий! — закричал он. — Стреляй!

Прогремело несколько выстрелов. Земля вздыбилась. Длинными прыжками заяц ускакал прочь.

— Вот видишь, — сказал Пятьсот девятый. — Это тебе не заключенных расстреливать в упор.

Лебенталь вздохнул и посмотрел зайцу вслед.

— Вы уверены, что сегодня вечером нам дадут хлеба? — спросил Мейергоф некоторое время спустя.

— Он умер?

— Да. Наконец-то. Он хотел, чтобы мы забрали новичка из его постели. У того был жар. Он боялся от него заразиться. На самом деле вышло наоборот. Под конец он снова скулил и ругался. Душеспасительные разговоры уже не действовали.

Пятьсот девятый кивнул.

— Теперь еще и умереть проблема. Раньше это было легко. Теперь труднее. Вот-вот будет развязка.

Бергер подсел к Пятьсот девятому. Это было после ужина. В Малом лагере выдали только пустой суп. Каждому по миске. Без хлеба.

— Что Хандке хотел от тебя? — спросил он. Пятьсот девятый раскрыл ладонь.

— Дал мне вот это. Чистый лист бумаги и ручку. Хочет, чтобы я переписал на него мои деньги в Швейцарии. Не половину. А целиком. Все пять тысяч франков.

— Ну и?

— За это он мне немного даст пожить. Он даже намекнул, я могу рассчитывать на что-то вроде

протекции.

— Пока он не получит твою подпись.

— В общем, дает мне срок до завтрашнего вечера. Это уже нечто. Иногда сроки у нас бывали и покороче.

— Этого мало, Пятьсот девятый. Надо придумать что-нибудь другое.

Пятьсот девятый пожал плечами.

— Может, это еще сработает. Вероятно, он считает, что я ему нужен, чтобы заполучить деньги.

— А может, он думает совсем наоборот. Отделаться от тебя, чтобы не позволить тебе отменить финансовое распоряжение.

— Я не могу отменить, если бумага у него уже в руках.

— Он этого не знает. А ты, наверно, смог бы отменить. Ты же сделал это под нажимом.

Пятьсот девятый немного помолчал.

— Эфраим, — проговорил он тихо. — Мне этого не надо. У меня нет никаких денег в Швейцарии.

— Как это?

— У меня нет ни одного франка в Швейцарии. Бергер пристально посмотрел на Пятьсот девятого.

— Значит, ты все это придумал?

— Да.

Бергер протер воспаленные глаза. У него передернулись плечи.

— Что с тобой? — спросил Пятьсот девятый. — Ты плачешь?

— Нет. Я смеюсь. Полнейший идиотизм, но это действительно так.

— Пожалуйста, смейся. Нам здесь приходилось чертовски мало смеяться.

— Я смеюсь, потому что представил себе лицо Хандке, если бы он появился в Цюрихе. И как тебе пришла эта идея?

— Даже не знаю. Когда речь заходит о жизни и смерти, в голову лезет всякая всячина. Главное, что он это проглотил. До окончания войны он не сможет это даже проверить. Он вынужден все просто принимать на веру.

— Это верно. — Лицо Бергера снова посерьезнело. — Поэтому я ему не верю. На него вдруг может найти сумасшествие, и тогда он натворит Бог знает что. Нам надо быть ко всему готовыми. Лучше всего было бы тебе умереть.

— Умереть? А как? У нас нет лазарета. Как это можно реализовать? Здесь ведь у нас последний этап.

— Через самый последний. Через крематорий. Пятьсот девятый посмотрел на Бергера. Он уви-

дел озабоченное увлажненное лицо, узкий череп. И ощутил прилив тепла.

— Ты думаешь, это возможно?

— Почему бы не попробовать.

Пятьсот девятый не стал спрашивать, как Бергер собирается попробовать.

— Мы еще об этом поговорим, — произнес он. — Пока у нас еще есть время. Сегодня я напишу на Хандке только две с половиной тысячи франков. Он возьмет эту записку и потребует остальное. Тем самым я выиграю несколько дней. Потом у меня еще есть двадцать марок от Розена.

— А когда и их не будет?

— До того, видимо, еще что-нибудь произойдет. Всегда нужно иметь в виду только ближайшую опасность. Одну в данный момент. Размышлять сначала об одной.

XV

Двести человек новых коммандос по уборке развалин вытянулись длинными рядами по улице. Их впервые направили на уборку развалин в самом городе: до сих пор использовали только для работ на разрушенных фабриках городских предместий.

Эсэсовцы заняли все ответвления от улиц и, кроме того, по всей левой стороне расставили целые подразделения охранников. Дело в том, что бомбы падали прежде всего на правую сторону; стены и крыши валились на мостовую, блокируя почти всякое движение.

У заключенных не было достаточного количества кирок и лопат; частично им приходилось работать голыми руками. Специально выделенные дежурные и мастера нервничали; они не знали, что им делать — избивать, подгонять или проявлять сдержанность. Гражданским лицам, правда, было запрещено выходить на улицу, но квартиросъемщиков из сохранившихся домов изгонять не разрешалось.

Левинский работал рядом с Вернером. Оба с

несколькими политическими заключенными вызвались работать в коммандос по разборке завалов. Работать там было труднее, чем где-либо еще; зато целый день они не соприкасались с лагерными эсэсовцами; возвращаясь в лагерь под вечер с наступлением темноты, они при возникновении опасности незаметно растворялись в общей массе.

— Ты заметил, как называется эта улица? — тихо спросил Вернер.

— Да, — ухмыльнулся Левинский. Эта была улица Адольфа Гитлера. — Святое имя. Но даже оно не защитило от бомб.

Они оттащили в сторону балку. Их полосатые куртки со спины стали темными от пота. В условленном месте они встретились с Гольдштейном. Несмотря на слабое сердце, он попросился в коммандос. Левинский и Вернер не были против — он относился к числу рисковых узников. Его лицо было серым. Он принюхался.

— Здесь воняет. Трупами. Не свежими — где-то здесь наверняка есть старые трупы.

Теперь они складывали разбросанные камни около стены. Сзади них, на другой стороне улицы, имелась бакалейная лавка. От взрывной волны повылетели стекла, но в витринах уже снова

появились рекламные плакаты и картонные коробки. Из-за них выглядывал человек с усами. Он был похож на тех, которые часто мелькали на демонстрациях 1933 года, участники которых несли щиты с требованием «Не покупайте у евреев!» Казалось, что голова обрубалась на уровне задней стенки витрины, совсем как на дешевых фотографиях на ярмарках, где желающие приставляли головы к нарисованной капитанской униформе. Этот человек возвышался над пустыми коробками и пропыленными рекламными надписями. Впечатление было такое, что он хорошо вписывался в это окружение.

В подворотне, которую пощадили бомбы, играли дети. Рядом с ними стояла женщина в красной блузке и смотрела на заключенных. Вдруг из подворотни выскочили несколько собак и кинулись через улицу в сторону заключенных. Они обнюхали их штаны и ботинки, а один из псов, виляя хвостом, прыгал около узника под номером 7105. Специальный дежурный, надзиравший за этим отрядом, не знал, что ему делать. Собака имела хозяина, она не была человеком; тем не менее казалось неподходящим ее дружеское отношение к заключенному, особенно в присутствии эсэсовцев. Узник № 7105 вообще оторопел. Он вел себя

так, как требуется от заключенного: делал вид, что животного рядом с ним просто нет. Однако собака продолжала следовать за ним. Она как-то быстро почувствовала к нему расположение. № 7105 наклонился и заработал с повышенным рвением. Он был озабочен, выбежавшая собака могла означать его смерть.

— А ну, пошла прочь, дворняга вонючая, — наконец крикнул дежурный и поднял дубинку.

Для себя он твердо решил: всегда было правильнее быть начеку, если за тобой наблюдает СС. Но собаку это не интересовало. Она снова запрыгала и закрутилась вокруг № 7105. Эта была крупная немецкая легавая светло-коричневого окраса.

Дежурный стал бросать в нее камни. Первый камень попал № 7105 в колено. Только третий камень угодил собаке в самый живот. Животное взвыло, отскочило в сторону и принялось лаять на дежурного. Тот поднял с земли и кинул еще один камень.

— А ну, убирайся отсюда, проклятая!

Собака увернулась, но не сбежала. Сделав дугу, она бросилась на дежурного. Споткнувшись о груду раствора, он оказался прямо перед рычащей собакой.

— На помощь! — заорал дежурный и осекся.

Стоявшие вблизи эсэсовцы хохотали.

Подбежала женщина в красной блузке. Она прикрикнула на собаку.

— А ну, сюда! Немедленно! Вот ты какая! Еще беды с тобой не оберешься!

Она оттащила собаку прямо во двор.

— Вот, выбежала, — стала оправдываться перепуганная женщина перед стоявшим рядом эсэсовцем. — Пожалуйста! Я не видела, как она убежала. Я ей за это хорошенько всыплю!

Эсэсовец ухмыльнулся.

— Ваша собака запросто могла разорвать его дурацкую рожу.

По лицу женщины промелькнула легкая улыбка. Она думала, что дежурный — эсэсовец.

— Спасибо! Большое спасибо! Я ее сейчас привяжу!

Оттаскивая собаку на поводке, она гладила ее. Дежурный выбивал пыль из известки. Охранники СС все еще с ухмылкой взирали на происходящее.

— И чего ты ее не укусил? — крикнул один из эсэсовцев дежурному.

Дежурный ничего не ответил. Так оно всегда было лучше. Он еще некоторое время выбивал пыль. Потом раздосадованный приблизился к

заключенным. № 7105 как раз старался выложить сортир из камней и раствора.

— А ну, быстрей, ленивый пес! — злобно прошипел дежурный, пырнув узника под колено.

№ 7105 упал навзничь, вцепившись руками в крышку сортира. Все узники краем глаза наблюдали за дежурным. Медленно подошел эсэсовец, разговаривавший с женщиной. Приблизившись к дежурному, он поддал ему сзади сапогом.

— Да оставь же ты его в покое! Он не виноват. Лучше укуси собаку, чучело гороховое!

Дежурный от неожиданности обернулся. Ярость слетела с лица, уступив место угодливой гримасе.

— Так точно! Я только хотел…

— А ну, быстрее!

Он получил еще один удар в живот, после чего, едва выпрямившись, ретировался. Эсэсовец неторопливо вернулся на место.

— Ты это видел? — прошептал Левинский Вернеру.

— Вот уж, действительно, знамения и чудеса. А может, он сделал это ради гражданских лиц?

Заключенные продолжали украдкой наблюдать за другой стороной улицы, которая, в свою очередь, наблюдала за ними. Их разделяли всего

несколько метров, однако это расстояние казалось несравненно больше, словно они жили в двух разных частях света. Большинство заключенных с момента ареста впервые видели город так близко. Они снова видели людей, погруженных в свои каждодневные заботы. Все происходившее вокруг воспринималось ими, как где-нибудь на Марсе. Горничная в голубом платье с белыми крапинками протирала уцелевшие стекла в окнах. Она закатала рукава и пела. За другим окном стояла пожилая седая женщина. Солнце падало на ее лицо, раскрытые шторы и развешанные в комнате картины. На углу улицы была аптека. Аптекарь стоял перед дверью и зевал. В непосредственной близости от домов дорогу переходила какая-то женщина в шубе из леопардовой шкуры. Перчатки и туфли у нее были зеленого цвета. Стоявший на углу эсэсовец пропустил ее. Молодая женщина изящно переступила через кучу мусора. Многие заключенные впервые за несколько лет увидели живую женщину. Все обратили на нее внимание, но никто не провожал ее взглядами, кроме Левинского.

— Смотри, смотри, — прошептал ему Вернер. — Помоги вот здесь.

Он показал на какой-то кусок, торчавший из

раствора.

— Тут кто-то есть.

Они разбросали по сторонам раствор и камни. Их взору предстало обезображенное до неузнаваемости лицо с окровавленной окладистой бородой, которая была перемазана известкой. Рядом лежала рука. Наверное, человек поднял ее, чтобы заслонить лицо, в тот момент, когда рухнуло здание.

На другой стороне улицы эсэсовцы кричали какие-то забавные слова даме в шубе из леопардовой шкуры, изящно перепрыгивавшей через кучи мусора. В ответ она кокетливо смеялась. Неожиданно завыли сирены.

Аптекарь на углу скрылся в своей лавке. Дама в леопардовой шкуре замерла на месте и потом побежала назад. Споткнувшись, она разорвала чулки и перемазала известью свои зеленые перчатки. Узники выпрямились.

— Стоять! Кто сдвинется с места, будет расстрелян! — Появились эсэсовцы, стоявшие на углах улицы. — Подтянуться! По группам, шагом марш!

Заключенные не могли понять, какой им подчиняться команде. Прогремело несколько выстрелов. Приблизившиеся с углов улицы

охранники СС, наконец, согнали узников в кучу. Шарфюреры советовались, как действовать. Это был лишь предварительный сигнал тревоги; но все то и дело беспокойно поднимали головы. Казалось, что сияющее небо стало одновременно и светлее, и мрачнее.

Теперь оживилась другая сторона улицы. Из домов вышли люди, которых не было видно прежде. Кричали дети. Усатый бакалейщик бросал ядовитые взгляды из своей лавки и перелезал через развалины, как жирный червяк. Какая-то женщина в клетчатом платке очень осторожно на вытянутой руке несла клетку с попугаем. Седая женщина куда-то исчезла. Из дверей, задрав юбку, выбежала горничная. Левинский впился в нее взглядом. Между черными чулками и плотно обтягивавшими голубыми трусами просвечивала белая плоть ног. За ней через камни, как коза, перелезала маленькая и тоненькая девица. Все вдруг поменялось местами. Мгновенно нарушилась мирская тишина на стороне свободы; перепуганные люди выбежали из своих квартир и, спасаясь, бросились в направлении бомбоубежища. Заключенные на противоположной стороне, наоборот, замерли в безмолвном молчании перед разрушенными стенами, провожая

взглядом бегущих.

Это заметил один из шарфюреров.

— Отделение, кругом! — скомандовал он.

Теперь взгляд заключенных был устремлен на развалины. Их освещало яркое солнце. Только в одном из разрушенных домов лопатами был расчищен проход к подвалу. Виднелись ступени, выездные ворота, темный коридор и разрезавший темноту луч света.

Шарфюреры были в нерешительности. Они не знали, что делать с заключенными. Никто и не думал загонять их в бомбоубежище; там и без того было полно гражданских. Но эсэсовцам тоже не хотелось остаться беззащитными. Некоторые из них быстро проверили ближайшие дома и обнаружили там бетонированный бункер.

Сирены завыли по-другому. Эсэсовцы бросились в направлении бункера. Они оставили только два поста у входа в дом и по два на примыкающих улицах.

— Дежурным и мастерам внимательно следить за тем, чтобы никто не дергался! Кто пошевелится, будет расстрелян!

Лица узников посуровели. Они смотрели на стены перед собой и ждали. Приказа лечь на землю не было; так эсэсовцам было легче их

охранять. Они безмолвно стояли, согнанные в кучу, в окружении дежурных и мастеров. Между ними металась легавая собака. Она сорвалась с цепи и искала № 7105. Найдя этого узника, собака стала подпрыгивать перед ним, стараясь лизнуть его в лицо.

На какой-то миг шум стих. В неожиданно наступившую тишину, как в безвоздушное пространство, сдавившее все нервы, вдруг ворвались звуки рояля. Они звучали громко и прозрачно и были четко слышны короткое время. Вернер все же уловил, что это прозвучал хор узников из оперы «Фиделио». Это не могло быть радио, по радио не передавали музыку в момент воздушной тревоги. Скорее всего это был патефон, его забыли выключить или же кто-то при открытом окне играл на рояле.

Снова поднялся шум. Напрягая все свои силы, Вернер судорожно цеплялся за немногие услышанные им звуки. Сжав скулы, он пытался запечатлеть их в своей памяти. Он не желал думать о бомбах и смерти. Если ему удастся вспомнить мелодию, значит, удастся спастись. Он закрыл глаза и почувствовал в мозгу жесткие узелки напряжения. Он не мог позволить себе сейчас умереть. Тем более таким бессмысленным

образом. Ему даже думать об этом не хотелось. Он должен был вспомнить мелодию тех узников, которые дожили до освобождения. Он сжал кулаки и попробовал мысленно услышать остальные звуки рояля; но они утонули в металлическом бушевании.

Первые взрывы потрясли город. Пронзительные звуки падающих бомб разорвали вой сирен. Земля задрожала. От стены медленно отвалился кусок выступа. Желая спастись, несколько заключенных бросились к груде развалин. К ним подбежали мастера.

— Встать! Встать!

Их голосов не было слышно. Они хватали и оттаскивали людей. Гольдштейн видел, как у одного узника, бросившегося на землю, раскололся череп и хлынула кровь. Стоявший рядом с ним схватился за живот и упал ничком. Это были не осколки от бомб. Это стреляли эсэсовцы. Выстрелов не было слышно.

— Бункер! — кричал Гольдштейн сквозь грохот Вернеру. — Там бункер! Они за нами не погонятся!

Они не сводили взгляда со входа. Казалось, что он расширился. Зиявшая в нем темнота означала для них холодное спасение. Это была

черная пучина, противостоять которой было почти невозможно. Узники уставились, как загипнотизированные. Их ряды дрогнули. Вернер не поддержал Гольдштейна.

— Нет! — Он сам уперся взглядом в бункер и кричал сквозь шум. — Нет! Нет! Всех перестреляют! Нет! Ни с места!

Гольдштейн повернул к нему свое серое лицо. Глаза распластались на нем, как поблескивающие куски солнца. Рот от напряжения был перекошен.

— Не прятаться! — воскликнул он. — Бежать! Насквозь! Там проход!

Это потрясло Вернера, как удар в живот. Его вдруг затрясло. Дрожали не руки и не колени. Он задрожал всеми фибрами души. Вернер понимал, что бегство будет сопряжено с немалыми опасностями; однако сама мысль об этом представлялась ему достаточным искушением — сбежать, в каком-нибудь доме стащить одежду и, воспользовавшись возникшей неразберихой, скрыться.

— Нет! — он думал, что говорит шепотом, а на самом деле его голос грохотал во всеобщем гуле. — Нет! — Это касалось не только Гольдштейна, но и его самого. — Теперь уже нет! Нет, теперь уже

нет! — Он отдавал себе отчет, что это — безумие; тем самым было бы поставлено под удар все, чего им до сих пор удалось добиться. Уничтожили бы товарищей, десятерых за каждого, пытавшегося скрыться, кровавая расправа в скученной толпе, новые репрессивные меры в лагере — и тем не менее «Там проход!» прозвучало зияюще и маняще — Нет! — это крикнул Вернер, поддерживая Гольдштейна и таким образом себя.

«Солнце! — подумал Левинский. — Это проклятое солнце! Оно безжалостно выдавало все. Почему же тогда не расстреляли солнце? Казалось, что стоишь обнаженный под огромными прожекторами, открытый для бомбометания с самолета. Хоть бы показалось облачко, ну хоть бы на миг!» По его телу обильно струился пот.

Стены дрожали. Откуда-то неподалеку доносился мощный грохот, под который медленно обрушивался кусок стены с оконным переплетом без стекла. Когда пятиметровый кусок стены свалился на заключенных, это не вызвало паники. Только узник, которого накрыл четырехугольный оконный переплет, еще стоял и недоуменно смотрел по сторонам. Он не понял, почему вдруг его полтела завалило мусором, а он все еще жив. Рядом с ним ноги, торчавшие из-под обломков

рухнувшей стены, несколько раз дернулись вверх-вниз.

Постепенно спадало напряжение. Поначалу это было почти незаметно, чуть смягчалось давление на слух и мозг. Потом, как слабый свет в шахте, стало пробиваться сознание. Как и прежде, доносился грохот, тем не менее всем сразу стало ясно: гроза миновала.

Из своего бункера вылезли эсэсовцы. Вернер разглядывал стену перед собой. Постепенно она снова принимала свой обычный вид — солнце освещало ее, вход в бункер был расчищен лопатами; никакого больше слепящего презрения, в котором бушевал вихрь смутной надежды. Ему снова привиделось мертвое бородатое лицо под ногами, ноги товарищей, заваленных обломками рухнувшего здания. Потом сквозь стихающий огонь до него вдруг еще раз донеслись звуки рояля. Он крепко сжал губы.

В воздухе носились приказы. Уцелевший узник, застрявший в оконном переплете, вылез из кучи мусора. Его правая ступня была вывернута. Он приподымал ее, стоя на одной ноге. Он боялся упасть на землю. Подошел один из эсэсовцев.

— А ну, быстрее! Откапывайте этих здесь!

Заключенные стали разбирать мусор и камни.

Они работали руками, лопатами и кирками. Вскоре они раскопали своих товарищей. Их оказалось четверо. Трое были мертвы. Один еще дышал. Его оттащили в сторону. Вернер стал искать, чем ему помочь. Он увидел, что из подворотни в их сторону идет женщина в красной блузке. При налете она не бросилась в бомбоубежище. Она осторожно несла в руках миску с водой и полотенце. Ни о чем не задумываясь, женщина прошла с водой мимо эсэсовцев и поставила ее рядом с пострадавшим. Эсэсовцы переглянулись, но ничего не сказали. Она обтерла ему лицо.

У пострадавшего выступила кровавая пена. Женщина вытерла ему губы. Один эсэсовец рассмеялся. У него было какое-то недоделанное поджатое лицо с такими светлыми ресницами, что бледные глаза казались совсем остекленевшими.

Зенитки перестали стрелять. В тишине снова зазвучал рояль. Теперь Вернер понял, откуда летели эти звуки — из окна первого этажа бакалейной лавки. Бледный мужчина в очках все еще играл там на раскрытом коричневом рояле «Хор узников». Эсэсовцы ухмылялись. Один из них постучал себе по виску. Вернер не знал, для чего играл этот человек — чтобы не думать о бом-

бардировке или же у него в голове было что-то другое. В конце концов Вернер решил, что это было своего рода обращение к людям. Он всегда верил в лучшее, если при этом отсутствовал риск. Так проще было жить.

Сбегались люди. Эсэсовцы действовали по-военному. Заключенные строились по команде. Командир колонны приказал одному эсэсовцу оставаться при погибших и раненых. Затем поступило приказание двигаться по дороге бегом. Последняя бомба угодила в бомбоубежище. Заключенным предстояло его раскопать.

От углубления неприятно пахло кислотами и серой. Наискось с краю возвышалось несколько деревьев с обнаженными корнями. Развороченная ограда сквера уткнулась куда-то в небо. В бомбоубежище не было прямого попадания, бомба ударила в него сбоку, вызвав завал.

Узники проработали более двух часов у входа, разгребая перекошенную от взрыва лестницу ступень за ступенью. Все работали так быстро, насколько хватало сил, словно завалило их собственных товарищей.

Час спустя вход был раскопан. Но еще раньше до них донеслись крики и стоны. Видимо, в бункер откуда-то продолжал поступать воздух.

Крики стали нарастать, когда проделали первое отверстие. Сначала вылезла чья-то голова и раздался крик, потом прямо из-под нее просунулись две руки, желающие пробраться сквозь мусор, — казалось, что землю буравит какой-то огромный крот.

— Осторожно! — крикнул мастер. — Как бы тут не обрушилось.

Руки продолжали работать. Потом вдруг голову отбросило назад и на ее месте с криком появилась другая. Но и эта исчезла. Видно, охваченные паникой люди судорожно боролись за место под светом.

— Оттесните их назад! Они покалечатся! Сначала надо расширить отверстие. Оттесните их!

Засыпанных отжимали от себя, упираясь ладонями прямо в их лица. Те старались укусить спасателей за руки. Спасатели кирками сбивали с жертв обвала налипший цемент. Они работали так, словно речь шла об их собственной жизни. Затем отверстие расширили так, что через него смог пролезть первый из пострадавших.

Это был физически крепкий мужчина. Левинский сразу его узнал. Им оказался тот самый усач, стоявший в бакалейной лавке. Он продвинулся дальше других. Он кряхтел, но греб и греб, чтобы

выбраться из плена. Только вот ему никак не удавалось протиснуть свой живот. Между тем крики внутри усилились. Своим телом усач загородил отверстие, и в бункере стало темновато. Тогда его потянули за ноги.

— На помощь! — стонал он своим высоким свистящим голосом. — На помощь! Помогите мне выбраться! Выбраться отсюда! Я хочу вам… я дам вам…

Маленькие черные глаза налились на его круглом лице. Усики-щеточки под фюрера подергивались.

— Помогите! Господа! Пожалуйста, господа! — Он был похож на застрявшего тюленя.

Заключенные подхватили его под руки и наконец-то освободили. Он упал, потом вскочил и, не сказав ни слова, убежал. Спасатели прижали доску ко входу и расширили его. Потом они отошли назад.

Карабкаясь, люди выбирались наружу. Женщины, дети, мужчины; одни — торопливо, в поту, бледные, как из могилы; другие — истерично рыдая, крича, изрыгая проклятия; третьи, которые не поддались панике, — медленно и молчаливо.

Они бежали мимо заключенных, на волю.

— «Господа», — проговорил шепотом Гольд-

штейн. — Вы это слышали? «Пожалуйста, господа!» Этот человек считал, что нас…

Левинский кивнул.

— «Я вам дам»… — повторил он сказанное тюленем. — Да, ничего себе, — добавил он. — Убегал отсюда, как обезьяна, в лес. — Он бросил взгляд на Гольдштейна. — Что с тобой?

Гольдштейн прислонился к нему.

— Смешно все это! — У него перехватило дыхание. — Вместо того чтобы они нас освободили… — проговорил он тяжело дыша, — мы освобождаем их…

Он хихикнул и беззвучно повалился на бок. Они подхватили его и опустили на кучу земли. Потом стали ждать, пока бункер опустеет.

И вот эти многолетние узники стояли и смотрели, как торопливо проходили мимо те, кто стал узниками всего на несколько часов. Левинский вспомнил, что так уже однажды было, когда заключенным на дороге встретилась колонна беженцев из города. Он видел, как из входа выползла горничная в голубом платье с белыми крапинками. Она отряхивала свою юбку и улыбалась ему. Следом за нею ковылял солдат без ноги. Выпрямившись, он сунул костыли под мышку и поприветствовал заключенных, после чего,

прихрамывая, продолжал свой путь. Одним из последних вылез совсем дряхлый старик. Его лицо было все в морщинах, как у легавой. Он окинул взглядом заключенных.

— Спасибо, — проговорил он. — Там еще есть засыпанные. — Медленно, неуверенно, но с достоинством он поднялся по перекошенным ступеням. У него за спиной в бункер спускались заключенные.

Они возвращались. Они были на грани изнеможения. Им пришлось еще тащить на себе умерших и раненых товарищей. Тот, которого засыпало при налете, умер. На небе горела роскошная вечерняя заря. Весь воздух был пропитан ею, причем она отличалась такой редкой красотой, что казалось, будто время остановилось и хотя бы на один час нет места ни для развалин, ни для смерти.

— Какие мы потрясающие герои, — сказал Гольдштейн, отдышавшись от приступа. — Гнем тут спину вот на этих…

Вернер бросил на него взгляд.

— Не стоит тебе больше ходить на расчистку развалин. Это — безумие. Ты себя угробишь, даже если будешь манкировать.

— Что же мне тогда делать? Ждать, пока эсэсов-

цы схватят меня наверху?

— Надо придумать для тебя что-нибудь другое. Гольдштейн улыбнулся вымученной улыбкой.

— Наверно, я уже дозрел до того, чтобы оказаться в Малом лагере, а?

Это замечание нисколько не удивило Вернера.

— Почему бы нет? Это безопасно, и мы могли бы использовать тебя там в наших целях.

Подошел дежурный, пинавший № 7105. Какое-то мгновение он шел рядом, потом что-то сунул ему в руку и снова отошел в сторону. № 7105 провожал его взглядом.

— Сигарета, — проговорил он удивленно.

— Они начинают поддаваться. Развалины действуют им на нервы, — заметил Левинский. — Размышляют о будущем.

Вернер кивнул.

— Появляется страх. Обрати внимание на дежурного. Может, удастся его использовать.

Они продолжали свою неторопливую прогулку в мягком вечернем свете.

— Город, — произнес Мюнцер, немного задумавшись. — Дома. Свободные люди. На расстоянии двух метров. Уже вроде бы не чувствуешь себя таким абсолютно изолированным.

№ 7105 поднял голову.

— Интересно, что они о нас думают?

— Ну что они могут думать? Одному Богу известно, сколько они о нас вообще знают. Да и сами они не выглядят счастливыми.

— Теперь, — заметил № 7105.

Все молчали. Начался трудный подъем перед лагерем.

— Как мне хотелось бы иметь собаку, — сказал № 7105.

— Из нее получилось бы хорошее жаркое, — возразил Мюнцер. — В целом не меньше тридцати фунтов.

— Я не имею в виду для еды. Просто так.

Машине уже трудно было проехать. Повсюду улицы были перегорожены развалинами.

— Поезжай обратно, Альфред, — сказал Нойбауэр. — Подожди меня около дома.

Нойбауэр вылез из машины и решил пройти пешком и перелез через рухнувшую стену, которая перегородила улицу. Остальная часть дома не пострадала. Стена отпала, как занавес, поэтому можно было беспрепятственно заглянуть в квартиры. Открытые всем ветрам, лестницы рвались вверх. На первом этаже полностью сохранилась спальня, отделанная красным деревом. Обе кровати стояли рядом; упал набок только стул,

правда, разбилось вдребезги зеркало. Этажом выше вырвало водопроводные трубы на кухне. Вода лилась на пол, а оттуда сверкающий тонкий водопад устремился прямо на улицу. В салоне стоял на своем месте красный плюшевый диван. Портреты в золотых рамах висели наискось на полосатых обоях. Там, где снесло переднюю стену, стоял человек; обливаясь кровью, он неподвижно смотрел себе под ноги. Сзади него металась женщина с чемоданами, в которые она пробовала запихнуть женские безделушки, диванные подушки и белье.

Нойбауэр почувствовал, что куски обвалившейся стены заходили у него под ногами. Он сделал шаг назад. Развалины продолжали раскачиваться. Он нагнулся и отбросил прочь от себя камни с раствором. Как усталая змея, вылезла серая, вся пропыленная ладонь и кусочек руки.

— Помогите! — закричал Нойбауэр. — Здесь еще кто-то! Помогите!

Никто не услышал. Он огляделся вокруг. На улице не было ни души.

— Помогите! — крикнул он человеку на втором этаже. Тот медленно вытирал кровь с лица и никак не реагировал.

Отбросив в сторону комок раствора, Нойбауэр

увидел волосы, вцепился в них и попробовал потянуть.

— Альфред! — закричал он, оглядываясь по сторонам.

Машины уже не было.

— Сволочи, — проговорил он, вдруг непонятно почему свирепея. — Когда они нужны, их никогда нет.

Он продолжал работать. Пот лился за воротник мундира. Он не привык так напрягаться. «Полиция, — подумалось ему. — Колонны спасателей! Куда подевались все эти негодяи?»

Кусок раствора разбился и рассыпался, а из-под него высунулось то, что еще совсем недавно называлось лицом. Теперь это была плоская, перемазанная серой пылью масса. Нос был продавлен, на месте глаз — известковая пыль; губы просто-напросто исчезли, а рот представлял собой массу из раствора и редких зубов. Лицо превратилось в серый овал, над которым торчало несколько волосин. Из овала сочились капли крови.

Нойбауэру сдавило горло. Его вывернуло наизнанку; рядом с плоской головой вырвало весь его обед — кислая капуста, копченая колбаса, картофель, рисовый пудинг и кофе. Он попробовал за

что-нибудь ухватиться, но рядом ничего не было, он снова стал блевать.

— Что здесь происходит! — спросил кто-то у Нойбауэра за спиной.

Человек подошел незаметно. Нойбауэр даже не услышал. В руках у него была лопата. Нойбауэр показал на голову в развалинах.

— Засыпало?

Голова чуть дергалась. Одновременно что-то шевелилось в серой массе лица. Нойбауэра снова вырвало. Он много съел на обед.

— Да он ведь задыхается, — крикнул, подскочив к голове, человек с лопатой. Он стал скрести руками лицо, чтобы найти и очистить от грязи нос; пытался проковырять пальцами то место, где должен был находиться рот.

Лицо вдруг стало сильнее кровоточить. Плоская маска оживилась в конвульсиях смерти. Теперь захрипел рот. Пальцы рук скребли раствор, голова со слепыми глазами тряслась. Но потом перестала. Человек с лопатой выпрямился. Он вытер грязные руки о желтую шелковую штору, вывалившуюся вместе с окном.

— Умер, — проговорил он. — Здесь внизу еще есть такие?

— Не знаю.

— Вы не из этого дома?

— Нет.

Человек показал на голову.

— Это ваш родственник? Или знакомый?

— Нет.

Человек окинул взглядом кислую капусту, колбасу, рис и картошку. Потом посмотрел на Нойбауэра и пожал плечами. Видимо, он не испытывал особого уважения к высокопоставленому фицеру СС. Его неприязнь вызвало и обильное питание на этом этапе войны. Нойбауэр почувствовал, что покраснел. Он резко повернулся и спустился с развалин.

Почти час потребовался ему, чтобы добраться, наконец, до Фридрихаллее. Она осталась целой и невредимой. Он взволнованно прошел по ней пешком. «Если на следующей поперечной улице не будет разрушенных домов, значит, мой торговый дом цел», — подумал суеверный Нойбауэр. Улица не пострадала. Две следующие тоже. Он воспрянул духом и ускорил шаг: «Попробую еще раз. Если на следующей улице первые два дома уцелели, тогда и я легко отделался. Так оно и есть. Только третий дом превратился в груду развалин. Нойбауэр сплюнул; его горло пересохло от пыли. Он уверенно завернул за угол в сторону улицы

Германа Геринга и остановился.

Бомбы оставили глубокий след. Верхние этажи его делового дома были полностью разрушены. Угол здания вышвырнуло на другую сторону улицы, и он влетел прямо в антикварный магазин, а навстречу ему оттуда прямо на улицу вылетел бронзовый Будда. Теперь святой восседал на уцелевшем участке мостовой в одиночестве. Держа руки на коленях, он с невозмутимой улыбкой взирал поверх западноевропейских разрушений на руины вокзала, словно в ожидании азиатского похода духов, призванного вернуть его в царство простых законов джунглей, где убивали, чтобы выжить, а не наоборот.

В первый момент у Нойбауэра было дурацкое ощущение, что судьба подло обманула его. Все поперечные улицы пережили бомбардировку, и на тебе — разразилась гроза! Это было горькое разочарование ребенка. Он готов был разрыдаться. С ним, именно с ним это случилось! Он окинул улицу взглядом. Некоторые дома стояли как ни в чем не бывало. «Почему же у этих вот другая судьба? — подумалось ему. — Почему она уготовила это именно мне, порядочному патриоту, верному супругу, заботливому отцу?»

Он обошел кратер на улице со стороны. Все

витрины отдела мод были разбиты. Как льдинки, повсюду валялись осколки, скрипевшие под ногами. Он подошел к отделу «Самая последняя мода для немецкой женщины». Наполовину свесившаяся вывеска. Он нагнулся и вошел в помещение. Там пахло пожаром, но огня не было видно. Манекены были разбросаны. Казалось, что их изнасиловала орда каких-то дикарей. Одни лежали на спине с задранными одеждами и поднятыми ногами; другие, со сломанными руками, выставив свой восковой зад, лежали на животе. На одном манекене остались только перчатки, другой стоял безногий в углу— в шляпе и с вуалью на лице. Они улыбались во всех своих застывших позах — и в этом был какой-то ужас и разврат.

«Конец, — подумал Нойбауэр. — Конец. Все потеряно. Что скажет теперь Зельма? Никакой справедливости». Он повернул назад и, тяжело ступая, обошел дом. Приблизившись к углу дома, он увидел на другой стороне фигуру, которая, завидев его, пригнулась и бросилась бежать.

— Стой! — закричал Нойбауэр. — Остановиться! Или я буду стрелять!

Фигура остановилась. Это был маленький раздавленный человечек.

— Подойди ко мне!

Человечек крадучись приблизился к нему. Нойбауэр узнал его только тогда, когда тот вплотную подошел к нему. Это был прежний владелец торгового дома.

— Бланк, — проговорил он удивленно. — Это вы?

— Так точно, господин оберштурмбаннфюрер.

— А вы что здесь делаете?

— Извините, господин оберштурмбаннфюрер. Я… я…

— Вы можете членораздельно объяснить, а? Что вы здесь делаете?

То, что Нойбауэр был в униформе, помогло ему быстро восстановить свой авторитет и вернуть самообладание.

— Я… я… — пролепетал Бланк. — Я только раз здесь появился, чтобы… чтобы…

— Что… чтобы?

Бланк беспомощно махнул в сторону развалин.

— Чтобы порадоваться этому, да? Бланк отскочил назад.

— Нет, нет, господин оберштурмбаннфюрер. Нет, нет! Вот только очень жаль, — прошептал он. — Жаль.

— Разумеется, жаль. Теперь вы можете вдоволь

посмеяться.

— Тут не до смеха! Не до смеха, господин оберштурмбаннфюрер.

Нойбауэр внимательно посмотрел на него. Перепуганный Бланк стоял перед ним, прижав руки к телу.

— А вам больше повезло, чем мне, — горько проговорил Нойбауэр. — Было хорошо оплачено. Или нет?

— Так точно, очень хорошо, господин оберштурмбаннфюрер.

— Вы получили деньги наличными, а я — груду развалин.

— Так точно, господин оберштурмбаннфюрер! Жаль только, очень жаль. Все происшедшее…

Нойбауэр уставился в пустоту. Сейчас ему действительно казалось, что Бланк провернул блестящую сделку. На какой-то миг подумалось, а не продать ли ему обратно эту груду развалин за большие деньги. Но это противоречило партийным принципам. А кроме того даже этот мусор дороже того, что в свое время он заплатил Бланку. Не говоря уже о земельном участке. Он выложил пять тысяч! Только за земельную ренту пришлось уплатить пятнадцать тысяч. Пятнадцать тысяч!

И все псу под хвост!

— Что у вас? Что вы тут руками размахались?

— Нет, ничего, господин оберштурмбаннфюрер. Я упал, это было давно…

Лицо Бланка покрылось потом. Крупные капли катились со лба на глаза. Он мигал правым глазом чаще, чем левым. Левый глаз у него был стеклянный и поэтому не так остро воспринимал пот. Он боялся, что Нойбауэр воспримет его дрожь, как проявление наглости. Такое с ним уже случалось. Но в данный момент Нойбауэр думал совсем о другом; вовсе не о том, что тогда перед заключением сделки Бланк был подвергнут допросу в лагере. Он разглядывал лишь груду развалин.

— В отличие от меня вы сделали более правильный выбор, — проговорил он. — Или, может быть, вы тогда так не считали? Иначе бы сейчас вы все потеряли. Зато теперь у вас остались неплохие деньги.

— Так точно, господин оберштурмбаннфюрер, — пробормотал Бланк. Ему не хватало смелости стереть пот.

Вдруг Нойбауэр испытующе посмотрел на Бланка, Его озарило. За последние недели эта мысль все чаще приходила в голову. Впервые, когда оказалась разрушенной редакция «Меллерн цайтунг». Он отогнал ее, но она постоянно

возвращалась к нему, как назойливая муха. Неужели это реально, что такие вот бланки когда-нибудь снова вернутся? Тот, что стоит сейчас перед ним, — это уже развалина. Но руины вокруг других мыслей уже не вызывают. Победного настроения не чувствуется. Он подумал о Зельме с ее карканьем. Да еще газетные сообщения! Нравится, не нравится, но русские уже под Берлином. Рур в кольце, это тоже факт.

— Вы слышите меня, Бланк, — сказал Нойбауэр с теплотой в голосе. — А я ведь обращался с вами очень даже прилично, не так ли?

— Более чем, более чем!

— Вы должны это признать, а?

— Безусловно, господин оберштурмбаннфюрер. Безусловно.

— Человечно…

— Очень человечно, господин оберштурмбаннфюрер. Премного вам благодарен…

— Ну вот видите, — продолжал Нойбауэр. — Не забывайте об этом! Ради вас я многим рисковал. А что вы здесь, собственно, делаете?

«Почему вы до сих пор не в лагере?» — чуть было не спросил он.

— Я… я…

Бланк снова вспотел. Он не понимал, что

кроется за этим вопросом. Он только знал по собственному опыту, что отличавшиеся любезностью нацисты всегда могли преподнести особенно жуткие сюрпризы. Именно такой манерой разговора отличался Вебер, выбивший ему глаз. Он проклинал себя за то, что все не мог решиться выйти из укрытия, чтобы заняться своим прежним делом.

Почувствовав его смущение, Нойбауэр воспользовался этим:

— Что вы на свободе, Бланк, вы знаете, кому вы этим обязаны, не так ли?

— Так точно, благодарю, безмерно благодарен, господин оберштурмбаннфюрер.

Бланк ничем не был обязан Нойбауэру. Он знал это, точно так же как и Нойбауэр. Однако перед тлевшей грудой развалин вдруг стали плавиться старые понятия. Все утрачивало свою стабильность. Необходимо было позаботиться о будущем. Нойбауэру это казалось безумием, но кто знает, а вдруг такой вот еврей и пригодится в один прекрасный день. Он достал из кармана пачку «Дойче вахт».

— Вот возьмите, Бланк. Хороший табак. Тогда это была суровая необходимость. Никогда не забывайте, как я вас защитил.

Бланк был некурящим. Ему потребовались годы, чтобы после веберовских экспериментов с зажженными сигаретами не впадать в истерику от табачного запаха. Но он не посмел отказаться.

— Огромное спасибо. Вы очень любезны, господин оберштурмбаннфюрер.

Он осторожно отошел назад, держа сигару в парализованной руке. Нойбауэр огляделся. Никто не видел, что он разговаривал с евреем. Так оно и лучше. Он сразу же забыл о Бланке и стал считать. Потом засопел. Запах горелого усиливался. Он быстро перешел на другую сторону. Там горел модный салон. Он побежал назад и стал звать: «Бланк! Бланк!» — а когда никто не ответил, стал кричать: «Пожар! Пожар!»

Никто не откликнулся. Город горел во многих местах, и пожарные уже давно не могли поспеть на новые вызовы. Нойбауэр снова побежал к модным витринам. Он вбежал в помещение, подхватил рулон с какой-то тканью и потащил его за дверь. Во второй раз пробраться он уже не смог. Платье с кружевами, которое он еще успел схватить, загорелось у него прямо в руках. Огонь извивался на тканях и одежде. Он сам не без труда выбрался наружу.

В бессильной злобе Нойбауэр наблюдал за ог-

нем с другой стороны улицы. Огонь вспыхивал на манекенах, пробегал по ним, сжирал одежды. И вдруг, расплавившись, манекены стали гореть, что знаменовало новую для них жизнь. Они извивались и вздымались. Руки подымались и изгибались — это был настоящий восковой ад. Потом все потонуло в огне, как трупы в крематории.

Нойбауэр все дальше отходил от пламени, пока не наткнулся на Будду. Не глядя, он сел на него, но тут же вскочил: не заметил, что головное убранство святого представляло собой бронзовое острие. В ярости он уставился на лежавший у него в ногах рулон, который успел вытащить из огня. Это была светло-голубая ткань с узорами в виде летящих птиц. Он поставил на рулон свой сапог. «Черт возьми! К чему все это!» Он оттащил рулон обратно и швырнул его в огонь. Гори все ярким пламенем! Тяжело ступая, он пошел прочь. Он не желал все это больше видеть! Бог отвернулся от немцев…

Из-за кучи мусора на противоположной улице медленно показалось бледное лицо. Йозеф Бланк наблюдал за Нойбауэром. И впервые за многие годы улыбался. Улыбался, кроша сигару пальцами парализованной руки.

XVI

Во дворе крематория снова выстроилось восемь человек. У всех были красные значки политических заключенных. Бергер не был знаком ни с одним из них, но теперь он знал их судьбу.

Специально выделенный дежурный Дрейер уже находился на своем месте в подвале. Он отсутствовал целых три дня. Это не позволило Бергеру осуществить задуманное. Сегодня отговорки больше нет, значит, надо рисковать.

— Начинай прямо здесь, — угрюмо проговорил Дрейер. — Иначе нам не справиться. В последнее время они у вас мрут, как мухи.

Прогрохотали сверху вниз первые мертвецы. Трое заключенных раздели их и рассортировали вещи. Бергер проверил зубы; потом трое погрузили мертвецов в лифт.

Полчаса спустя явился Шульте. Он выглядел посвежевшим и выспавшимся, однако не переставая зевал. Дрейер писал, а Шульте временами поглядывал на него.

Подвал был просторный и хорошо проветрен, но скоро сгустился трупный запах. Его испускали

не только голые тела, он притаился даже в одежде. Лавина трупов не убывала; казалось, что она погребла под собой время, и Бергер уже почти не воспринимал, вечер это или всего полдень, когда Шульте, наконец, встал и объявил, что надо идти есть.

Дрейер сложил свои вещи.

— Насколько мы обгоняем обслуживающих печи крематория?

— На двадцать две минуты.

— Хорошо. Обеденный перерыв. Скажи-ка работающим наверху, чтобы перестали бросать трупы, пока я не вернусь.

Трое других узников сразу вышли наружу. Бергер подготовил еще одного мертвеца.

— Давай! Вперед! — пробурчал Дрейер. Прыщик на его верхней губе превратился в болезненный фурункул.

Бергер выпрямился.

— Мы забыли тут зарегистрировать этого.

— Что?

— Мы забыли зарегистрировать этого как умершего.

— Чушь собачья! Мы всех записали.

— Это не так. — Бергер изо всех сил старался не повышать голос. — Мы записали на одного

человека меньше.

— Слушай! — взорвался Дрейер. — Ты с ума сошел? Это что еще за болтовня?

— Нам надо включить в список еще одного.

— Вот как? — Дрейер раздраженно посмотрел на Бергера. — А чего ради делать это должны мы?

— Чтобы в списке был полный ажур.

— Какое тебе дело до моего списка?

— Другие списки меня не волнуют. Только этот.

— Другие? Какие еще другие, ты, скелет?

— В которых актируются золотые вещи. Дрейер на миг задумался.

— Ну, что все это значит? — спросил он. Бергер перевел дыхание.

— Это значит, меня нисколько не волнует, все ли в порядке в этих списках по учету золотых вещей.

Дрейер хотел изобразить какой-то жест, но сдержался.

— В них все в порядке, — проговорил он с угрозой голосе.

— Может быть. А может, и нет. Чтобы выяснить, достаточно их просто сравнить.

— Сравнить? С чем?

— С моими списками. Я их веду с тех пор, как здесь работаю. Так, осторожности ради.

— Смотри-ка! Ведешь список, ты, проныра. И ты считаешь, тебе скорее поверят, чем мне?

— Думаю, что да. Я ведь с этих списков ничего не имею.

Дрейер осмотрел Бергера с головы до ног, словно видел его первый раз в жизни.

— Значит, ничего не имеешь? Я в это не верю. А чтобы это мне преподнести, ты выбрал подходящий момент здесь, в подвале, так, что ли? Один на один — вот, в чем твоя ошибка, мыслитель! — Он ухмыльнулся. Фурункул давал о себе знать. Ухмылка напоминала злую собаку, оскалившую зубы. — Может, ты еще знаешь, что сейчас удерживает меня от того, чтобы слегка начистить твою тупую морду и положить твой трупик рядом с другими? Или прищемить тебе дыхательное горло? И тогда ты сам окажешься тем, кого недостает в твоем списке. Никаких объяснений здесь не потребуется. Мы ведь с тобой одни. Просто свалился. Стало плохо с сердцем. Одним больше или меньше — особой роли здесь не играет. Проверять никто не станет. Уж тебя-то я оприходую, можешь не сомневаться.

Дрейер подошел ближе. Он был на шестьдесят

фунтов тяжелее Бергера. Даже с щипцами в руке Бергер не имел ни малейшего шанса. Он сделал шаг назад и споткнулся о мертвеца, лежавшего сзади него. Дрейер схватил Бергера за руку и вывернул ему запястье. Щипцы выпали у него из рук.

— Так-то оно лучше, — проговорил Дрейер и одним движением приблизил его к себе. Искаженное лицо Дрейера оказалось совсем рядом с глазами Бергера. Лицо было красным. На губе с голубыми краями блестел фурункул. Бергер молчал. Он лишь запрокинул голову, насколько хватило сил, и напряг то, что еще осталось у него от мышц шеи.

Он видел, как пошла вверх правая рука Дрейера. Сознание Бергера прояснилось. Он знал, что ему делать. Времени оставалось совсем мало. К счастью, рука Дрейера поднималась почти, как при скоростной киносъемке.

— Этот инцидент здесь уже зарегистрирован, — быстро проговорил Бергер. — Он зарегистрирован и подписан свидетелями.

Рука не остановилась. Она хоть и медленно, но продолжала подниматься.

— Обман, — пробурчал Дрейер. — Хочешь отговориться. Скоро всем этим разговорам конец.

— Это не обман. Мы предусмотрели, что вы попробуете меня ликвидировать. — Бергер пристально посмотрел в глаза Дрейера. — Это первое, что дуракам всегда приходит в голову. Это зафиксировано на бумаге, и, если вечером я не вернусь, документ вместе со справкой об отсутствии двух золотых колец и золотых очков будет передан начальнику лагеря.

У Дрейера замигали глаза.

— Так, да? — проговорил он.

— Именно так. Вы думаете, я не понимал, чем рискую?

— Значит, ты все знал?

— Да. Все зафиксировано. Вебер, Шульте и Штейнбреннер еще хорошо помнят исчезнувшие золотые очки. Они принадлежали одноглазому. Это не так быстро забывается.

Рука остановилась. Она замерла и упала вниз.

— Это было не золото, — возразил Дрейер. — Ты это сам говорил.

— Это было золото.

— Оно не имело особой ценности. Так, ерунда. Даже для свалки не годится.

— Все это вы сами будете объяснять потом. У нас же есть свидетельства друзей человека, которому они принадлежали. Это было настоящее

белое золото.

— Негодяй!

Дрейер оттолкнул Бергера. Он снова упал. Попытался за что-нибудь зацепиться, но уперся рукой в зубы и глаза мертвеца. Споткнулся о труп, но не выпускал Дрейера из виду.

Дрейер тяжело дышал.

— Так, ну и что же, по-твоему, случится тогда с твоими друзьями? Думаешь, они получат вознаграждение, как соучастники, за твою попытку приписать здесь одного покойника?

— Они не соучастники.

— А кто в это поверит?

— А кто вам поверит, если вы об этом заявите? Это будет воспринято как измышление, чтобы ликвидировать меня в связи с этими кольцами и очками. Бергер снова поднялся. Он вдруг почувствовал дрожь. Он нагнулся и стал отряхивать пыль с коленей. В действительности выбивать было нечего. Просто он не мог держать дрожь в коленях и не хотел, чтобы это увидел Дрейер.

Дрейер ничего не заметил. Он дотронулся пальцем до фурункула. Бергер увидел, что нарыв прорвался и потек гной.

— Так не надо, — проговорил он.

— Что? Почему?

— Не дотрагивайтесь до фурункула. Трупный яд смертельно опасен. Дрейер уставился на Бергера. — Я сегодня не прикасался к трупам.

— Зато я прикасался. А вы прикасались ко мне. Мой предшественник умер от заражения крови.

Дрейер отбросил правую руку и вытер ее о штаны.

— Черт возьми! Что происходит? Проклятье какое-то! Я уже прикоснулся. — Он посмотрел на свои пальцы, словно подцепил проказу. — Давай! Сделай что-нибудь! — крикнул он Бергеру. — Думаешь, мне хочется сдохнуть?

— Разумеется, нет. — Бергер успокоился. Он отвлек внимание Дрейера и тем самым выиграл время.

— Особенно теперь, незадолго до смерти, — добавил он.

— Что?

— Незадолго до смерти, — повторил Бергер.

— Что, смерти? Так сделай что-нибудь, ты, пес паршивый! Смажь чем-нибудь!

Дрейер побледнел. Бергер достал с полки флакон йода. Он знал, что Дрейер вне опасности. Но ему это было все равно. Самое главное, что удалось его отвлечь. Он помазал фурункул йодом. Дрейер отпрянул. Бергер поставил флакон

на место.

— Ну вот, теперь продизенфицировали.

Дрейер попробовал разглядеть фурункул, кося глазом мимо носа.

— Все как надо?

— Как надо.

Дрейер еще чуть-чуть покосил глазом. Затем повел верхней губой, как кролик.

— Ну и что ты, собственно, хотел от меня? — спросил он.

Бергер понял, что победил.

— То, что я сказал. Подменить анкетные данные одного умершего. Больше ничего.

— А как же Шульте?

— Он не обращал внимания на имена. Кроме того, он два раза был за пределами лагеря.

Дрейер задумался.

— А как же одежда?

— Тут все соответствует. В том числе и номера.

— Это как? Разве ты…

— Да, — сказал Бергер. — Они при мне, те, что мы хотим подменить.

Дрейер измерил его взглядом.

— Вы все тщательно продумали. Или это все ты?

— Нет.

Дрейер сунул руки в карманы, несколько раз прошелся взад-вперед и остановился перед Бергером.

— А кто мне гарантирует, что в итоге нигде не всплывет твой так называемый список?

Дрейер пожал плечами и сплюнул.

— До сих пор фигурировал только список, — сказал спокойно Бергер. — Список и обвинение. Я мог бы дать им ход, и со мной ничего бы не случилось; в лучшем случае я удостоился бы похвалы. Теперь же… — он показал рукой на лежавшие на столе бумаги, — я причастен к исчезновению одного заключенного.

Дрейер взвешивал. Он осторожно повел верхней губой и снова покосил глазом.

— Для вас риск значительно меньше, — продолжал Бергер. — Только одна попытка из трех-четырех бывает неудачной. Почти всегда все складывается именно так. Вот я «подставляюсь» впервые. Я иду на несравненно больший риск. Мне кажется, это — достаточная гарантия.

Дрейер молчал.

— Надо еще кое-что учесть, — сказал Бергер, пока Дрейер продолжал за ним наблюдать. — Война фактически проиграна. Германские войска из Африки и Сталинграда оттеснены далеко в

глубь страны, в том числе и за Рейн. Здесь уже не помогут больше никакая пропаганда, никакие разговоры о секретном оружии. Через несколько недель или месяцев всему конец. Тогда и здесь начнется расплата. Чего ради вам расплачиваться за других? Если станет известно, что вы нам помогли, ваша жизнь в безопасности.

— Кому это — нам?

— Нас много. Повсюду. Не только в Малом лагере.

— А если я об этом донесу? О вашем существовании?

— В какой связи? С кольцами и золотыми очками? Дрейер поднял голову и косо улыбнулся.

— Вы действительно все хорошо взвесили, а?

Бергер молчал.

— Человек, которого вы хотите подменить, собирается бежать?

— Нет. Мы просто хотим его уберечь вот от этого. — Бергер показал пальцем на крючья в стене.

— Политический заключенный?

— Да.

Дрейер плотно сомкнул глаза.

— А если нагрянет строгий контроль и его найдут? Что тогда?

— Бараки переполнены. Его не найдут.

— Его опознают, если он известный политический заключенный.

— Его не знают в лицо. У нас в Малом лагере мы все похожи: мало чем отличаемся друг от друга.

— Староста вашего блока в курсе дела?

— Да, — слукавил Бергер. — Иначе все это было бы невозможно.

— Вы связаны с канцелярией?

— У нас везде связи.

— У вашего человека вытатуирован номер?

— Нет.

— А как же тогда вещи?

— Я точно знаю, какие вещи надо будет подменить. Я их уже отложил в сторону.

Дрейер посмотрел на дверь.

— Тогда начинай! Давай! Быстрей, а то кто-нибудь придет.

Он приоткрыл дверь и прислушался. Бергер прополз между трупами и обыскал их. В последний момент ему пришло в голову еще кое-что. Он решил проделать двойную подмену. Таким образом он хотел запутать Дрейера, чтобы тот никогда не установил имя Пятьсот девятого.

— Быстрей, черт возьми! — ругался Дрейер. — Что ты там копаешься?

С третьим трупом Бергеру повезло; он был из

Малого лагеря и не имел никаких отметок на теле. Он сорвал с него куртку, вытащил из-под своей куртки спрятанные пронумерованные куртку и штаны Пятьсот девятого и надел их на покойника. Потом бросил вещи умершего в вещевую кучу и вытащил из-под нее куртку и штаны, которые отложил раньше. Он намотал эти вещи вокруг бедер, стянул их ремнем и снова надел поверх свою куртку.

— Готово.

Бергер тяжело дышал. Перед ним на стенах мелькали черные пятна. Дрейер повернулся к нему спиной.

— Все в порядке?

— Да.

— Хорошо. Значит, я ничего не видел и ничего не знаю. Я был в сортире. Все, что здесь произошло, устроил ты. Я ничего не знаю, понял?

— Да.

Лифт, в котором лежали голые трупы, пошел вверх, потом вернулся пустой.

— Я сейчас схожу за теми тремя снаружи, они будут грузить, — сказал Дрейер. — А ты побудешь здесь один. Понятно?

— Понятно, — ответил Бергер.

— А список…

— Я принесу его завтра. Или могу его порвать.

— Тебе можно верить?

— Безусловно.

Дрейер на миг задумался.

— Теперь ты в этом замазан, — произнес он. — Даже больше, чем я. Или нет?

— Значительно больше.

— Но если что-нибудь станет известно…

— Я не разговариваю. У меня есть яд. Я не буду ни о чем говорить.

— Видимо, у вас действительно все есть. — На лице Дрейера изобразилось нечто вроде вынужденного уважения. — Я этого не знал.

«Иначе пришлось бы зорче следить, — подумал он. — Эти проклятые трехчетвертные покойники! Даже этим нельзя было верить».

— А ну, начинайте грузить лифт! — сказал он, собираясь уйти.

— Здесь вот кое-что, — проговорил Бергер. — Что?

Бергер вынул из кармана пять марок и положил их на стол. Дрейер взял их себе.

— Хоть что-то за риск…

— На следующей неделе будут еще пять марок…

— Это за что?

— Ни за что. Просто еще пять марок вот за это здесь.

— Ладно, — Дрейер поморщился, но сразу сбросил с себя секундное оцепенение; фурункул противно ныл. — В конце концов, все мы люди, — сказал он. — Все стараемся помочь товарищу.

Он ушел. Бергер прислонился к стене. У него кружись голова. Все получилось лучше, чем он ожидал. Но он не тешил себя иллюзиями; он знал, что Дрейер размышляет о том, как бы отделаться от него. Пока его удерживают угрозы подпольного движения и обещанные еще пять марок. Дрейер будет ждать, пока их не получит. На уголовников можно положиться в том смысле, что они свою выгоду не упустят; этот урок ветеранам преподнес Хандке. Деньги достали Левинский и его группа. Они будут продолжать оказывать помощь. Бергер ощущал натянутую на себя куртку. Она плотно обтягивала его тело. И не привлекала к себе внимание. Он был очень худ, поэтому собственная куртка даже сейчас свободно висела на нем. У него было сухо во рту. Труп с подделанным номером лежал перед ним. Бергер подтащил из кучи еще один труп и положил рядом с «поддельным» покойником. В тот же момент через отверстие влетел новичок. Работа

возобновилась.

Появился Дрейер с тремя заключенными. Он бросил взгляд на Бергера.

— А ты что здесь делаешь? Почему ты не там? — гаркнул он.

Это было алиби. Трое других должны были удостовериться в том, что Бергер был внизу один.

— Мне надо было выдернуть еще один зуб, — сказал Бергер.

— Ерунда! Ты должен делать то, что тебе приказывают. А то здесь может случиться Бог знает что.

Дрейер церемонно уселся за стол со списками.

— Продолжайте! — скомандовал он.

Вскоре подошел Шульте. У него был с собой томик Книгге «Общение с людьми», который он и стал читать.

С покойников продолжали снимать одежду. Третьим по счету был человек в чужой куртке. Бергер устроил все таким образом, чтобы его раздевали трое из выделенных помощников. Он услышал, как назвали номер пятьсот девять. Шульте не поднял глаз. Он продолжал читать классическую книгу по этикету о правилах, как надо есть рыбу и крабов. Он ожидал в мае приглашения родителей своей невесты и поэтому

хотел быть во всеоружии. Дрейер равнодушно записывал анкетные данные, сравнивая их с рапортами из блоков. Четвертый покойник тоже был политическим заключенным. Бергер выкрикнул его сам. Он назвал номер чуть громче, заметив, что Дрейер поднял взгляд. Он поднес вещи покойника к столу. Дрейер посмотрел на него. Бергер сделал знак глазами. Потом он взял щипцы и карманный фонарик и склонился над трупом. Бергер добился, чего хотел. Дрейер считал, что имя четвертого принадлежит еще живому, которого подменили, а не третьему по счету. Так Дрейер был сбит со следа и при всем желании уже не смог бы ничего сказать.

Открылась дверь и вошел Штейнбреннер. За ним следовали Бройер, надзиратель бункера, и шарфюрер Ниман. Штейнбреннер с улыбкой глянул на Шульте.

— Нам приказано тебя сменить, если все трупы зарегистрированы. Приказ Вебера.

Шульте захлопнул свою книгу.

— Все готово? — спросил он Дрейера. — Осталось еще четыре трупа.

— Хорошо, заканчивайте.

Штейнбреннер прижался к стене, на которой были царапины, оставленные в судорогах пове-

шенными.

— Только поживее. Хотя у нас есть время. Тогда пятерых, оставленных наверху, вы спустите через шахту. У нас для них есть сюрприз.

— Да, — проговорил Бройер. — Сегодня у меня день рождения.

— Кто из вас Пятьсот девятый? — спросил Гольдштейн.

— А что?

— Меня сюда перевели.

Был вечер, и Гольдштейн транспортом в составе двенадцати других прибыл в Малый лагерь.

— Я от Левинского, — сказал он Бергеру.

— Ты в нашем бараке?

— Нет. В двадцать первом. В спешке так получилось. Потом можно будет поправить. Мне самое время было уйти. А где Пятьсот девятый?

— Его больше нет. — Гольдштейн поднял глаза.

— Умер или прячется?

Бергер заколебался.

— Ему можно доверять, — сказал Пятьсот девятый, сидевший рядом. — Левинский говорил о нем, когда в последний раз был здесь. Теперь меня зовут Флорман. Что нового? Мы уже давно о вас ничего не слыхали.

— Давно?

— Два дня…

— Значит, давно.

— Ну, так что нового?

— Поди сюда. Здесь нас никто не подслушает.

Они отсели от других в сторону.

— Минувшей ночью нам в шестом блоке удалось поймать по нашему приемнику новости. Британские. Было много помех. Но одно мы уловили четко. Русские уже обстреливают Берлин.

— Берлин?

— Да…

— А американцы и англичане?

— Мы поймали не самые последние новости. Было много помех и нам пришлось проявлять осторожность. Рурская область в кольце, они прошли уже далеко за Рейн. Это точно.

Пятьсот девятый неотрывно смотрел на колючую проволоку, за которой под тяжелыми дождевыми облаками светилась полоса вечернего заката.

— Как медленно все это тянется…

— Медленно? Ты это называешь медленно? За один год германские армии отогнаны от России до Берлина и от Африки до Рура. А ты говоришь, медленно!

Пятьсот девятый покачал головой.

— Я другое имею в виду. Медленно — с этой колокольни. Для нас. Не понимаешь? Я здесь уже много лет, но эта весна, по-моему, тянется медленнее всех других. Она медленно наступает, поэтому так трудно ждать.

— Я понимаю, — улыбнулся Гольдштейн. На сером лице зубы были, как из мела. — Это мне знакомо. Особенно ночью. Когда не спится и не хватает воздуха, — Его глаза больше не светились улыбкой. Они стали невыразительными и бесцветными. — Чертовски медленно, если ты это так воспринимаешь.

— Да, именно это я имею в виду. Несколько недель назад мы еще ничего не знали. А теперь кажется, что все идет медленно. Странно, как все меняется, когда есть надежда. Тогда и живешь ожиданием. И испытываешь страх, что тебя еще схватят.

Пятьсот девятый подумал о Хандке. Над ним все еще витала угроза. Операция по подмене была бы в два раза проще, если бы Хандке не знал Пятьсот девятого в лицо. Тогда Пятьсот девятый был бы просто умершим, обозначенным под номером 509. Теперь он, все еще находясь в Малом лагере, официально уже считался мертвым под именем

Флорман. На другой исход трудно было рассчитывать. Успехом можно было считать уже то, что согласился участвовать староста блока двадцатого барака, в котором умер Флорман. Пятьсот девятому надо было проявлять осторожность, чтобы не попасться Хандке па глаза. И еще, чтобы его не предал кто-нибудь другой. Кроме того, оставался Вебер, который мог узнать его в случае неожиданной проверки.

— Ты прибыл один? — спросил Пятьсот девятый.

— Нет. Вместе со мной прислали еще двоих.

— Будет кто-нибудь еще?

— Вероятно. Но не официально переводом. Там мы спрятали не меньше пятидесяти-шестидесяти человек.

— Где это вам удается спрятать столько?

— Они каждую ночь кочуют по баракам. Спят в других местах.

— А если СС им прикажет явиться к воротам? Или в канцелярию?

— Тогда они просто не явятся.

— Это как?

— Не явятся, — повторил Гольдштейн. Он увидел, как выпрямился удивленный Пятьсот девятый. — Эсэсовцы потеряли четкую ори-

ентацию, — объяснил он. — На протяжении нескольких недель неразбериха с каждым днем нарастает. Со своей стороны, мы как могли способствовали этому. Люди, которых разыскивают, якобы всегда работают в коммандос или же их просто нет на месте, и все тут.

— А эсэсовцы? Они что, не занимаются их поимкой? — У Гольдштейна заблестели зубы.

— Теперь уже без особой охоты. Или же группами и при оружии. Угрозу представляет лишь группа, в которой Ниман, Бройер и Штейнбреннер.

Пятьсот девятый на мгновение задумался. Только что услышанное казалось ему невероятным.

— И с каких пор это так? — спросил он.

— Уже примерно неделю. Каждый день что-нибудь новое.

— Ты хочешь сказать, эсэсовцы стали бояться?

— Да. Они вдруг почувствовали, что нас тысячи. К тому же они понимают, какие на войне события.

— Так вы перестали подчиняться, что ли? — Пятьсот девятый никак не мог переварить услышанное.

— Мы, конечно, подчиняемся. Но делаем все формально, не спеша и по возможности саботи-

руем. Тем не менее СС отлавливает достаточно многих. Всех спасти нам не удается.

Гольдштейн встал.

— Мне надо поискать место, где переночевать.

— Если ничего не найдешь, спроси Бергера.

— Ладно.

Пятьсот девятый лежал около груды трупов между бараками. Груда была выше обычного. Накануне вечером не выдали хлеба. Это сразу же отразилось через день на количестве умерших. Пятьсот девятый лежал вплотную к этой груде мертвецов, чтобы спрятаться от сырого холодного ветра.

«Они прикрывали меня, — подумал он. — Прикрывают даже от крематория и еще дольше. Где-то сырой холодный ветер разносил дым от праха Флормана, чье имя я теперь ношу. От него осталось только несколько обгоревших костей, которые на мельнице превратятся в косную муку. Но имя, нечто самое аморфное и малозначительное, осталось и превратилось в щит для другой жизни, бросившей вызов погибели».

Он слышал, как кряхтели и дергались сваленные в кучу мертвецы. В них еще не совсем угасли ткани и соки. Теперь к ним подкрадывалась химическая смерть — она расщепляла их, отравляла

газами, готовила к распаду; и как призрачный рефлекс улетучивающейся жизни еще подергивались, надувались и опадали животы, мертвецкие рты выталкивали воздух, а из глаз, словно запоздалые слезы, струилась мутная жидкость.

Пятьсот девятый повел плечами. На нем была фирменная венгерка гонведских гусар. Это была одна из самых теплых вещей в бараке, ее по очереди надевали те, кто проводил ночь под открытым небом. Он разглядывал отвороты, которые матовым светом отражались в темноте. В этом была заложена определенная ирония: именно сейчас, когда он снова вспоминал свое прошлое и самого себя, когда он не хотел больше быть только номером, ему пришлось жить под номером умершего да еще лежать ночью в гусарской венгерке.

Стало зябко, и он спрятал ладони в рукава. Он мог бы зайти в барак, чтобы поспать пару часов в этом тепловатом смраде, но он этого не сделал. У него было слишком неспокойно на душе. Он предпочел сидеть и мерзнуть, и неотрывно глядеть в небо, и ждать, не зная, что уж там такое должно произойти ночью, чего он так напряженно ждет. Он подумал, это как раз то, что сводит с ума. Ожидание беззвучно висело над лагерем, впитывая в себя, все надежды и все страхи. «Я

жду, — размышлял он, — а Хандке и Вебер гонятся за мной; Гольдштейн ждет, а его сердце постоянно останавливается; Бергер ждет и боится, что его ликвидируют с крематорской командой еще до нашего освобождения; все мы ждем и не знаем, а вдруг в последний момент отправят транспортом в лагерь смерти».

— Пятьсот девятый, — проговорил Агасфер из темноты. — Ты здесь?

— Да, здесь. В чем дело?

— Овчарка сдохла. — Агасфер на ощупь приблизился к нему.

— Она ведь, не болела, — сказал Пятьсот девятый.

— Нет. Спала и не проснулась.

— Помочь тебе ее вынести?

— В этом нет необходимости. Я был с ней на дворе. Она там лежит. Мне просто хотелось кому-то об этом сказать.

— Вот так, старик.

— Вот так, Пятьсот девятый.

XVII

Транспорт прибыл неожиданно. Железнодорожное сообщение города с Западом на несколько дней было прервано. После ремонта с одним из первых поездов прибыло несколько крытых товарных вагонов. Их пунктом назначения был лагерь смерти. Однако в результате ночного авианалета железнодорожное сообщение вновь было нарушено. Состав простоял целый день, затем его направили в лагерь Меллерн.

Это были сплошь евреи — евреи со всей Европы: польские и венгерские, румынские и чешские, русские и греческие. Евреи из Югославии, Голландии и Болгарии даже несколько из Люксембурга. Они говорили на дюжине разных языков и большинство едва понимали друг друга. Казалось, что даже идиш не объединяет их, разъединяет. Их было две тысячи, теперь же осталось только пятьсот. Несколько сот лежали мертвые в товарных вагонах. Нойбауэр был вне себя от ярости.

— Куда нам их девать? Лагерь и так переполнен! Кроме того, их переправили к нам неофициально! Мы не имеем к ним никакого отношения!

Все это какая-то дикая неразбериха! Никакого порядка! И что происходит вокруг?

Он ходил, взад и вперед по своему кабинету. Ко всем его личным заботам добавилось еще это. Его чиновничья кровь бурлила. Нойбауэр не понимал, чего ради так возиться с людьми, обреченными на смерть. Разъяренный, он выглянул в окно.

— Как цыгане со всем своим скарбом расположились здесь перед воротами! Мы что, на Балканах или все-таки в Германии? Может, вы понимаете, что здесь происходит, Вебер? Я лично нет.

Вебер был само равнодушие.

— Наверно, скомандовало какое-нибудь начальство сверху, — проговорил он. — Иначе бы их здесь не было.

— В том-то и дело! Какое-то вокзальное начальство там внизу. Меня не спросили. Меня заранее даже не поставили в известность. Уж не говоря о заведенном в таких случаях порядке. Видимо, этого вообще больше нет! Каждый день возникают новые учреждения. Это вот вокзальное утверждает, что люди слишком громко шумят. Это, мол, производит дурное впечатление на гражданское население. А мы к этому какое имеем отношение?

Наши-то люди не шумят!

Он посмотрел на Вебера. Тот небрежно прислонился к двери.

— Вы уже говорили об этом с Дитцем? — спросил он.

— Нет, еще нет. Вы правы, я сейчас это сделаю!

Нойбауэр попросил, чтобы его соединили и поговорил некоторое время. Потом он положил телефонную трубку и успокоился.

— Дитц говорит, они проведут здесь только одну ночь. Все вместе в одном блоке. Распределять их по баракам не надо. В общем, никакой регистрации. Просто впустить их и обеспечить охрану. Завтра их отправят куда-то еще. До того времени железнодорожная линия будет уже восстановлена. — Он снова выглянул в окно. — Только где их нам размещать? Все переполнено.

— Можно на плацу для переклички.

— Плац для переклички потребуется рано утром для коммандос. Это вызовет только сумятицу. Кроме того, выходцы с Балкан его полностью загадят. Так не пойдет.

— Можно согнать их на плац для переклички Малого лагеря. Там они никому не будут мешать.

— Там достаточно места?

— Да. Только всех наших людей надо будет

рассовать по баракам. До сих пор некоторые из них спят снаружи.

— Почему? Разве бараки настолько переполнены?

— Это как смотреть на вещи. Ведь людей можно натолкать как сардины. Даже друг на друга.

— Одну ночь-то перетерпят.

— Ничего не случится. Никто из Малого лагеря не захочет попасть в транспорт. — Вебер рассмеялся. — Они будут шарахаться от них как от холеры.

Нойбауэр изобразил подобие улыбки. Ему понравилось, что его узники хотели остаться в лагере.

— Надо будет выставить охрану, — сказал он. — А то новички растворятся в бараках и возникнет страшная неразбериха.

Вебер покачал головой.

— И об этом постоянно живущие в бараках уже сами позаботятся. Они здорово побаиваются, что иначе для полноты транспорта мы отправим завтра часть из них.

— Ладно. Назначьте охранниками некоторых наших людей, выделите достаточное количество дежурных и лагерных полицейских. И перекройте бараки в Малом лагере. Мы не можем

включать прожектора для охраны транспорта.

Казалось, что в сумерках опустилась на землю целая туча крупных усталых птиц, уже неспособных лететь. Они шли покачиваясь от изнеможения и, если кто-нибудь падал, тяжело перешагивали, почти не глядя на упавшего.

— Закрыть двери бараков! — скомандовал шарфюрер СС, перекрывавший Малый лагерь. — Всем оставаться внутри. Кто выйдет наружу, будет расстрелян!

Толпу согнали на плац между бараками. Она растеклась по сторонам, одни падали, другие подсаживались к ним, образуя в этом беспокойном море островок, который становился все больше, и вот они уже лежали на земле, и вечер опускался на них, как дождь из пепла.

Они лежали и спали; но их голоса не молчали. Причудливые и пронзительные, они то и дело вырывались из сновидений и придавленного страхом сна, выпархивали, словно птицы при резком пробуждении. Иногда эти голоса сливались в протяжное стенание, которое такими же однообразными восходящими и нисходящими стонами накатывалось на бараки, как море бедствия на непоколебимые ковчеги безопасности.

Это не утихало в бараках всю ночь напролет.

Оно рвало душу, и уже в первые часы люди пришли в дикое состояние. Они подняли крик, и когда его услышала толпа снаружи, ее стенание тоже стало еще пронзительнее, что, в свою очередь, делало крики внутри бараков еще более невыносимыми. Это напоминало какое-то зловещее средневековое причитание, продолжавшееся до тех пор, пока снаружи по барачным стенам не загрохотали приклады и не прогремели выстрелы, после чего раздалось глухое шуршание дубинок по телам, перемежавшееся с более резкими звуками, когда дубинки натыкались на черепа.

Потом стало тише. На голосивших в бараках накинулись собственные товарищи, потребовав, чтобы они замолчали. Толпу снаружи наконец свалил сон изнеможения, который подействовал на людей сильнее, чем дубинки. Удары дубинок они уже почти не воспринимали. Временами снова поднималось стенание; оно было не таким громким, как прежде, но никогда не прекращалось полностью.

Ветераны долго прислушивались. Они прислушивались и с ужасом трепетали от мысли, что с ними случится то же самое. Внешне они мало чем отличались от находившихся снаружи людей из транспорта, но даже в привезенных из

Польши бараках смерти, пребывая между смрадом и гибелью, плотно сжатые со всех сторон и лежа друг на друге; под иероглифами, которые выцарапали умирающие на стене, и страдая от невозможности сходить в сортир, они тем не менее чувствовали себя защищенными, словно у них имелось какое-никакое жилище и им была гарантирована безопасность по сравнению с той безбрежной чужой болью снаружи — казалось, что все это более чудовищно, нежели многое из пережитого ранее…

Они проснулись утром от тихого чужого многоголосья. Было еще темно. Стенание прекратилось. Зато теперь кто-то царапался о барачные стены. Казалось, что сотни крыс пытаются прогрызть стены, чтобы пролезть вовнутрь. Поначалу незаметное и едва слышное царапание перешло в осторожное постукивание по входной двери и по стенам, а потом в бормотание, почти льстивую мольбу, в какой-то монотонный причет, слагавшийся из надорванного, чужого разноголосья, в котором сквозило последнее отчаяние — они просили впустить их в барак.

Они умоляли ковчег о спасении перед потопом. Голоса звучали тихо и покорно; люди уже не кричали, а только просили, поглаживая бревна

барачных стен. Они лежали перед бараком, царапали пальцами и ногтями, и их угасавшие глухие голоса растворялись в предрассветных сумерках.

— Что они говорят? — спросил Бухер.

— Ради их матерей просят нас впустить их в барак. Ради их матерей просят нас впустить их в барак, ради их… — осекся Агасфер и заплакал.

— Но мы ведь не можем, — проговорил Бергер.

— Да, я знаю…

Час спустя отдали приказ готовиться к маршу. Около барака гремели команды. В ответ раздавалось громкое стенание. Последовали другие команды, оглушительные и озлобленные.

— Ты что-нибудь улавливаешь, Бухер? — спросил Бергер.

Они сидели на корточках перед маленьким окошком на самых верхних нарах.

— Да. Они отказываются. Они не хотят.

— Встать! — раздался крик снаружи. — Стройся. Стройся для переклички!

Евреи встать отказались. Они продолжали лежать на земле. Со страхом в глазах они посматривали на охранников или прикрывали лица руками.

— Встать! — орал Хандке. — А ну, живо! Подымайтесь, сволочи вонючие! Мы что, еще должны

вас будить? А ну, вон отсюда!

Попытка растолкать лежащих оказалась безуспешной. Пятьсот тварей, которыми другие нравы при совершенении богослужения воспринимались как палачество, были низведены до того, что уже за гранью человеческого перестали реагировать на окрики, проклятия и избиения. Они продолжали лежать, пытались обнять землю, вцепившись в нее — эта злосчастная, провонявшая земля концентрационного лагеря казалась им желанным раем, обещавшим спасение. Они знали, куда их собирались отправить. Пока эти люди находились в составе транспорта и в движении, они тупо следовали предписанному маршруту. Но теперь, остановившись для короткого отдыха, они столь же тупо отказывались продолжить движение.

Надзиравшие были в нерешительности. Им приказали в людей не стрелять, но это оказалось весьма проблематичным. У приказа не было иного основания, кроме привычного бюрократического: лагерь не фигурировал как пункт назначения для этого транспорта, поэтому он должен был по возможности в том же количестве покинуть лагерь.

Эсэсовцев стало больше. Из окна двадцатого

барака Пятьсот девятый увидел, что появился Вебер в своих начищенных до блеска элегантных сапогах. Он остановился у входа в Малый лагерь и отдал приказ. Эсэсовцы прицелились и выстрелили вплотную над лежавшими. Вебер, положив руки на бедра и широко расставив ноги, стоял и думал, что после выстрелов евреи вскочат с земли.

Но этого не произошло. Они презирали всякую угрозу. Они не желали, чтобы их куда-то угоняли. Даже если бы в них стали стрелять, они, наверно, едва ли стронулись с места.

Лицо Вебера побледнело.

— Заставить их подняться! — кричал он. — Бейте их до тех пор, пока не поднимутся. По ногам, по пяткам!

Надзиратели кинулись в толпу. Они стали избивать дубинками и кулаками, пинать ногами в живот и пах; они хватали людей за волосы и бороды, стараясь поставить на ноги; но люди снова падали, словно у них не было костей.

Бухер выглянул из окна.

— Ты только посмотри, — прошептал Бергер. — А избивают не только эсэсовцы. И здесь не только зеленые. Не только уголовники. Тут и наш брат! Узники, как и мы, ставшие специальными дежур-

ными и полицейскими. Они избивают на манер своих учителей. — Он тер свои воспаленные глаза, словно желая выдавить их из глазниц.

Вплотную к бараку стоял старик с седой бородой. Вытекавшая из его рта кровь медленно окрашивала бороду в красный цвет.

— Отойдите от окна, — сказал Агасфер. — Если они увидят, вас тоже заберут.

— Нас не увидят.

Окно было грязное и глухое, поэтому снаружи не было видно, что происходит в глубине помещения. А изнутри видно было достаточно много.

— Не надо за этим наблюдать, — сказал Агасфер. — Это — грех, если никто тебя к этому не принуждает.

— Это не грех, — ответил Бухер. — Мы этого никогда не забудем. Вот мы и смотрим.

— Разве вы не насмотрелись этого здесь в лагере? — Бухер молчал. Он продолжал разглядывать происходящее из окна.

Постепенно ярость происходившего на плацу иссякла. Надзирателям пришлось бы оттаскивать каждого в отдельности. Им понадобилась бы для этого тысяча людей. Иногда они за раз оттаскивали на дорогу десять-двадцать евреев. Но не более. Если их оказывалось больше, они

с трудом продирались сквозь ряды охранников и сразу же возвращались к огромной темной подергивавшейся груде тел.

— А вот и сам Нойбауэр, — заметил Бергер. Он приблизился к Веберу и заговорил с ним.

— Они не желают отсюда уходить, — сказал Вебер, чуть более взволнованный, чем обычно. — Их можно перестрелять. Они словно приросли к земле.

Нойбауэр выпустил густое облако дыма. Над плацем висел тяжелый смрад.

— Черт возьми! И зачем их только сюда прислали! Вместо того чтобы гонять их по всей стране в поисках крематория, можно было пустить их в расход там же, где они были. Хотелось бы знать, что тут за причина?

Вебер пожал плечами.

— Причина в том, что даже у самого вонючего еврея есть тело. Пятьсот трупов. Убить легко. Значительно сложнее ликвидировать трупы. А там их было две тысячи.

— Чепуха! Почти во всех лагерях, как и в нашем, есть крематории.

— Так-то оно так. Да вот по нашим временам крематории работают слишком медленно. Особенно когда лагерь приходится срочно лик-

видировать.

Нойбауэр выплюнул табачный лист.

— И все же я не понимаю, чего ради их гнали в такую даль.

— Опять все дело в трупах. Нашим властям не нравится, когда наталкиваются на слишком много трупов. И только крематории до сих пор проворачивали это таким образом, чтобы число трупов впоследствии нельзя было проверить. К сожалению, при огромном спросе они работают все еще чересчур медленно. Нет действительно современного средства, чтобы быстро отделаться от большого количества трупов. Еще долго затем можно вскрывать массовые захоронения, чтобы выдумывать всякие там небылицы. Такое было в Польше и в России.

— А почему бы эту сволочь просто-напросто при отступлении… — Нойбауэр сразу поправился — Я имею в виду не оставить там, где она была, при стратегическом спрямлении линии обороны? Они ведь больше уже ни для чего не годятся. А может, лучше оставить эту сволочь американцам или русским, чтобы их осчастливить.

— Тут опять все упрется в трупы — возразил терпеливо слушавший Вебер. — Дело в том, что при американской армии полно журналистов

и фотографов. Фотографий понаделают да еще утверждать станут, что люди были изможденны.

Нойбауэр вынул сигару изо рта и пристально посмотрел на Вебера. Он никак не мог понять, потешается над ним начальник лагеря или нет. Как Нойбауэр ни старался, ему никак не удавалось разгадать эту загадку. Вебер скорчил привычную гримасу.

— Как это изволите понимать? — спросил Нойбауэр. — Что вы имеете в виду? Ясное дело, что они изможденны, а как же еще?

— Все это выдумки, измышления иностранной прессы. Министерство пропаганды ежедневно предупреждает об этом.

Нойбауэр все еще не сводил взгляд с Вебера. «Собственно говоря, я его совсем не знаю — подумалось ему. — Он всегда делал то, что я хотел, однако фактически я ничего о нем не знаю. И я не удивлюсь, если однажды он вдруг рассмеется мне прямо в лицо. Мне и, наверно, даже самому фюреру. Ландскнехт, лишенный настоящего мировоззрения! И партия в его глазах ничто. Она для него так, между прочим».

— Знаете, Вебер, — начал было он и осекся. Видно, не имело смысла затевать серьезный разговор. На какое-то мгновение им овладел страх. — Ко-

нечно, люди изможденны, — проговорил он. — Но в этом нет нашей вины. Ведь противник со своей блокадой толкает нас к этому. Или это не так?

Вебер поднял голову. Он не поверил своим ушам. Нойбауэр напряженно разглядывал его,

— Разумеется, — ответил спокойно Вебер. — Так оно и есть. Противник со своей блокадой.

Нойбауэр кивнул. Его страх снова улетучился. Он окинул взглядом плац для переклички.

— Откровенно говоря, — произнес он почти доверительным тоном, — лагеря все еще сильно отличаются друг от друга. Наши люди выглядят несравненно лучше чем те там, — даже в Малом лагере. Вы не находите?

— Да, — ответил озадаченный Вебер.

— Это бросается в глаза, когда начинаешь сравнивать Мы, без сомнения, один из самых гуманных лагерей во всем рейхе. — Нойбауэр ощутил чувство приятного облегчения. — Конечно, люди умирают. И немало. В такие времена это неизбежно. Но все мы люди. Кто на это уже не способен, тому вряд ли стоит работать у нас. Ну где по-другому обходятся с предателями и с врагами государства?

— Да практически нигде.

— В том-то и дело. Изможденны? Разве мы в этом

виноваты? Я говорю вам, Вебер… — у Нойбауэра вдруг мелькнула мысль. — Послушайте, я знаю, как выкурить людей отсюда. Догадываетесь, как? С помощью еды!

Вебер ухмыльнулся. Иногда старик действительно спускался с облаков своих фантазий.

— Прекрасная идея! — заявил он. — Если от дубинок нет толку, еда поможет. Это уж точно. Но у нас нет дополнительных порций.

— Что ж. Тогда пусть заключенные откажутся от положенного им пайка. Пусть проявят товарищескую солидарность. Получат немного меньше на обед. — Нойбауэр раздвинул плечи. — Они здесь понимают по-немецки?

— Может быть, кое-кто.

— Есть переводчик?

Вебер спросил кое-кого из охранников. Они подвели к нему троих.

Трое толмачей стояли рядом. Нойбауэр сделал шаг вперед.

— Люди! — проговорил он с достоинством. — Вас неправильно проинформировали. Вас отправят в лагерь для отдыха.

— А ну, давай! — Вебер подтолкнул вперед одного из трех.

Они стали произносить какие-то непонятные

звуки. Никто на плацу не пошевельнулся. Нойбауэр повторил сказанное.

— Сейчас вы отправитесь на кухню, — добавил он. — Выпьете кофе и поедите!

Толмачи что-то бубнили. В ответ никто не шелохнулся. Никто этому не верил. Каждый из них уже часто был свидетелем того, как подобным образом исчезают люди. Еда и купание были опасными обещаниями.

Нойбауэр начал злиться.

— Кухня! А ну, шагом марш на кухню! Еда! Кофе! Поесть и выпить кофе! Суп!

Охранники с дубинками набросились на толпу.

— Суп! — Каждое слово сопровождалось ударом дубинкой.

— Стой! — орал разозлившийся Нойбауэр. — Черт возьми! Кто вам приказал начать избиение?

Надзиратели отскочили назад.

— А ну, прочь отсюда! — кричал Нойбауэр.

В один миг люди с дубинками вдруг снова стали заключенными. Прячась друг за друга, они незаметно прокрались на край плаца.

— Они ведь их искалечат, — ворчал Нойбауэр. — Возись потом с ними.

Вебер кивнул.

— При разгрузке на вокзале нам и без того пришлось набить несколько машин мертвецами, чтобы сжечь их в печах крематория.

— И где же они?

— Свалили в кучу у крематория. А у нас самих угля не хватает. Наш запас ох как нам нужен для собственных людей.

— Черт возьми, как же нам от них избавиться?

— Люди в панике. Они перестали понимать, что говорят. Но, может быть, когда они это понюхают…

— Понюхают?

— Еду понюхают. Понюхают или увидят.

— Вы хотите сказать, когда мы притащим сюда котел с пищей.

— Именно так. Какой толк что-нибудь обещать этим людям. Они должны это увидеть и понюхать.

Нойбауэр кивнул.

— Очень может быть. Недавно мы как раз получили партию перевозных котлов. Пусть притащат сюда один или два. Один с кофе. Еду уже привезли?

— Еще нет. Но один полный котел, наверно, можно будет найти. По-моему, со вчерашнего

вечера.

Подвезли котлы. Они стояли примерно в двухстах метрах от толпы на улице.

— Везите один в Малый лагерь, — скомандовал Вебер. — И снимите крышку. Потом, когда они подойдут, медленно увезите его снова сюда. Мы должны сдвинуть их с места, — сказал он Нойбауэру. — Как только они освободят плац для перекличек, не составит труда вытеснить их отсюда. Это всегда так. Они желают остаться на том месте, где они спали, потому что здесь с ними ничего не случилось. Для них это своего рода безопасность. Всего остального они боятся. Но как только сошли с места, уже не останавливаются. Пока подвезите только кофе, — скомандовал он. — И не увозите. Раздайте его вон там.

Бак с кофе подтащили к самой толпе. Один из специально назначенных дежурных зачерпнул половником и выплеснул кофе ближе всех стоявшему прямо на голову. Им оказался старик, у которого поседевшая борода была перемазана кровью. Кофейный отвар скатился с лица, окрасив бороду теперь уже в коричневый цвет. Это было ее третье превращение.

Старик поднял голову и облизал капли. В воздухе замелькали его руки, похожие на когти.

Дежурный поднес половник с остатком отвара ко рту старика.

— На, жри кофе!

Старик раскрыл рот. Желваки на шее судорожно заработали. Обхватив ладонями половник, он глотал и глотал, весь растворившись в глотательных движениях и громком чавканье. Его лицо подергивалось, он весь трясся, однако продолжал глотать. Это увидел находившийся с ним рядом. Потом еще один и еще. Они вскочили и стали тянуться губами и руками к половнику, пытаясь хоть как-нибудь повиснуть на нем в этом мелькании рук и голов.

— Эй! Черт возьми!

Дежурному никак не удавалось выхватить половник. Помогая ногами, он пытался вырвать половник из объятий толпы, осторожно бросая взгляды назад, где стоял Нойбауэр. Между тем вскочили и остальные, обступив бак с горячим кофейным отваром. Они пытались заглянуть в бак и зачерпнуть напиток своими тоненькими ладошками.

— Кофе! Кофе!

Дежурный почувствовал, что половник у него в руках.

— Соблюдать порядок! — прокричал он. — А

ну-ка, всем построиться! В шеренгу!

Но все было тщетно. Толпу уже невозможно было удержать. Она ничего не воспринимала. Она обнюхивала то, что можно было пить, и слепо штурмовала бак с кофейным отваром. Вебер оказался прав: там, где мозг переставал воспринимать, желудок правил бал.

— Теперь тележку медленно оттащите вон туда, — скомандовал Вебер.

Однако стало ясно, что это невозможно. Толпа кольцом обступила тележку. Один из надзирателей сделал удивленное лицо и стал медленно падать. Толпа дернула его за ноги. Лишенный опоры, он, как пловец, пытался махать руками вокруг себя, пока не повалился на землю.

— Образовать клин! — скомандовал Вебер.

Охранники и лагерные полицейские построились клином.

— Вперед, — кричал Вебер. — В направлении тележки с кофейным баком. Надо вырвать его у них!

Охранники проникли в самую гущу толпы. Они оттеснили людей в сторону. Им удалось образовать кордон вокруг тележки и столкнуть ее с места. Она была уже почти пуста. Плотно обступив тележку, они пытались вырвать ее

из людских объятий. Толпа не отступала. Люди старались просунуть ладони поверх плечей охранников и у них под руками.

Вдруг кто-то из стонущей людской массы увидел вторую, чуть поодаль стоящую тележку. Странно покачиваясь, он вприпрыжку устремился к ней. За ним последовали другие. Но здесь Вебер все предвидел. В окружении крепких охранников тележка медленно пошла вперед.

Толпа бросилась вдогонку. Рядом оказалось только несколько человек, которые гладили ладонями стенки кофейного бака, пытаясь облизать выступившие на нем капли. Отстало около тридцати, у них уже не было сил, чтобы оторваться от земли.

— Оттащите их после, — скомандовал Вебер. — А потом надо будет замкнуть цепь через улицу, чтобы они уже не смогли вернуться сюда.

На плацу осталось много человеческого дерьма. У Вебера был опыт. Он знал, что толпа попробует вернуться сюда, когда пройдет острое ощущение голода.

Охранники подгоняли отставших. Одновременно они тащили умирающих и мертвых. Умерло только семеро. В транспорте осталось пятьсот самых крепких.

У выхода из Малого лагеря на дорогу из толпы вырвалось несколько человек. Охранники, тащившие умирающих и мертвых, не могли за ними поспеть. Трое самых крепких побежали назад к баракам и дернули засовы. Дверь в двадцать второй барак раскрылась, и они вползли внутрь.

— Стой! — закричал Вебер, когда охранники попытались было последовать за ними. — Все сюда! Троих мы заберем позже. Внимание! Остальные возвращаются.

Толпа устремилась вниз по улице. Котел с едой оказался полностью вычерпанным, но когда началось было построение по группам, они вернулись обратно. Однако теперь они были уже не такие, как прежде. Прежде они казались единым монолитом, свободным от отчаяния, что придавало им какую-то тупую силу. Теперь же голод, еда и движение отбросили их в состояние отчаяния. В них снова поселился страх, сделав их дикими и слабыми, они перестали быть массой, они оказались расколотыми на множество индивидуумов, каждый со своим собственным остатком жизни, что сделало их легкой добычей. К тому же они не сидели больше на корточках, тесно прижавшись друг к другу. Они утратили свою силу. В мыслях у них снова были голод и

боль. Они стали покорными.

Часть из них оттеснили выше и там разъединили, другую — при возвращении; остальные стали легкой добычей Вебера и его людей. Они уже не били по головам, только по телам. Медленно формировались группы. Оглушенные, они строились в шеренги по четверо, вцепившись друг в друга руками, чтобы не упасть. Более крепкие обязательно брали под руку умирающего. Со стороны непосвященному могло показаться, что это идет в обнимку, пошатываясь, компания подвыпивших весельчаков. Потом некоторые вдруг запели. Подняв головы, они смотрели прямо перед собой, изо всех сил поддерживали других и пели. Их было немного, и пение их казалось жидковатым и отрывистым. Они прошли через ворота по большому плацу для перекличек мимо выстроившихся трудовых коммандос.

— Что это? Что они поют? — спросил Вернер.

— Это — песня мертвых.

Трое беглецов сидели на корточках в двадцать втором бараке. Они протолкнулись в барак, насколько смогли. Двое половину своего тела спрятали под кроватью, откуда далеко торчали их головы. Вылезавшие из-под кровати ноги дрожали. Дрожь пробегала по ним снова и снова.

Третий с бледным от страха лицом глядел на заключенных: «Спрятать, человек, человек». Он вновь и вновь повторял эти слова, тыча себя указательным пальцем в грудь. Других немецких слов он не знал.

Вебер рванул дверь.

— Где они?

Он стоял в дверях вместе с двумя охранниками.

— Долго еще ждать? Где они?

Все молчали.

— Староста помещения! — заорал Вебер. Бергер сделал шаг вперед.

— Двадцать второй барак, секции… — начал было он рапортовать.

— Заткни свою глотку! Где они?

У Бергера не было выбора. Он понимал, мгновение спустя беглецы будут найдены. Но он также понимал, что ни в коем случае нельзя допустить обыск барака. В нем прятались двое политических заключенных из трудового лагеря.

Он поднял руку, чтобы показать в каком углу, но один из надзирателей опередил его.

— Да вот же они! Под кроватью!

— А ну, вытаскивайте их оттуда!

Началась проверка всего помещения. Охран-

ники выдернули беглецов, как лягушек, за обе ноги из-под кровати. Цепляясь руками за стойку, они извивались в воздухе. Вебер наступил им на пальцы. Раздался хруст, и ладони поддались. Обоих вытащили из-под кровати. Они даже не кричали. Когда их волокли по грязному полу, они лишь тихо, но очень пронзительно стонали. Третий, тот, что с бледным лицом, встал сам и последовал за охранниками. Его глаза напоминали две черные дырки. Проходя мимо заключенных, он посмотрел на них. Они отвели взгляд.

Широко расставив ноги, Вебер стоял перед входом.

— Кто из вас, сволочи, открыл дверь? Все молчали.

— Всем выйти из барака! Они вышли. Там уже был Хандке.

— Староста блока! — громко крикнул Вебер. — Было приказано закрыть двери! Кто их открыл?

— Двери старые. Беглецы вырвали замок, господин штурмфюрер.

— Ерунда! Как это возможно? — Вебер наклонился над замком, который свободно раскачивался в прогнившей двери. — Немедленно вставить новый замок! Давно уже надо было сделать! Почему не позаботились об этом раньше?

— Двери никогда не запирались, господин штурмфюрер. В бараке нет уборной.

— Мне плевать. Чтобы все было сделано. — Вебер повернулся и зашагал вверх по дороге, сзади беглецов, которые больше не сопротивлялись.

Хандке обвел взглядом заключенных. Они стояли в ожидании того, что сейчас разразится гроза. Но этого не произошло.

— Болваны, — проговорил он. — А ну-ка, убрать все это дерьмо.

Обращаясь к Бергеру, он сказал:

— Наверно, детальная проверка барака не доставила бы вам большой радости, а?

Бергер молчал. Он спокойно посмотрел на Хандке. Тот усмехнулся.

— Считаете меня дураком, не так ли? А я знаю больше, чем ты думаешь. И я до вас доберусь! До всех! До всех задирающих нос политических идиотов, понимаешь?

Тяжело ступая, он последовал за Вебером. Бергер повернулся. У него за спиной стоял Гольдштейн.

— Что он имел в виду? Бергер пожал плечами.

— В любом случае нам надо немедленно сообщить Левинскому. И сегодня спрятать людей где-нибудь в другом месте. Может, в двадцатом

блоке. Пятьсот девятый все знает.

XVIII

Утром над лагерем опустилась густая пелена. Сторожевые башни с пулеметами и прилегающие к ним зеленые насаждения растворились в тумане. Поэтому какое-то время казалось, что от концентрационного лагеря не осталось и следа, словно туман превратил ограждение в мягкую обманчивую свободу и достаточно было сделать шаг вперед, чтобы убедиться, что их уже здесь больше нет.

Потом завыли сирены, и вскоре раздались первые взрывы. Они явились из какого-то аморфного небытия, лишенные направленности и происхождения. Эти взрывы без особой разницы могли произойти в воздухе, за горизонтом или в самом городе. Они были разбросаны, как раскаты грома многих приглушенных гроз, и по светло-серой ватной бесконечности чувствовалось, что никакой опасности в них нет.

Обитатели двадцать второго барака устало сидели на кроватях и в проходах. Они мало спали, и им было муторно от голода; накануне вечером дали только жидкий суп. Они почти не обращали

внимания на бомбардировку: уже привыкли. Бомбардировка тоже стала составной частью их существования. И все же мало кто был готов к тому, что вой вдруг резко усилится и выплеснется в необычайно мощных взрывах.

Барак заходил ходуном, как при землетрясении. На гулкий раскат грохота наложился звон разбитых оконных стекол.

— Они нас бомбят! Они нас бомбят! — кричал кто-то. — Выпустите меня! Выпустите меня отсюда!

Возникла паника. Одни кубарем скатились из постелей. Другие пытались сползти вниз, натыкаясь на тех, кто уже оказался на полу, в хаотическом переплетении человеческих тел. В воздухе безжизненно плавали чьи-то руки, кто-то по-мертвецки скалил челюсть, из глубоких глазниц смотрели перепуганные глаза. Таинственным казалось, что все вокруг происходило вроде бы беззвучно: грохот зениток и бомб теперь настолько усилился, что полностью заглушил шум внутри барака. Складывалось впечатление, что раскрытые рты кричат беззвучно, словно страх обрек их на вечную немоту.

Тут второй взрыв потряс землю. Паника вызвала в узниках суматоху и желание спасаться бег-

ством. Тот, кто еще был способен ходить, пытался протолкнуться в проходах, другие совершенно безучастно лежали на кроватях, уставившись на своих жестикулирующих товарищей, словно зрители в пантомиме, к которой они сами не имели никакого отношения.

— Закрыть дверь! — крикнул Бергер.

Но было уже поздно. Дверь распахнулась, и первая кучка скелетов, спотыкаясь, выскочила в туман. За ними последовали другие. Ветераны сидели на корточках в своем углу, стараясь, чтобы их не захватил этот поток.

— Оставаться здесь! — кричал Бергер. — Охранники будут стрелять!

Бегство продолжалось.

— Лечь на пол, — кричал Левинский. Несмотря на угрозы Хандке, он провел ночь в двадцать втором бараке. Здесь ему все еще казалось безопаснее. Накануне в трудовом лагере специальная группа в составе Штейнбреннера, Бройера и Нимана схватила четверых, фамилии которых начинались на «И» и «К», и увела в крематорий. Еще хорошо, что поиск носил бюрократический характер. Левинский решил не ждать, пока очередь дойдет до буквы «Л».

— Всем вытянуться на полу! — кричал он. —

Они будут стрелять!

— Уходим отсюда! Кто желает оставаться в этой мышеловке?

Снаружи уже доносилась пальба, слышалось завывание и грохот.

— Ну вот, начинается! Ложись! Вытянуться! Пулеметная стрельба еще опаснее, чем бомбы!

Левинский был не прав. После третьего взрыва пулеметы умолкли. Охранники спешно покинули вышки. Левинский подполз к двери.

— Опасность миновала! — крикнул он Бергеру. Эсэсовцы исчезли.

— Нам оставаться здесь?

— Нет. Это не поможет. Нас тут завалит и мы сгорим.

— Выходим! — крикнул Мейергоф. — Если заграждения из колючей проволоки разбомбило, можно сбежать!

— Заткнись, идиот! Они мгновенно схватят тебя в твоей робе и на месте расстреляют.

— Выходи давай!

Они стали пролезать через дверной порог.

— Держаться всем вместе! — кричал Левинский. Он схватил Мейергофа за куртку у груди. — Если будешь валять дурака, я собственными руками сломаю тебе шею, понятно? Идиот проклятый,

думаешь, мы вправе сейчас рисковать? — Он встряхнул его. — До тебя доходит? Или дать тебе хорошенько по башке?

— Оставь его, — сказал Бергер. — Ничего он не сделает. Для этого он слишком слаб. Я за ним посмотрю.

Они лежали около барака, совсем близко, чтобы видеть темные стены в еще кипящем тумане. Казалось, что стены клубятся от какого-то невидимого огня. Так они и лежали, прильнув к земле, словно придавленные мощными раскатами грома, в ожидании следующего взрыва.

Но его не последовало. Продолжала стрелять только зенитка. Скоро со стороны города уже не слышно было взрывов. Зато сквозь шум снова стала четко доноситься ружейная стрельба.

— Стреляют здесь, в лагере, — сказал Зульцбахер.

— Это эсэсовцы, — Лебенталь поднял голову. — Может, бомбы попали в казармы, и теперь уже нет ни Вебера, ни Нойбауэра.

— Размечтался, — среагировал Розен. — Редкий случай. Ведь в такой туман они не могли вести прицельный огонь. Наверно, все же зацепили несколько бараков.

— Где Левинский? — спросил Лебенталь. Бергер

осмотрелся.

— Не знаю. Несколько минут назад он еще был здесь. Может, ты знаешь, Мейергоф?

— Нет. И знать не желаю.

— Может, он ушел на разведку?

Они снова прислушались. Напряжение нарастало. Опять до них донеслось несколько ружейных выстрелов.

— Наверно, там кто-нибудь сбежал. Вот и гонятся за ними.

— Думаю, что нет.

Каждый знал, что тогда весь лагерь построили бы для переклички и держали бы на плацу до тех пор, пока беглецов не вернули бы живыми или мертвыми. Это означало бы гибель многих десятков узников и тщательный контроль всех бараков. Вот почему Левинский накричал на Мейергофа.

— А чего ради им сейчас еще сбегать? — спросил Агасфер.

— А почему бы нет? — ответил ему Мейергоф вопросом на вопрос. — Каждый день…

— Успокойся, — перебил его Бергер. — Ты воскрес из мертвых и от этого рехнулся. Вот и возомнил себя Самсоном. Да ты и на полкилометра не уйдешь.

— Наверно, Левинский сам дал деру. У него на то есть основание. Больше чем у кого-нибудь еще.

— Ерунда! Он не пойдет на это.

Зенитка замолчала. В тишине послышались команды и топот.

— Может, нам лучше вернуться в барак? — спросил Лебенталь.

— Верно. — Бергер встал. — Всем из отсека «Д» вернуться в помещение. Гольдштейн, проследи, чтобы ваши люди спрятались подальше в глубине барака. Хандке наверняка явится с минуты на минуту.

— Они, видимо, не попали в казармы эсэсовцев, — проговорил Лебенталь. — Этой банде всегда везет. А несколько сот наших наверняка разорвало в клочья.

— Может, американцы уже на подходе? — спросил кто-то в тумане. — Может, это уже была их артиллерия?

На миг все замолчали.

— Заткните вы свои глотки, — сказал, разозлившись, Лебенталь. — Накличите еще.

— Давайте заходите, кто еще способен ползать. Наверняка будет перекличка.

Они заползли обратно в барак. Снова возникло что-то вроде паники. Многие вдруг испугались,

что другие, более проворные, отнимут у них старые места, особенно у тех, за кем был закреплен кусочек дощатых нар. Они кричали хриплыми безжизненными голосами, падали, но все же пытались протолкнуться вперед. Барак все еще был наполнен, и места в нем хватало меньше чем для одной трети. Несмотря на все крики, часть заключенных осталась лежать снаружи. Из-за всех переживаний у них не осталось больше сил, чтобы вползти обратно. Охваченные паникой, они вместе с другими выбежали из барака, но теперь силы оставили их. Ветераны дотащили некоторых до барака и в тумане вдруг увидели, что двое умерли. Они истекли кровью: погибли от выстрелов.

— Осторожно! — Сквозь белые клубы тумана донеслись более энергичные, чем у мусульман, шаги.

Шаги приближались и замерли перед бараком. Левинский заглянул внутрь.

— Бергер, — прошептал он. — Где Пятьсот девятый?

— В двадцатом. Что-нибудь случилось?

— Выйди-ка сюда.

Бергер подошел к двери.

— Пятьсот девятому не надо больше бояться, —

быстро и отрывисто проговорил Левинский. — Хандке убит.

— Убит? Во время авианалета?

— Нет. Убит.

— Как это случилось? Эсэсовцы что ли зацепили его в тумане?

— Мы его убили. Дошло или нет? Главное, что с ним покончено. Он был опасен. Ну а туман подвернулся как нельзя кстати. — Левинский на миг задумался. — Уж ты-то увидишь его в крематории.

— Если выстрел был с очень близкого расстояния, видны будут следы пороха и ожоги.

— Это не был выстрел. В тумане и неразберихе ликвидировали еще двух бонз. Двух самых одиозных. Один из нашего барака, он предал двоих.

Прозвучал сигнал «отбой». Туман колыхнулся и расступился. Казалось, что взрывы разорвали его на клочья. В нем проглянул кусочек голубизны, которая засияла серебром — это солнце подсветило его. Как мрачные эшафоты из тумана выплывали сторожевые башни с пулеметами.

Послышались чьи-то шаги.

— Осторожно, — прошептал Бергер. — Входи, Левинский! Прячься здесь!

Они закрыли дверь.

— Здесь только один, — сказал Левинский, — никакой опасности. Они уже целую неделю не приходят больше в одиночку. Страшно боятся.

Осторожно раскрылась дверь.

— Левинский тут? — спросил кто-то.

— Чего хочешь?

— Пойдем скорее. Это у меня здесь.

Левинский исчез в тумане и вскоре вернулся.

— Ты слышал, что там произошло? — спросил Бергер.

— Да. Выходи.

— Что такое?

Левинский выдавил из себя легкую улыбку. На его мокром от тумана лице обнажились зубы, глаза и широкий дрожащий нос.

— Рухнула часть казармы СС, — сказал он. — Есть убитые и раненые. Еще не знаю, сколько всего. Есть потери в первом бараке. Повреждены склад оружия и кладовая. — Он осторожно окинул взглядом пелену тумана. — Нам надо кое-что спрятать. Наверно, только до сегодняшнего вечера. У наших людей было очень мало времени. В общем, до возвращения эсэсовцев.

— Давай сюда, — сказал Бергер.

Они образовали плотное кольцо. Левинский передал Бергеру тяжелый пакет.

— Это со склада оружия, — прошептал он. — Спрячь в своем углу. У меня есть еще один, засунем в дырку под кроватью Пятьсот девятого. Кто сейчас на ней спит?

— Агасфер, Карел и Лебенталь.

— Хорошо. — Левинский тяжело вздохнул. — Они быстро сработали. Сразу, как бомбой проломило складскую стену. Эсэсовцев на месте не было. Когда они появились, наших людей давно и след простыл. Мы добыли еще кое-что, спрятали в тифозном отделении. Распределение риска, понимаешь? Это принцип Вернера.

— Эсэсовцы не заметят пропажу?

— Все может быть. Поэтому мы ничего не оставляем в трудовом лагере. Мы не очень много прихватили с собой, но все, что попалось под руку. Скорее всего они ничего не заметят. Мы пробовали поджечь склад.

— Вы чертовски здорово сработали, — заметил Бергер.

— Счастливый день. — Левинский кивнул. — Пошли. Надо всё незаметно спрятать. Здесь никто ни о чем не подумает. Уже светает. Не удалось прихватить больше, потому что эсэсовцы быстро вернулись, боялись, что разрушены ограждения. Стали стрелять во все, что попадалось на их пути.

Думали, кто-нибудь сбежал. Сейчас они успокоились. Какое счастье, что сегодня утром задержали отправку трудовых коммандос. А то ведь готово основание — попытка бегства из-за тумана. Так удалось сохранить наших лучших людей. Скоро, наверно, будет перекличка. Пошли, покажешь, где можно спрятать.

Через час поднялось солнце. Небо стало мягким и голубым, развеялись последние клочья тумана. Влажными и посвежевшими, словно после бани, казались позеленевшие поля с рядами деревьев.

После обеда в двадцать втором бараке стало известно, что во время и после бомбардировки было убито двадцать семь заключенных: двенадцать погибло в первом бараке, двадцать восемь было ранено осколками. Погибло еще десять эсэсовцев, среди них Биркхойзер из гестапо. К этому списку прибавились Хандке и еще двое из барака Левинского.

— Как насчет квитанции, которую ты дал Хандке для получения швейцарских франков? — спросил Бергер Пятьсот девятого. — А если найдут среди его бумаг? Что, если она попадет в руки гестапо? Мы об этом не подумали!

— Как же, — сказал Пятьсот девятый и достал из кармана лист почтовой бумаги. — Левинский

был в курсе дела. Он это предвидел. Он забрал все вещи Хандке. Один надежный специально назначенный дежурный стащил их сразу же после того, как разделались с Хандке.

— Хорошо. Разорви эту бумагу! Левинский молодец, здорово постарался. — Бергер облегченно вздохнул. — Надеюсь, наконец-то мы сможем немного успокоиться.

— Возможно. Главное теперь, кто станет новым старостой блока.

Вдруг над лагерем показалась стая ласточек. Они долго летали на большой высоте широкими кругами, все ниже и ниже, а потом с криком опустились на польские бараки. Их отдававшие голубизной крылья почти касались крыши.

— Я впервые вижу птиц в лагере, — проговорил Агасфер.

— Они ищут место, где свить гнездо, — объяснил Бухер.

— Здесь, что ли? — зло хихикнул Лебенталь.

— Они лишились колоколен. Дым над городом чуть развеялся.

— Действительно, — подтвердил Зульцбахер. — Последняя колокольня обвалилась.

— Смотри! — Лебенталь, покачивая головой, разглядывал ласточек, которые с пронзительным

криком облетали барак. — К тому же они возвращаются из Африки! Сюда!

— Пока продолжается пожар, им не найти места в городе.

Они посмотрели вниз на город.

— Ну и зрелище! — прошептал Розен.

— А сколько еще других городов так горит? — проговорил Агасфер. — Которые побольше и поважнее. Интересно было бы на них посмотреть.

— Бедная Германия, — произнес кто-то из сидевших на корточках вблизи.

— Что, что?

— Бедная Германия, говорю.

— Вы это слышали, люди? — сказал Лебенталь.

Потеплело. Вечером в бараке узнали, что пострадал и крематорий. Рухнула одна из опоясывающих стен. Перекосило виселицу. Но крематорская труба, как ни в чем не бывало, дымилась во всю мощь.

Небо затянуло облаками. От духоты становилось трудно дышать. Малому лагерю не выдали ужин. В бараках воцарилась тишина. Кто мог, лежал снаружи. Казалось, что спертый воздух должен заменить пищу. Облака становились все толще и бесцветнее и напоминали мешки,

из которых вот-вот посыплется еда. Лебенталь, усталый, вернулся из разведки. Он рассказал, что ужин получили только четыре барака в трудовом лагере. Остальным ничего не дали. Прошел слух, что вроде бы пострадал склад с провиантом. Никаких проверок в бараках не было. Видимо, эсэсовцы еще не заметили, что похищено оружие.

Становилось все теплее. Город растворился в каком-то странном сернистом свете. Солнце уже давно село, но облака все еще переполнялись каким-то застоявшимся, желтым блеклым светом.

— Гроза будет, — сказал побледневший Бергер. Он лежал рядом с Пятьсот девятым.

— Будем надеяться.

Бергер посмотрел на него. Несколько капель воды попало ему в глаза. Он очень медленно повернул голову, и вдруг у него изо рта хлынула кровь. Она текла столь естественно и без усилий, что в первый миг Пятьсот девятый просто оторопел. Потом он выпрямился.

— Что случилось, Бергер? Бергер?

Бергер, согнувшись, тихо лежал.

— Ничего, — проговорил он.

— Кровотечение открылось?

— Нет.

— Что же тогда?

— Желудок.

— Желудок?

Бергер кивнул. Он выплюнул кровь, еще оставшуюся во рту.

— Ничего страшного, — прошептал он.

— И все же достаточно страшно. Что нам надо предпринять? Скажи, что мы должны делать?

— Ничего. Просто спокойно полежать. Дать отлежаться.

— Может, мы тебя отнесем в барак? Ты получишь постель.

— Дай мне просто полежать.

Вдруг Пятьсот девятого охватило страшное отчаяние. Он видел, как умирало столько людей, да и сам так часто оказывался почти на грани смерти, что уверовал: смерть отдельного человека уже не значит для него слишком много. Но теперь это тронуло его так же глубоко, как и в первый раз. Ему казалось, что он теряет последнего и единственного в своей жизни друга. Он как-то сразу ощутил безысходность своего положения. Бергер изобразил улыбку на своем мокром от пота лице, а Пятьсот девятый уже представил его бездыханно лежащим на краю цементного пути.

— Кое-кому все же надо дать поесть! Или до-

стать лекарство! Лебенталь!

— Ничего не надо есть, — прошептал Бергер. Он поднял руку и открыл глаза. — Поверь мне. Я скажу, если мне что-нибудь потребуется. И когда. Сейчас ничего не надо. Поверь мне. Это все желудок. — Он снова закрыл глаза.

После отбоя из барака подошел Левинский. Он подсел к Пятьсот девятому.

— Почему ты, собственно, не в партии? — спросил он. Пятьсот девятый посмотрел на Бергера. Тот ровно мерно дышал.

— Почему тебе это хочется знать именно сейчас? — ответил он вопросом на вопрос.

— Жаль. Я хотел, чтобы ты был с нами.

Пятьсот девятый понимал, что Левинский имеет в виду. В руководстве лагерного подполья коммунисты составляли особенно крепкую, обособленную и энергичную группу. Она оказывала содействие и помощь прежде всего своим людям. Она хотя и сотрудничала с другими, тем не менее, преследуя свои особые цели, никогда не доверяла им полностью.

— Ты бы нам пригодился, — сказал Левинский. — Чем ты занимался прежде? Какая у тебя была профессия?

— Редактор, — ответил Пятьсот девятый и сам

удивился, как странно прозвучало это слово.

— Редакторы нам бы особенно пригодились.

Пятьсот девятый промолчал. Он знал, что вести дискуссию с коммунистом так же бессмысленно, как и с нацистом.

— Кто-нибудь слышал, кто будет новым старостой блока? — спросил он немного погодя.

— Да. Наверно, будет кто-нибудь из наших людей. Но наверняка один из политических. У нас тоже назначили нового. Он из наших.

— Когда ты снова вернешься?

— Через день или два. Это не имеет отношения к старосте блока.

— Еще что-нибудь слышал?

Левинский испытующе посмотрел на Пятьсот девятого. Потом он придвинулся поближе.

— Мы рассчитываем, что взятие лагеря произойдет примерно через две недели.

— Что?

— Да. Через две недели.

— Ты имеешь в виду освобождение?

— Освобождение и взятие собственными силами. Мы примем лагерь в свои руки, как только уйдут эсэсовцы.

— Кто это — мы? Левинский на мгновение замер.

— Будущее лагерное руководство, — проговорил он. — Оно понадобится и сейчас уже создается: иначе будет только неразбериха. Мы должны быть готовыми вступить в дело немедленно. В лагере должно быть обеспечено бесперебойное питание — и это самое главное. Питание, снабжение, управление — тысячи людей ведь не могут сразу же разбежаться…

— Ясное дело. Здесь не все могут ходить.

— Кроме всего прочего. Врачи, медицинское обслуживание, транспорт, подвоз продуктов питания, необходимые закупки в деревнях…

— И как вы все это собираетесь обеспечить?

— Нам помогут, это точно. Но мы должны это организовать. Англичане или американцы, которые нас освободят — это ведь боевые части. Они не приспособлены для того, чтобы немедленно заняться управлением концлагерей. Это придется делать нам самим. Разумеется, с их помощью.

— Странно, — сказал Пятьсот девятый. — С какой уверенностью мы рассчитываем на помощь наших противников, не так ли?

— Я поспал, — сказал Бергер. — Теперь снова в порядке. Это все желудок, больше ничего.

— Ты болен, — возразил Пятьсот девятый, — я еще ни разу не слышал, чтобы из-за желудка

харкали кровью.

— Мне приснилось что-то особое. Я все видел четко и наяву. Я оперировал. Все было залито ярким светом… — Бергер широко открыл глаза. Он заглянул в ночь.

— Левинский считает, что через две недели мы будем на свободе, Эфраим, — тихо проговорил Пятьсот девятый. — Мы сейчас постоянно принимаем по приемнику новости.

Бергер не шелохнулся. Казалось, что он ничего не слышал.

— Я оперирую, — произнес он. — Я приступил к вскрытию. Резекция желудка. И вдруг почувствовал: не знаю, что делать дальше. Я все забыл. Даже вспотел. Пациент лежал, весь раскрытый, без сознания, а я не знал, как мне быть. Я забыл, как делать операцию. Это было ужасно.

— Не думай об этом. Это был кошмар, иначе не назовешь. Каких только сновидений у меня не было! И какие сны будут приходить к нам после того, как мы выберемся отсюда!

Пятьсот девятый вдруг почувствовал резкий запах яичницы-глазуньи с салом. Он старался не думать об этом.

— Да, не во всем нас ждет ликование, — проговорил он. — Уж это точно.

— Десять лет. — Бергер пристально разглядывал небо. — Десять лет ничего. Пролетели! Мимо! Не работать целых десять лет! До сих пор даже не задумывался об этом. Возможно, что уже многое забыто. Мне и теперь не вспомнить, как надо оперировать. Нет, при всем желании не вспомнить. На первых порах в лагере я старался повторять по ночам ход операций. Чтобы не дисквалифицироваться. Потом это прошло. Очень может быть, что все забыто…

— Это выпадает из сознания. Но полностью это не забывается. Это, как иностранные языки или езда на велосипеде.

— Можно разучиться. Утратить навыки. Координацию движений. Уверенность в себе. Или вообще безнадежно отстать. За десять лет ведь столько всего произошло! Сколько всяких открытий! А я ничего об этом не знаю. Я лишь старел, старел и тяжелел от усталости.

— Странно, — проговорил Пятьсот девятый. — Раньше я тоже размышлял о своей специальности. Левинский расспрашивал меня об этом. Он считает, что мы выйдем отсюда через две недели. Ты можешь себе это представить?

Бергер рассеянно покачал головой.

— Куда подевалось это время? — спросил он. —

Оно было бесконечным. Теперь, ты говоришь, две недели. И сразу встает вопрос: «Куда сгинули эти десять лет?»

В котловине пылал горящий город. Было все еще душно, хотя наступила ночь. От земли начали подниматься испарения. Засверкали молнии. На горизонте тлели еще два других костра — далекие города, от которых остались только развалины.

— Может, нам пока утешиться тем, что мы вообще в состоянии осмысливать то, о чем сейчас думаем, Эфраим?

— Да. Ты прав.

— Мы ведь снова думаем, как люди. О том, что будет после лагеря. Скажи, когда у нас это получилось? Все остальное вернется само собой.

Бергер кивнул.

— Даже если выйдя отсюда мне пришлось бы всю оставшуюся жизнь штопать чулки! Тем не менее…

Молния разорвала небо на две половины, после чего издалека неторопливо прогремел гром.

Гроза разразилась в одиннадцать часов. Молнии осветили небо, и на мгновения возникал блеклый лунный ландшафт с воронками и руинами разрушенного города. Бергер крепко спал. Пятьсот девятый сидел в дверном проеме

двадцать второго барака, который снова стал доступен для него после того, как Левинский уничтожил Хандке. Револьверы и боеприпасы он прятал под своей курткой. Он боялся, что в сильный дождь они могут отсыреть в подполе под кроватью и стать негодными.

В ту ночь, однако, дождя было мало. Гроза неумолимо надвигалась, разделяясь на некоторое время на несколько грозовых фронтов, которые словно мечи вспарывали пространство молниями от горизонта до горизонта. «Две недели», — размышлял Пятьсот девятый, наблюдая за тем, как по ту сторону колючей проволоки ландшафт то вспыхивал, то угасал. Он казался ему из другого мира, который в последнее время незаметно приближался, неторопливо вырастая из ничейной земли отчаяния, и вот он уже оказался прямо перед колючей проволокой, неся в себе запахи дождя и полей, разрушений и пожара, но имеете с тем роста лесов и зелени. Он чувствовал, как молнии пронзали и озаряли все и как одновременно начинало светиться утраченное прошлое — блеклое, далекое, почти неосязаемое и недостижимое.

В теплую ночь его знобило. Он не так уж был уверен в себе, как это казалось Бергеру. Пятьсот

девятый припоминал, что вроде бы произвел на Бергера впечатление, и сознание этого переполняло его волнением… Слишком много смертей вместилось в эти годы. Он знал только одно — жизнь означает бегство из лагеря. Но все, что после этого, представлялось ему чем-то неопределенным, огромным и неустойчивым, и он не мог заглянуть далеко вперед. А вот Левинский смог, но он мыслил как член партии, которая подхватит его, и он останется с нею, что его вполне устроило бы.

«Ну, а что потом? — подумал Пятьсот девятый. — Что еще в этом зове, кроме примитивного желания сохранить себе жизнь? Месть? Только местью мало чего достигнешь. Месть — это элемент другой, более мрачной материи, подлежащей устранению. Но что потом?» Он почувствовал несколько теплых капель дождя на лице, казалось, это слезы из ниоткуда. Кто еще способен плакать слезами? Ведь за многие годы они были выжжены и иссушены. Иногда глухая боль, убывание чего-то, что раньше казалось уже почти утраченным, — только это позволяло считать, что для потерь все еще оставался маленький резерв.

Молнии все стремительнее следовали друг за

другом, и раскаты грома набегали на расположенный напротив холма в мигающем, лишенном теней свете далекий белый домик с садом. «Бухер, — подумал Пятьсот девятый. — У Бухера еще что-то оставалось. Он был молод, рядом с ним Рут. С нею он мог бы выйти отсюда. Но достаточно ли этого? Впрочем, кого это волнует? Кому нужны были гарантии? Да и кто их мог дать?»

Пятьсот девятый откинулся назад. «Что за чушь мне приходит в голову! — рассердился он. — Бергер, наверно, заразил меня этими раздумьями. Просто — мы устали». Он медленно вздохнул и в окружающем зловонии снова ощутил запах весны и пробуждения природы. Это ощущение повторялось каждый год, возвещая о себе ласточками и цветением, равнодушным к войне, смерти, тоске и надежде. Вот оно. Оно наступило, и ему этого достаточно.

Он закрыл за собой дверь и прополз в свой угол. Молнии сверкали всю ночь, призрачный свет струился сквозь разбитые окна, из-за чего барак казался беззвучно скользившим по надземной реке кораблем, наполненным мертвецами, которые еще дышали благодаря какой-то темной силе. Среди них были те, кто не считал себя потерянными.

XIX

— Бруно, — спокойно проговорила Зельма. — Не будь дураком. Подумай, прежде чем думать начнут другие. Это наш шанс. Продай то, что можешь продать. Землю, сад, этот вот дом, все — с выгодой или без.

— А что деньги? Какой от них толк? — Нойбауэр сердито покачал головой. — Если все твои слова соответствуют действительности, чего стоят эти деньги? Ты забыла инфляцию после первой мировой войны? Одна марка стоила биллион. Единственное, что тогда ценилось, так это материальные ценности!

— Материальные ценности, о да! Но такие, какие можно сунуть в карман.

Зельма Нойбауэр встала и подошла к шкафу. Она открыла его и отложила в сторону несколько тюков белья. Потом достала шкатулку и отперла ее ключом: золотые портсигары, пудреницы, несколько пар клипсов с бриллиантами, две рубиновые броши и несколько колец.

— Вот, все это я приобрела в последние годы втайне от тебя. На свои деньги и на то, что сумела

скопить. Для этого я продала свои акции. Сегодня они уже ничего не стоят. От фабрик остались развалины. А вот это сохранило свою ценность. Это можно взять с собой. Я хочу, чтобы у нас были только такие вещи!

— Взять с собой, взять с собой! Ты говоришь так, словно мы преступники и нам надо бежать.

Зельма сложила все в шкатулку. Она протерла портсигар рукавом своего платья.

— С нами может случиться то, что уже случилось с другими, когда вы пришли к власти, не так ли?

Нойбауэр вскочил со стула.

— Тебя послушаешь, — проговорил он гневно и в то же время беспомощно, — впору удавиться. У других мужей жены, которые их понимают, утешают, когда те приходят домой со службы, стараются подбодрить, а ты? Сплошное карканье, кликушество, мол, тебе надо то да се! И так целый день! Да еще продолжение ночью! Даже тогда нет покоя! Все одно и то же брюзжание: продай, и делу конец!

Зельма не слушала его. Она убрала шкатулку, заложив ее тюками белья.

— Бриллианты, — проговорила она. — Добротные чистые бриллианты. Без оправы. Только

отборные камни. Один, два карата, три, до шести или семи, если только такие найдешь. Вот это верный путь. Надежнее, чем все твои банки и сады, земельные участки и дома. Адвокат тебя наколол. Я уверена, что ему достались двойные проценты. Бриллианты можно спрятать. Зашить в одежду. Даже проглотить. А с земельным участком так не выйдет.

Нойбауэр уставился на нее.

— Что ты только говоришь! То ты в истерическом страхе от нескольких бомб, то рассуждаешь как еврей, готовый из-за денег перерезать другому горло.

Она презрительно осмотрела его сапоги, униформу, револьвер и усы.

— Евреи никому не перерезают горло. Евреи заботятся о своих семьях. Внимательнее, чем многие германские сверхчеловеки. Евреи знают, что делать в тревожные времена.

— Так что же они знали? Если бы они что-то знали, они не остались бы здесь и, стало быть, мы не ликвидировали бы большинство из них.

— Они не думали, что вы сделаете с ними то, что вы сделали. — Зельма мазала себе виски одеколоном. — И не забудь, что с 1931 года в Германии был наложен арест на вклады. С того момента,

как возникли трудности у Дармштадтского и Национального банков. Поэтому многие просто не смогли уехать. Тогда-то вы их и взяли. Вот. Точно так же теперь ты собираешься остаться здесь. И точно так же они возьмут вас.

Нойбауэр быстро огляделся.

— Осторожно! Черт возьми! Где домработница? Тебя послушаешь, нам уже конец. От народного суда не жди пощады! Довольно одного доноса.

— У домработницы выходной. А почему с вами нельзя сделать того же, что вы делали с другими?

— Кто? Евреи? — Нойбауэр рассмеялся. Он вспомнил Бланка. Он представил себе, как Бланк пытает Вебера. — Они рады, когда их не трогают.

— Да не евреи. А американцы и англичане.

— Эти? Да они еще меньше! Их ведь это совсем не касается. Им вовсе нет дела до наших лагерей! Отношения с ними — это чисто внешнеполитический военный аспект. До тебя это не доходит? — Нойбауэр снова рассмеялся.

— Нет.

— Это демократы. Они будут обращаться с нами корректно, если победят — что еще под вопросом. Корректно в военном отношении. Тогда это будет наше поражение, но поражение с честью. Ничего

другого с их стороны быть не может. Это их мировоззрение! С русскими все было бы по-другому. Но они ведь восточные люди.

— Ты это сам увидишь. Только оставайся здесь.

— Разумеется, увижу. И я останусь здесь. Может, ты мне любезно скажешь, куда мы вообще могли бы уехать, если бы решили бежать отсюда?

— Еще несколько лет тому назад нам надо было вместе с бриллиантами уехать в Швейцарию.

— Надо было! — Нойбауэр стукнул ладонью по столу. Стоявшая перед ним бутылка пива заходила ходуном. — Снова надо было, надо было! Скажи, как? Надо было угнать самолет и перелететь через границу? Чушь ты мелешь.

— Зачем угнать самолет? Можно было совершить пару туристических поездок. Прихватить с собой деньги и драгоценности. Съездить раза два, три, четыре. И каждый раз оставлять все там. Я знаю, кто так делал.

Нойбауэр подошел к двери. Открыл ее и снова закрыл. Потом вернулся.

— Ты знаешь, как называется то, что ты говоришь? Это настоящая государственная измена! Если об этом станет известно, тебя немедленно расстреляют!

Зельма посмотрела на него. Ее глаза блестели.

— Ну и?.. Ты можешь быстро продемонстрировать, какой ты герой. Сможешь избавиться от опасной жены. Тебе, наверно, особенно приятно…

Нойбауэр не выдержал ее взгляда. Он отвернулся от нее и стал ходить по комнате взад и вперед. Он не знал, имеет ли она понятие о вдове, которая иногда захаживала к нему.

— Зельма, — проговорил он каким-то другим голосом. — Ну что это такое? Нам все же надо быть вместе! Будем благоразумными. Сейчас для нас самое главное — это продержаться. Я не могу просто взять и сбежать. Я ведь выполняю приказ. Да и куда бежать? К русским? Нет. Спрятаться в еще не занятой части Германии? Тут меня быстро возьмет гестапо, и ты знаешь, чем все кончится! Перебежать к американцам и англичанам? Уж лучше ждать их здесь, иначе может показаться, что у меня нечистая совесть. Я все это уже продумал, поверь мне, нам надо продержаться, другого выхода нет.

— Да.

Нойбауэр удивленно поднял взгляд.

— Неужели? Ты наконец-то поняла? Я сумел тебе доказать?

— Да.

Нойбауэр осторожно посмотрел на Зельму. Он не рассчитывал на легкую победу. Но она вдруг сдалась. Казалось, что щеки ее повисли. «Сумел доказать, — подумала она. — Доказательства! Они уверовали в доказанное — будто жизнь состоит сплошь из доказательств. Но какой от них толк? Идолы на глиняных ногах. Веруют только в самих себя». Она долго рассматривала своего мужа. В ее взгляде была странная смесь сочувствия, презрения и какой-то отстраненной нежности. Нойбауэру стало не по себе.

— Зельма… — начал было он. Она прервала его.

— Бруно, еще только одно, я прошу тебя об этом…

— О чем? — воскликнул он настороженно.

— Перепиши дом и землю на Фрейю. Немедленно сходи к адвокату. Прошу тебя только об этом, больше ни о чем.

— Почему?

— Это не навсегда. Временно. Когда все устроится, снова перепишем. Ты доверяешь своей дочери?

— Да… да… но какое это произведет впечатление! Адвокат…

— Плюнь ты на впечатление! Фрейя была ре-

бенком, когда вы пришли к власти. Ее ни в чем нельзя упрекнуть!

— Что это значит? Ты считаешь, меня можно в чем-то упрекнуть?

Зельма молчала. Она снова измерила Нойбауэра своим необычным взглядом.

— Мы — солдаты, — проговорил он. — Мы действуем согласно приказу. И приказ есть приказ, это каждому известно. — Он подтянулся. — Фюрер приказывает— мы подчиняемся. Фюрер принимает на себя полную ответственность за то, что он приказывает. Он это довольно часто заявлял. И для каждого патриота этого достаточно. Или нет?

— Да, — произнесла покорно Зельма. — Но все равно сходи к адвокату. Пусть он перепишет нашу собственность на Фрейю.

— Так и быть. Как-нибудь с ним переговорю. — Нойбауэр не собирался этого делать. Его жену охватила истерия страха. Он похлопал ее по спине. — Только не мешай мне работать. Я все же чего-то добился.

Тяжело ступая, Нойбауэр вышел из дома. Зельма подошла к окну. Она наблюдала за тем, как он садится в машину. «Доказательства! Приказы! — подумалось ей. — Это им оправдательный

приговор за все. Все это очень хорошо, пока получалось. А разве я сама не была причастна?» Зельма посмотрела на свое обручальное кольцо. Она носит его уже двадцать четыре года. Два раза его пришлось расширять. Когда Зельма получила это кольцо, она была совсем другим человеком. В то время за ней ухаживал один еврей. Невысокого роста, старательный мужчина, который никогда не кричал, а только сюсюкал. Звали его Йозеф Борнфельдер. В 1928 году он эмигрировал в Америку. Молодец. Вовремя. Потом она пару раз слышала о нем от своей знакомой, которой он написал, что все у него сложилось очень удачно. Она механически повернула свое обручальное кольцо вокруг пальца. «Америка, — подумала она. — Там никогда не бывает инфляции. Они слишком богатые».

Пятьсот девятый прислушался. Голос показался ему знакомым. Он осторожно присел за грудой мертвецов и затаился.

Он знал, что в эту ночь Левинский собирался привести кого-то из трудового лагеря, чтобы спрятать здесь на несколько дней. Но согласно старому правилу, что знать друг друга должны только связные, Левинский не сказал, о ком конкретно идет речь.

Человек говорил тихо, но очень четко.

— Нам нужен каждый, кто с нами, — произнес он. — Когда рухнет национал-социализм, впервые не будет сплоченной партии, которая могла бы принять на себя политическое руководство. За двенадцать лет все расколоты или разграблены. Остатки ушли в подполье. Мы даже не знаем, сколько от них осталось. Для создания новой организации потребуются решительные люди. Из хаоса поражения выплывет одна-единственная партия — национал-социалистская. Я имею в виду не попутчиков, примыкающих к любой партии, а ядро. Оно организованно уйдет в подполье и станет ждать, когда можно будет снова выйти на поверхность. Против него-то и придется вести борьбу; и для этого нам нужны люди.

«Это Вернер, — подумал Пятьсот девятый, — это наверняка он; но насколько мне известно, он умер». В темноте ничего невозможно было разглядеть: ночь стояла безлунная и туманная.

— Массы в значительной степени деморализованы, — продолжал человек. — Двенадцать лет террора, бойкота, доносов и страха сделали свое дело — к этому добавляется теперь уже проигранная война. С помощью подпольного террора и саботажа нацисты еще не один год

смогут держать многих в страхе. Придется снова вести борьбу за этих запутанных и сбитых с толку людей. По иронии судьбы противостояние нацистам в лагерях крепче, чем за их пределами. Нас здесь спрессовали воедино, вне лагеря группы разобщены. Там было непросто поддерживать связи друг с другом; здесь это проще. Там почти каждый старался выстоять в одиночку; здесь чувствуют локоть друг друга. На это нацисты никак не рассчитывали. — Человек рассмеялся. Это был короткий безрадостный смех.

— Кроме тех, кого уничтожили, — добавил Бергер. — И тех, кто умер.

— Разумеется, кроме тех. Но мы сохранили людей. Каждый из них стоит сотни других.

«Это, без сомнения, Вернер, — подумал Пятьсот девятый. — Он уже снова взялся за аналитическую и организационную работу. Произносит речи. Остался фанатиком и теоретиком своей партии».

— Лагеря должны стать ячейками восстановления, — снова раздался тихий, но ясный голос. — На первых порах три момента представляются самыми важными. Первый: пассивное и в крайнем случае активное сопротивление эсэсовцам, пока они в лагере; второй: предотвра-

щение паники и эксцессов при передаче лагеря новым властям. Мы должны быть образцом дисциплинированности, ни в коем случае не руководствоваться местью. Впоследствии суды в надлежащем порядке…

Человек сделал паузу. Пятьсот девятый встал и направился к группе. Там были Левинский, Гольдштейн, Бергер и один незнакомец.

— Вернер… — окликнул Пятьсот девятый. Человек пристально посмотрел в темноту.

— Ты кто? — Он выпрямился и подошел ближе.

— А я думал, ты умер, — проговорил Пятьсот девятый.

Вернер заглянул ему в лицо.

— Коллер, — ответил Пятьсот девятый.

— Коллер! Ты жив? А я думал, ты уже давно умер.

— Тут как тут. Совершенно официально.

— Он Пятьсот девятый, — заметил Левинский.

— Значит, ты — Пятьсот девятый! Это упрощает дело. Я ведь тоже официально умер.

Оба пристально разглядывали друг друга сквозь темноту. В этой ситуации не было ничего сверхъестественного. Кое-кто в лагере уже находил того, кого считал умершим. Но Пятьсот девятый и Вернер знали друг друга еще до лагеря. Они

были друзьями, потом политические убеждения разлучили их.

— Значит, теперь ты здесь? — спросил Пятьсот девятый.

— Да. На несколько дней.

— Эсэсовцы прочесывают заключенных на последние буквы алфавита, — сказал Левинский. — Схватили Фогеля. Он попался в руки тому, кто его знал. Чертов унтер-шарфюрер.

— Я не буду вам в тягость, — сказал Вернер. — Я сам позабочусь о своей еде.

— Разумеется, — проговорил Пятьсот девятый с едва заметной иронией. — Иного я от тебя не ждал.

— Завтра Мюнцер достанет мне хлеба. И передаст Лебенталю. Он достанет больше, чем только для меня. Кое-что перепадет и вашей группе.

— Я знаю, — ответил Пятьсот девятый. — Я знаю, Вернер, что ты ничего не берешь просто так. Ты будешь в двадцать втором? Мы можем поместить тебя и в двадцатом.

— Я могу остаться в двадцать втором. И ты тоже. Теперь ведь Хандке больше нет.

Никто из присутствующих не почувствовал, что между обоими произошла своеобразная словесная дуэль. «Какое же ребячество, — подумал

Пятьсот девятый. — Давным-давно мы были политическими противниками, но до сих пор никто не хочет уступить друг другу. Я ощущаю идиотское удовлетворение от того, что Вернер ищет пристанища у нас. Он мне намекает, что без помощи его группы Хандке, вероятно, расправился бы со мной».

— Я слышал, что ты сказал, — проговорил он. — Так оно и есть. Чем мы можем быть полезны?

Они еще посидели снаружи. Вернер, Левинский и Гольдштейн спали в бараке. Лебенталь должен был разбудить их через два часа, чтобы поменяться местами. Ночью стало душно. Тем не менее Бергер был в своей гусарской венгерке; на этом настоял Пятьсот девятый.

— Кто новый староста? — спросил Бухер. — Какой-нибудь бонза?

— Он был им еще до прихода нацистов к власти. Не слишком крупный. Средний. Бонза провинциальных масштабов. Старательный. Коммунист. Фанатик без личной жизни и юмора. Сейчас он один из руководителей лагерного подполья.

— Откуда ты его знаешь?

Пятьсот девятый задумался.

— До 1933 года я был редактором газеты. Мы нередко дискутировали. И я часто нападал на его

партию. На его партию и на нацистов. Мы были против тех и других.

— А были за что?

— За то, что сейчас звучит довольно возвышенно и смешно. Человечность, терпимость и право каждого на собственное мнение. Смешно, правда?

— Нет, — ответил Агасфер и закашлялся. — А что еще?

— Месть, — неожиданно проговорил Мейергоф. — Еще месть! Месть за это вот здесь! Месть за каждого умершего! Месть за все происшедшее.

Все удивленно подняли глаза. У Мейергофа передернулось лицо. Он сжал кулаки и, каждый раз произнося слово «месть», стучал ими по земле.

— Что случилось с тобой? — спросил Зульцбахер.

— Что с вами случилось? — ответил Мейергоф вопросом на вопрос.

— Он с ума сошел, — проговорил Лебенталь. — Он выздоровел и оттого рехнулся. Шесть лет он оставался запуганным парнем, который боялся открыть рот — и вот чудо спасло его от крематорской трубы. И теперь он стал Самсоном Мейергофом.

— А я не желаю мести, — прошептал Розен. — Я

хочу только вырваться отсюда.

— Что? По-твоему, все эсэсовцы должны убираться отсюда без сведения с ними счетов?

— Мне все равно! Я хочу только одного — выйти отсюда! — Розен в отчаянии сжал кулаки и прошептал с такой настойчивостью, будто все сейчас зависело от этой фразы. — Я не желаю ничего другого, кроме одного: вырваться отсюда! Вырваться отсюда!

Мейергоф уставился на него.

— Знаешь, кто ты? Ты…

— Успокойся, Мейергоф! — запротестовал Бергер. — Мы не желаем знать, кто мы. Все мы здесь не те, чем мы были и чем мы хотели бы стать. А чем мы в действительности еще являемся, выяснится позже. Ну кто может знать это сейчас? Сейчас мы можем только ждать и надеяться и, пожалуй, молиться.

Он обвязался своей гусаркой и снова лег.

— Месть, — задумчиво произнес Агасфер некоторое время спустя. — Для этого потребовалось бы много мести. Месть вызывает новую месть — и какой от этого толк?

Засветился горизонт.

— Что это было? — спросил Бухер. Раздались едва слышные раскаты грома.

— Это не бомбардировка, — проговорил Зульцбахер. — Опять гроза собирается, но слишком тепло.

— Если пойдет дождь, мы разбудим тех, кто из трудового лагеря, — сказал Лебенталь. — Тогда они смогут строиться здесь снаружи. Они ведь крепче нас. — Он повернулся к Пятьсот девятому. — Твой друг бонза тоже. Снова сверкнула молния.

— Никто из вас тут в лагере не слышал об отправке заключенных? — спросил Зульцбахер.

— Это все слухи. Самые последние: планируется отобрать тысячу.

— О, Боже! — бледное лицо Розена светилось в темноте. — Конечно, заберут нас. Самых слабых, чтобы от нас отделаться.

Он посмотрел на Пятьсот девятого. Все подумали о последнем транспорте, который они видели.

— Это — молва, — сказал Пятьсот девятый. — Сейчас почти каждый день слышишь уйму всяких слухов. Давайте сохранять спокойствие, пока не поступит приказ. Тогда и посмотрим, что смогут сделать для нас Левинский, Вернер и те, кто работает в канцелярии. И мы сами здесь.

Розен содрогнулся.

— Помните, как они тогда вытаскивали тех за ноги из-под кроватей…

Лебенталь презрительно посмотрел на него.

— Ты в своей жизни ничего не видел похлеще этого?

— Да…

— Однажды я оказался на большой скотобойне, — сказал Агасфер. — Ради кошерной пищи. В Чикаго. Иногда животные понимали, что с ними произойдет. Нанюхавшись крови, они неслись, как эти вот тогда. Куда-нибудь. И их тоже вытаскивали за ноги…

— Ты был в Чикаго? — спросил Лебенталь.

— Да…

— В Америке? И вернулся оттуда?

— Это было двадцать пять лет назад.

— Ты вернулся? — Лебенталь уставился на Агасфера. — Неужели такое бывает?

— Я тосковал по дому. В Польше.

— Знаешь что… — Лебенталь осекся. Для него это было уже чересчур.

XX

Погода разгулялась к утру, и наступил серый день, лучи света утопали в молокообразных облаках. Молний больше не было; но откуда-то из-за леса все еще доносились далекие и глухие раскаты грома.

— Странная гроза, — сказал Бухер. — Когда она кончается, обычно видны зарницы и не слышен гром; здесь же все наоборот.

— Может, гроза вернется, — проворчал Розен.

— Почему вдруг она должна вернуться?

— У нас дома грозы иногда по несколько дней ходят между горами.

— Здесь нет котловин. Там только одна линия, и та пролегает не очень высоко.

— У тебя есть другие заботы? — спросил Лебенталь.

— Лео, — спокойно проговорил Бухер. — Лучше подумай о том, как нам раздобыть что-нибудь пожевать. Пусть будет хоть кожа от старого ботинка.

— Еще какие-нибудь поручения? — спросил Лебенталь, оправившись от удивления.

— Нет.

— Прекрасно. Тогда последи за тем, что ты болтаешь! И ищи себе корм сам, молокосос! Неслыханная наглость, вот и все!

Лебенталь попробовал сплюнуть, но во рту пересохло, а вставная челюсть выскочила от напряжения. В последний момент он успел подхватить ее и поставить на место.

— Это все оттого, что ради вас каждый день рискуешь своей шкурой, — проговорил он сердито. — Упреки и приказы! Потом еще явится Карел со своими поручениями.

Подошел Пятьсот девятый.

— Что у вас тут?

— Спроси вот его. — Лебенталь показал на Бухера. — Раздает приказы направо и налево. Я не удивлюсь, если он захочет стать старостой блока.

Пятьсот девятый посмотрел на Бухера. «А он изменился, — подумалось ему. — Хоть и не очень бросилось в глаза, он все же изменился».

— Ну и что тут на самом деле приключилось? — спросил он.

— Абсолютно ничего. Мы просто разговаривали о грозе.

— Что вам далась эта гроза?

— Ничего. Странно только, что все грохочет гром. При этом не видно ни молний, ни облаков. Повис серый туман. Но это ведь не грозовые облака.

— Проблемы! Гром есть, а молнии нет, — прокряхтел со своего места Лебенталь. — Совсем с ума сошел!

Пятьсот девятый посмотрел на небо. Оно было серым и вроде бы безоблачным. Потом он прислушался.

— Грохочет дейст… — Он замолчал и вдруг прислушался всем своим телом.

— Ну вот еще один! — проговорил Лебенталь. — Сегодня мода на сумасшествие.

— Спокойно! Черт возьми! Успокойся, Лео! Лебенталь замолчал. Он понял, что речь идет уже не о грозе. Он наблюдал за Пятьсот девятым, который напряженно вслушивался в далекое грохотание. Теперь все молчали и прислушивались.

— Послушайте, — проговорил Пятьсот девятый медленно и так тихо, словно боялся что-то упустить, говоря громче, — это не гроза. Это…

— Что это? — Рядом с ним стоял Бухер. Оба смотрели друг на друга, вслушиваясь в доносившееся грохотание. Грохотание стало чуть сильнее и потом стихло.

— Это не гром, — проговорил Пятьсот девятый. — Это… — Он подождал еще мгновение, потом огляделся кругом и сказал все еще очень тихим голосом: — Это артиллерийская канонада.

— Что?

— Артиллерийская канонада. Это не гром. Все пристально смотрели друг на друга.

— Что у вас тут? — спросил появившийся в дверях Гольдштейн.

Все молчали.

— Ну, что вы там окаменели? Бухер обернулся.

— Пятьсот девятый говорит, что можно слышать артиллерийскую канонаду. Фронт уже недалеко отсюда.

— Что? — Гольдштейн подошел ближе. — На самом деле? Или вы просто выдумываете?

— Кто станет болтать вздор? Вопрос такой серьезный.

— Я имею в виду: вы не заблуждаетесь? — спросил Гольдштейн.

— Нет, — ответил Пятьсот девятый.

— Ты что-нибудь в этом понимаешь?

— Да.

— Бог мой. — У Розена передернулось лицо. И он вдруг разрыдался.

Пятьсот девятый продолжал прислушиваться.

— Если изменится направление ветра, слышно будет еще лучше.

— Как ты думаешь, это далеко отсюда? — спросил Бухер.

— Точно не скажу. Километров пятьдесят. Шестьдесят. Не больше.

— Пятьдесят километров. Это ведь недалеко.

— Нет. Это недалеко.

— У них, видимо, есть танки. Все может произойти быстро. Если они прорвутся, как ты думаешь, сколько им потребуется дней… может, всего один день… — Бухер осекся.

— Один день? — повторил Лебенталь. — Что ты на это скажешь? Один день?

— Если они прорвутся. Вчера еще ничего не было. А сегодня уже слышно. Завтра они могут приблизиться. Послезавтра или после-послезавтра…

— Не говори! Не говори это! Не своди людей с ума! — вдруг воскликнул Лебенталь.

— Это возможно, Лео, — проговорил Пятьсот девятый.

— Нет! — Лебенталь хлопнул ладонями по лбу.

— Что ты имеешь в виду, Пятьсот девятый? — у Бухера было мертвенно-бледное взволнованное лицо. — Послезавтра? Или через сколько еще

дней?

— Дни! — вскрикнул Лебенталь и опустил руки. — Как теперь может идти счет на дни? — бормотал он. — Годы, целая вечность, а теперь вы сразу заговорили о днях, днях! Не врите! — Он подошел ближе. — Не врите! — прошептал он. — Я прошу вас, не врите!

— Кто будет в таком деле врать?

Пятьсот девятый обернулся. Сзади вплотную к нему стоял Гольдштейн. Он улыбался.

— Я тоже слышу, — проговорил он. Его зрачки расширялись и расширялись, становясь все более черными. Улыбаясь, он поднимал руки и ноги, словно желая пуститься в пляс, но вдруг улыбка исчезла с его лица, и он повалился ничком.

— Это обморок, — сказал Лебенталь. — Расстегните ему куртку, а я схожу за водой. В сточном желобе еще должно что-то остаться.

Бухер, Зульцбахер, Розен и Пятьсот девятый перевернули Гольдштейна на спину.

— Может, сходить за Бергером? — спросил Бухер. — Он в состоянии сам подняться?

— Подожди. — Пятьсот девятый вплотную наклонился над Гольдштейном. Он расстегнул ему куртку и пояс.

Появился Бергер. Лебенталь все ему рассказал.

— Тебе надо быть на своей кровати, — сказал Пятьсот девятый.

Бергер опустился перед Гольдштейном на колени и стал его прослушивать. Это длилось недолго.

— Он мертв, — объявил Бергер. — Скорее всего паралич сердца. Этого давно надо было ожидать. Они довели его до того, что сердце не выдержало.

— Он еще услышал, — проговорил Бухер. — И это главное. Он еще услышал.

— Что?

Пятьсот девятый положил руку на узкие плечи Бергера,

— Эфраим, — сказал он спокойно. — Я думаю, пора об этом сказать.

— О чем?

Бергер поднял глаза. Вдруг Пятьсот девятый почувствовал, что ему трудно говорить.

— Они… — проговорил он, осекся и показал рукой па горизонт. — Они идут, Эфраим. Их уже слышно. — Он окинул взглядом кусты, примыкающие к ограждению из колючей проволоки, и сторожевые башни с пулеметами, которые плавали в молочном тумане. — Они уже на подходе, Эфраим.

В полдень ветер переменился и грохотание немного усилилось. Оно напоминало далекий электрический контакт, перетекавший в тысячи отдельных сердец. Бараки охватило беспокойство. Только несколько трудовых коммандос отправилось из лагеря. Повсюду лица узников прижимались к окнам. Вновь и вновь в дверях появлялись изможденные фигуры с вытянутыми шеями.

— Ну как, уже приблизились?

— Да. Кажется, гул нарастает.

В сапожной мастерской работали молча. Специально выделенные дежурные следили за тем, чтобы не было лишних разговоров. Надзиратели-эсэсовцы были на месте. Ножи разрезали кожу, отсекали потрескавшиеся кусочки, и многие руки держали их не так, как прежде. Не как орудие труда, а как оружие. То один, то другой взгляд падал на специально выделенных дежурных, эсэсовцев, револьверы и легкий пулемет, которого еще вчера здесь не было. Несмотря на бдительность надзирателей, каждый работавший в мастерской был в курсе дела. Каждый раз, когда ссыпали и оттаскивали полные корзины с кожными обрезками, по рядам не вставших с места прокатывалась принесенная грузчиками

из-за стен мастерской весть о том, что снаружи: гул все еще слышен. Он не смолкал.

Охранников внешних трудовых коммандос было в два раза больше обычного. Они шагали колоннами вокруг города и потом с запада направлялись в старый квартал, где находился рынок. Охранники очень нервничали. Они кричали и командовали без видимой на то причины; заключенные маршировали четким строем. До сих пор они убирали развалины только в новых кварталах города; теперь впервые были допущены во внутренние районы старого города. Они увидели сгоревшие кварталы, где стояли построенные еще в середине века деревянные дома. От них почти ничего не осталось. Они видели это и проходили колоннами сквозь развалины, а остатки жителей останавливались или отворачивали от них взгляд. Маршируя по улицам, заключенные уже не чувствовали себя только пленными. Каким-то странным образом они, не воюя, одержали победу, и годы плена казались им уже не годами безоружного поражения, а годами борьбы. Главное, что они остались в живых.

Они приблизились к рыночной площади. Здание ратуши было полностью разрушено. Для уборки мусора им раздали кирки и лопаты. И вот

они приступили к работе.

Пахло пожарищем, но сквозь него они снова улавливали другой запах, который им был знаком лучше, чем другим, — сладковатый, гнилой, давящий на желудок запах разложения. В теплые апрельские дни в городе смердело трупами, все еще остававшимися под руинами.

Через два часа они обнаружили под грудами мусора первого мертвеца. Сначала показались его сапоги. Это был гауптшарфюрер СС.

— Обстоятельства переменились, — прошептал Мюнцер. — Наконец-то мы поменялись ролями! Теперь мы выкапываем их мертвецов. Их мертвецов. — Он продолжал работать с новой силой.

— Осторожно! — буркнул подошедший охранник. — Здесь человек, не видишь что ли?

Они стали быстрее разбрасывать мусор. Сначала вытащили труп и отнесли его в сторону.

— Продолжайте копать! — Эсэсовец нервничал. Он уставился на труп. — Осторожно!

Скоро они откопали одного за другим еще троих и положили их рядом с первым. Они оттащили их, держа за руки и за ноги. Для заключенных это было неслыханное ощущение; до сих пор они, избитые и грязные, вытаскивали только своих умирающих или мертвых товарищей из бункеров

и застенков, а в последние дни и гражданских. Теперь же, впервые, они так оттаскивали своих врагов. Они продолжали работать, и никто их не подгонял. Обливаясь потом, они старались откопать побольше трупов. Сами не веря, что в них дремали такие силы, они оттаскивали в сторону балки и железные брусья и, переполняясь ненавистью и внутренним удовлетворением, словно добытчики золота, откапывали мертвецов.

Еще через час они наткнулись на Дитца. Он был с переломанной шеей. Голова полностью вошла в грудную клетку, будто он хотел сам себе прокусить горло. Вначале они не стали к нему прикасаться. Лопатой полностью освободили его от налипшего мусора. Обе руки были переломаны. Они лежали таким образом, будто один сустав был лишний.

— И все же Бог есть, — ни на кого не глядя, прошептал человек, оказавшийся рядом с Мюнцером. — Ведь есть Бог! Есть Бог.

— Заткнись! — заорал эсэсовец. — Чего ты там бормочешь?

Он ткнул человека в колени.

— Что ты тут сказал? Я слышал, ты о чем-то говорил.

Человек выпрямился и споткнулся о Дитца.

— Я сказал, что надо сделать носилки для господина обергруппенфюрера, — ответил он с каменным липом. — Мы не можем нести его так, как других.

— Это не твое дело! Здесь пока еще командуем мы! Понятно? Понятно?

— Так точно.

«Пока еще, — долетело до слуха Левинского. — Пока еще командуем! Значит, понимают», — подумал он и поднял свою лопату.

Эсэсовец посмотрел на Дитца. Он невольно вытянулся по стойке «смирно». Это спасло узника, снова уверовавшего в Бога. Эсэсовец пошел за старшим колонны. Тот принял почти такую же стойку.

— Носилок еще нет, — сказал эсэсовец. Ответ человека, снова уверовавшего в Бога, произвел на него впечатление. — Такого высокого офицера СС действительно нельзя было тащить за руки и за ноги.

Старший колонны оглянулся. Недалеко под грудой мусора заметил дверь.

— Выкопайте ее. Пока ограничимся этим. — Он отдал приветствие Дитцу. — Осторожно положите господина обергруппенфюрера на дверь.

Мюнцер, Левинский и еще двое других при-

тащили дверь. Это была резная работа шестнадцатого века с изображением того, как нашли Моисея. Дверь лопнула и немного облупилась. Они взяли Дитца за плечи и за ноги и положили на дверь. Руки у покойника болтались, а голова отпала далеко назад.

— Осторожно! Вы, мерзавцы! — орал старший колонны.

Покойник возлежал на широкой двери. Под его правой рукой из своей тростниковой корзинки улыбался младенец Моисей. Мюнцер это видел. «Они забыли прихватить ее из ратуши, — подумал он. — Моисей. Иудей. Все это уже было. Фараон. Угнетение. Красное море. Спасение».

— А ну, взяли! Восемь человек!

Двенадцать узников подскочили с невиданным проворством. Старший колонны огляделся. Напротив была разрушенная церковь Девы Марии. Он на мгновение задумался, но сразу же отбросили эту мысль. Тело Дитца ни за что нельзя было отнести в католический храм. Он охотно позвонил бы, чтобы получить инструкции, как быть. Но телефонная связь была прервана. Поэтому пришлось делать то, что он больше всего ненавидел и боялся: действовать самостоятельно.

Мюнцер бросил какую-то фразу. Это уловил

старший колонны.

— Что? Что ты сказал? Шаг вперед, негодяй вонючий!

«Вонючий негодяй» было, наверно, его любимым выражением. Мюнцер вышел вперед и вытянулся по стойке «смирно».

— Я сказал, что, вероятно, было бы не совсем корректно, если обергруппенфюрера понесут заключенные.

Он неотрывно и почтительно смотрел на старшего колонны.

— Что? — заорал тот. — Что, вонючий негодяй? Какое тебе до этого дело? Кому еще его нести? Мы…

Он умолк. Судя по всему, возражение Мюнцера имело под собой основание. В общем-то, мертвеца должны были тащить эсэсовцы; но этим могли воспользоваться заключенные и сбежать.

— Чего вы тут уставились? — кричал он. — Вперед! — Вдруг его осенило, куда нести Дитца. — В госпиталь!

Никто не мог понять, зачем мертвеца тащить в госпиталь. Просто это показалось подходящим нейтральным местом.

— Прямо! — Старший колонны шагал впереди. Это тоже казалось ему необходимым.

На краю рыночной площади неожиданно появился автомобиль. Это был низкорамный «мерседес» с компрессорной установкой. Неторопливо приблизившись, автомобиль словно нащупывал свой путь среди развалин. На фоне всех разрушений его яркая элегантность казалась прямо-таки вызывающей. Старший колонны стоял навытяжку. Мерседес с компрессорной установкой официально предоставлялся крупным бонзам. В салоне сидели два высших офицера СС; еще один устроился рядом с шофером. Из багажника торчали чемоданы, еще несколько чемоданов поменьше лежали в машине. У офицеров был рассерженный вид. Шоферу пришлось медленно пробираться сквозь развалины. Они проехали совсем рядом с заключенными, которые тащили труп Дитца на двери. И даже не удостоили их взгляда.

— Вперед! — сказал сидевший спереди шоферу. — Быстрее!

Заключенные остановились. Левинский держал дверь и задний правый угол. Он видел проломанную голову Дитца и улыбающуюся резную голову спасенного младенца Моисея, он видел «мерседес», чемоданы и обратившихся в бегство офицеров и глубоко, почти радостно

вздохнул.

Машина проползла мимо.

— Дерьмо, да и только! — проговорил вдруг один из эсэсовцев, огромного роста палач с боксерским носом. — Дерьмо. Дерьмо проклятое! — Он имел в виду не заключенных.

Левинский прислушался. Далекий гул на миг потонул в гудении мотора «мерседеса»; потом снова донесся, приглушенно, но неотступно. Подземный барабанный бой для марша мертвецов.

— Быстрей! — орал раздраженно старший колонны. — Быстрей! Быстрей!

Незаметно наступил полдень. Лагерь полнился слухами. Они проносились по баракам, с каждым часом рождаясь заново. Говорили, что эсэсовцы покинули лагерь; потом пришел кто-то и сказал, что их, наоборот, прибавилось. То пошла гулять весть, мол, американские танки уже в предместьях города; то заговорили о том, что защищать город будут немецкие войска.

В три часа появился новый староста блока. Он был с красной нашивкой, не с зеленой.

— Не из наших, — заметил разочарованно Вернер.

— Почему нет? — спросил Пятьсот девятый. — Он один из нас. Политический. Не уголовник.

Или что ты имеешь в виду — «из наших»?

— Ты же знаешь. Зачем спрашиваешь?

Они сидели в бараке. Вернер хотел дождаться отбоя, чтобы вернуться в трудовой лагерь. Пятьсот девятый спрятался, чтобы незаметно понаблюдать со стороны за новым старостой блока. Рядом с ними хрипел умирающий от воспаления легких человек с грязными седыми волосами.

— «Один из наших» — это участник подпольного движения в лагере, — произнес Вернер менторским тоном. — Ты это хотел знать, не так ли? — Он улыбнулся.

— Нет, — возразил Пятьсот девятый. — Это меня не интересует. Ты тоже имеешь в виду другое.

— В данный момент я имею в виду именно это.

— Да. Пока здесь есть потребность в обществе взаимопомощи. А потом?

— Потом, — сказал Вернер, удивленный такой неосведомленностью, — потом, естественно, должна быть партия, которая возьмет власть. Сплоченная партия, а не кучка наскоро собранных людей.

— Значит, твоя партия. Коммунисты.

— А кто же еще?

— Любая другая, — возразил Пятьсот девятый. — Только чтобы снова не тоталитарная.

Вернер рассмеялся.

— Дурачок ты! Никакая другая, только тоталитарная. Ты что, не понимаешь? Все промежуточные партии раздавлены. Коммунизм сохранил свою мощь. Война закончится. Россия оккупирует значительную часть Германии. Это самая влиятельная сила в Европе. Время коалиций прошло. Эта была последней. Союзники помогли коммунизму и ослабили самих себя, вот дураки. Мир на земле будет зависеть от…

— Я знаю, — прервал его Пятьсот девятый. — Мне знакома эта песня. Скажи лучше, что случилось бы с теми, кто против вас, если бы вы победили и получили власть? Или с теми, кто не с вами?

Вернер на мгновение замолчал.

— Здесь много разных путей, — проговорил он затем.

— Кое-какие мне известны. Тебе тоже. Убийства, пытки, концентрационные лагеря — ты их, конечно, тоже имеешь в виду?

— В том числе. В зависимости от обстоятельств.

— Это уже прогресс. Цена пребывания здесь!

— Это — прогресс, — произнес Вернер с внутренней убежденностью. — Прогресс в цели. Да и

в методе. Мы ничего не делаем, руководствуясь жестокостью. Только необходимостью.

— Это я уже слышал довольно часто. Вебер тоже объяснял мне это, когда загонял мне под ногти спички, а потом зажигал их. Это было просто необходимо для получения информации.

Дыхание седоволосого человека перешло в напряженный предсмертный хрип, так хорошо известный всем сидевшим в лагере. Иногда хрип прекращался, и тогда в тишине с линии горизонта доносился едва слышный гул. Это было, как причитание, — последнее дыхание умирающего и реакция на него издалека. Вернер посмотрел на Пятьсот девятого. Он знал, что Вебер пытал его не одну неделю в надежде услышать имена и адреса. В том числе и адрес Вернера. Но Пятьсот девятый молчал.

Впоследствии Вернера предал один слабовольный товарищ по партии.

— Почему ты не хочешь быть с нами, Коллер? — спросил он. — Ты бы нам очень пригодился.

— Об этом мы с тобой дискутировали еще двадцать лет назад. И Левинский меня тоже спрашивал об этом.

Вернер улыбнулся. Это была добрая, обезоруживающая улыбка.

— Было дело. И не раз. Тем не менее я снова задаю тебе этот вопрос. Время индивидуализма прошло. В одиночку больше нельзя. А будущее принадлежит нам. Не продажной середине.

Пятьсот девятый посмотрел на этого аскета.

— Когда все это здесь кончится, — произнес он нетерпеливо, — интересно, сколько потребуется времени, чтобы ты стал таким же моим врагом, как сейчас вот эти на сторожевых башнях.

— Немного. Здесь у нас было общество взаимопомощи в борьбе с нацистами. С окончанием войны оно отомрет само по себе.

Пятьсот девятый кивнул.

— Интересно было бы еще знать, когда после прихода к власти ты засадил бы меня за решетку?

— Скоро. Дело в том, что ты все еще опасен. Но пытать тебя мы не стали бы.

Пятьсот девятый пожал плечами.

— Мы посадили бы тебя в тюрьму и заставили работать. Или поставили бы к стенке.

— Это утешительно. Именно так я всегда представлял себе ваш золотой век.

— Зря иронизируешь. Ты же знаешь, что без принуждения никак нельзя. Поначалу принуждение — это оборона. Позже необходимость в нем

отпадает.

— Не думаю, — возразил Пятьсот девятый. — В нем нуждается любая тирания. И с каждым годом все больше, не меньше. Такова ее судьба. И неизменный крах. Вот тебе наглядный пример.

— Нет. Нацисты совершили принципиальную ошибку, начав войну, которая им оказалась не по зубам.

— Это не было ошибкой. Это было необходимостью. Они просто не могли по-другому. Если бы им пришлось разоружаться и не нарушать мир, они бы обанкротились. И вас постигнет такая же судьба.

— Свои войны мы не проиграем. Мы их ведем по-другому. Изнутри.

— Да, изнутри и вовнутрь. Тогда вы сразу же можете сохранить эти лагеря. Да еще и пополнить их.

— Это мы можем, — ответил Вернер вполне серьезно. — Почему ты не хочешь быть с нами?

— Именно поэтому. Если после всего этого ты придешь к власти, то постараешься меня ликвидировать. А я тебя нет. Вот в чем суть.

Предсмертный хрип седоволосого узника раздавался теперь с большими паузами. Вошел Зульцбахер.

— Говорят, что завтра утром немецкие летчики будут бомбить лагерь. И все разрушат.

— А слухам все нет конца, — заметил Вернер. — Поскорее бы стемнело. Мне уже пора туда.

Бухер окинул взглядом белый домик на холме напротив лагеря. Он стоял между деревьями под косыми лучами солнца и, казалось, нисколько не пострадал. Деревья в саду светились ярким светом, будто тронутые первым бело-розовым вишневым цветом.

— Теперь ты, наконец, веришь? — спросил он. — Уже слышны их орудия. Они приближаются с каждым часом. Мы выйдем отсюда.

Бухер снова посмотрел на белый домик. Он был суеверен: пока домик цел и невредим — и с ними ничего не случится. Он и Рут останутся живыми и спасутся.

— Да, — Рут присела на корточки рядом с колючей проволокой.

— А куда мы пойдем? — спросила она.

— Прочь отсюда. Как можно дальше.

— Куда?

— Куда-нибудь. Может, еще жив мой отец.

Бухер в это не верил; но он не знал точно, умер его отец или нет. Об этом знал Пятьсот девятый, но никогда не говорил.

— А у меня никого больше не осталось, — проговорила Рут. — Я своими глазами видела, как их тащили в газовые камеры.

— Может, их просто отправили с другим транспортом. Или куда-нибудь еще. Ты ведь тоже осталась в живых.

— Да, — ответила Рут. — Я осталась в живых.

— В Мюнстере у нас был небольшой дом. Может, он еще стоит. У нас его забрали. Если он еще стоит, нам его, наверно, вернут. Тогда мы сможем там жить.

Рут Голланд молчала. Бухер посмотрел на нее и увидел, что она плачет. Он никогда не видел ее слез и решил, что это, наверно, от воспоминаний о погибших родственниках. Однако смерть была привычным делом в лагере, и ему казалось каким-то преувеличением испытывать такие глубокие переживания после столь долгих лагерных лет.

— Нам нельзя предаваться воспоминаниям, Рут, — проговорил он с некоторым нетерпением. — Иначе как мы сможем дальше жить?

— Это не воспоминания.

— Чего же ты тогда плачешь?

Сжатыми пальцами Рут вытерла слезы.

— Хочешь знать, почему меня не сожгли в газо-

вой камере? — спросила она.

Бухер почувствовал, что сейчас услышит то, о чем ему лучше было бы не знать.

— Можешь мне об этом не рассказывать, — заметил он. — Но если хочешь, твое дело. Мне все равно.

— Это очень важно. Мне исполнилось семнадцать лет. Тогда я не была такой безобразной, как сейчас. Поэтому мне оставили жизнь.

— Да-а, — проговорил Бухер, ничего не понимая. Она поглядела на него. Он впервые увидел, что у нее прозрачные серые глаза. Раньше он этого просто не замечал.

— Тебе не ясно, что это такое? — спросила она.

— Нет.

— Мне сохранили жизнь, потому что требовались женщины. Молодые — для солдат. В том числе для украинцев, воевавших на стороне немцев. Теперь-то до тебя дошло?

Какое-то мгновение Бухер сидел как ошарашенный. Рут наблюдала за ним.

— Вот, что они из тебя сделали? — проговорил Бухер наконец. Он отвел от нее взгляд.

— Да. Вот, что они из меня сделали. — Больше она не плакала.

— Это неправда.

— Это правда.

— Я имею в виду другое. Я имею в виду, что ты сама этого не хотела.

Она горько усмехнулась.

— Какая разница!

Теперь Бухер пристально рассматривал ее. Казалось, в ней угасали все чувства. Но именно это превратило ее лицо в некую маску боли, из-за чего он вдруг почувствовал, а не только услышал, что она сказала правду. Он ощутил это до рези в животе, но вместе с тем он отказывался признать сказанное, он еще не был к этому готов — в данный момент он желал только одного, чтобы в его присутствии это лицо стало иным.

— Это неправда, — сказал он. — Это было против твоей воли. Тебя при этом не было. Ты в этом не участвовала.

Ее взгляд вернулся из пустоты.

— Но так было, и это трудно забыть.

— Никто из нас не знает, что он может забыть и что нет. Все мы должны забыть многое. Иначе мы с таким же успехом можем остаться здесь и умереть.

Бухер повторил что-то из сказанного накануне вечером Пятьсот девятым. Как давно это было? Прошли уже годы. Он несколько раз икнул.

— Ты жива, — проговорил он затем с некоторым усилием.

— Да, я жива. Я двигаюсь, я говорю слова, я ем хлеб, который ты мне перекидываешь через проволоку, — и прочее тоже живет. Живет! Живет!

Рут прижала ладони к вискам и посмотрела на него. Она разглядывает меня, — подумалось Бухеру, — она снова видит меня. Она не разговаривает теперь только с небом и с домиком на холме».

— Ты живешь, — повторил он. — И этого мне достаточно.

Она опустила ладони.

— Ты ребенок, — проговорила она безутешно. — Ты ребенок! Что тебе известно?

— Я не ребенок. Кто здесь был, не ребенок. Даже Карел, которому одиннадцать лет.

Она покачала головой.

— Я не это имею в виду. Теперь ты веришь в то, что говоришь. Но это не удержится. Явится другое. У тебя и у меня. Воспоминание, позже, когда…

«Почему она мне это сказала? — подумалось Бухеру. — Ей не надо было говорить мне: я бы этого не знал, и этого никогда бы не было».

— Я не знаю, что ты имеешь в виду, — сказал он. — Но думаю, на нас распространяются особые, необычные правила. Здесь в лагере есть люди,

которые убивали людей, потому что так было необходимо, — он подумал о Левинском, — но эти люди не считали себя убийцами так же, как не считает себя убийцей солдат на фронте. И они правы. Точно так же и мы. К случившемуся с нами не приложимы нормальные мерки.

— Когда мы выйдем отсюда, ты будешь размышлять об этом по-другому… — Она посмотрела на него. Ей вдруг стало ясно, почему за последние недели она испытала так мало радости. Она ощущала страх — страх перед освобождением.

— Рут, — сказал он и почувствовал испарину. — Все прошло. Забудь это! Тебя принудили к тому, что в тебе вызывало отвращение. Что от этого осталось? Ничего. Ты в этом не участвовала; ты этого не хотела. В тебе же не осталось ничего, кроме отвращения.

— Меня рвало, — проговорила она еле слышно. После этого меня почти всегда рвало. В конце концов меня выслали. — Она не сводила с него взгляд. — И вот результат — седые волосы, рот, в котором почти нет зубов. И шлюха.

Он вздрогнул от одного этого слова и долго молчал.

— Они всех нас унижали, — произнес он наконец. — Не только тебя. Всех нас. Всех, кто здесь,

всех, кто сидит в других лагерях. Унизили твою женскую честь, унизили нашу гордость и более того — наше человеческое достоинство. Они втаптывали в грязь, оплевывали; они настолько нас унизили, что неизвестно, как мы все вынесли. В последние недели я часто размышлял об этом. Я говорил об этом и с Пятьсот девятым. Они причинили так много, в том числе и мне…

— Что?

— Не хочу говорить об этом. Пятьсот девятый сказал: ложно то, что не воспринято внутренне. Вначале до меня не дошло. Но теперь я понял, что он имел в виду. Я не трус, а ты не шлюха. Все, что над нами сделали, ничего не значит, пока мы сами этого не ощутим.

— Я именно так это ощущаю.

— Когда мы выйдем отсюда, все пройдет.

— Наоборот, будет восприниматься еще острее.

— Нет. Если бы все было именно так, только немногие из нас могли бы жить дальше. Нас унизили, но мы не униженные.

— Кто так говорит?

— Бергер.

— У тебя хорошие учителя.

— Да, и я многому научился. Рут отвернулась. Лицо ее сейчас выглядело усталым. В нем еще

присутствовала боль, но уже не было конвульсии.

— Так много лет, — сказала она. — От этого будни…

Бухер увидел, как тени голубых облаков поплыли над холмом, на котором стоял белый домик. Еще мгновение он подивился тому, что домик цел и невредим. Ему казалось, будто в этот домик непременно должна угодить какая-нибудь бесшумная бомба. Но домик продолжал стоять.

— Давай подождем, пока выйдем отсюда, ощутив этот миг до того, как нас охватит отчаяние? — попросил он.

Она посмотрела на свои тонкие руки, подумала о своих седых волосах и выпавших зубах, а потом еще о том, что Бухер вот уже столько лет едва ли видел хоть одну женщину за пределами лагеря. Она была моложе его, но чувствовала себя на много лет старше. Пережитое висело на ней, как свинцовые гири. Она ничего не думала о том, чего он с такой уверенностью ждал, и тем не менее и в ней жила последняя надежда, за которую она цеплялась.

— Ты прав, Йозеф, — проговорила она. — Мы будем ждать столько, сколько надо.

Она пошла к своему бараку, грязная юбка бол-

талась вокруг тонких ног. Он смотрел ей вслед и вдруг почувствовал, что в нем, как бурный фонтан, закипает ярость. Он сознавал свою беспомощность и неспособность, вынужденный пропустить через самого себя и понять то, что сказала Рут.

Он медленно встал и поплелся к бараку. На него как-то мучительно сразу подействовал яркий цвет неба.

XXI

Нойбауэр стал пристально разглядывать письмо. Потом еще раз прочел последний абзац: «Если хочешь, чтобы тебя взяли, поступай, как знаешь. Я же хочу быть свободной. Фрейю забираю с собой. Приезжай. Зельма». Вместо адреса была указана какая-то деревня в Баварии.

Нойбауэр огляделся. Происшедшее не укладывалось у него в голове. В это трудно было поверить. Они должны были вот-вот вернуться. Оставить его в такой момент — немыслимое дело!

Он тяжело опустился в одно из французских кресел.

Оно скрипнуло. Нойбауэр поднялся, пырнул кресло ногой и лег на диван. Эта чертова мишура! И зачем только понадобились ему эти штуковины вместо добротной, как у других, немецкой мебели? Все это он приобретал ради нее. Зельма где-то прочла об этом и подумала, как это ценно и элегантно. Ему-то что было до этого? Ему, суровому, честному стороннику фюрера? Он замахнулся, чтобы еще раз ткнуть ногой в

изящное кресло, но одумался: «Зачем так? Этот хлам, наверное, можно когда-нибудь продать. Вот только, кто станет покупать предметы искусства под грохот пушек?»

Нойбауэр снова встал и прошелся по квартире. В спальне отпер дверцы шкафа. Он еще надеялся, но когда заглянул в ящики… Зельма прихватила с собой меха и все более или менее ценное. Он отбросил белье в сторону — не оказалось и шкатулки с драгоценностями. Нойбауэр медленно закрыл дверцы и некоторое время постоял около туалетного столика. Он машинально взял в руки хрустальные флаконы из богемского стекла, вынул пробку, и, ничего не ощущая, принюхался. Это были подарки, напоминавшие о славных днях в Чехословакии, Зельма их оставила. Наверно, чересчур хрупкие.

Он резко шагнул к настенному шкафу, стал искать ключ, рванул на себя дверцу. Но этого можно было и не делать: Зельма прихватила с собой все ценные бумаги. Даже его золотую сигаретницу со свастикой в бриллиантах — подарок промышленников, когда он еще работал по технологической части. Ему надо было остаться и продолжать «доить» братьев. Идея с лагерем в итоге все же оказалась ошибкой. Конечно, в

первые годы она была подходящим средством давления; но теперь это его явно тяготило. Впрочем, Нойбауэр слыл одним из самых гуманных комендантов. Об этом все знали. Меллерн не был Дахау, Ораниенбургом или Бухенвальдом, не говоря уж о лагерях смерти.

Нойбауэр прислушался. Одно из окон было открыто, и муслиновые портьеры витали, как привидения, по ветру. Да еще дьявольские раскаты с горизонта! Это выводило из себя. Он закрыл окно и в спешке прихлопнул портьеру. Он снова открыл окно и потянул портьеру на себя. Но она зацепилась за угол и порвалась. Нойбауэр выругался и захлопнул окно. Потом пошел на кухню. Сидевшая за столом домработница вскочила, когда вошел хозяин. Он буркнул, даже не удостоив ее взгляда. Эта стерва, наверняка, все знала. Он сам достал из холодильника бутылку пива. Обнаружив еще полбутылки можжевеловой водки «штейнхегер», он отнес обе бутылки в гостиную. Потом Нойбауэр вернулся на кухню за стаканами. Домработница стояла у окна и прислушивалась. Она резко обернулась, словно ее застали за каким-то неблаговидным делом.

— Что-нибудь приготовить поесть?

— Нет.

Тяжело ступая, он вышел из кухни. Можжевеловая водка оказалась крепкой и пряной, а пиво — холодным. «А что, если сбежать, — подумал Нойбауэр. — Как евреи. Это даже хуже! Евреи так не поступают. Они держатся друг за друга». Он часто был тому свидетелем. Обманутый! Брошенный! Вот, чего он заслужил! Он больше получил бы от жизни, если бы не был верным отцом семейства. Верным! Можно сказать, почти что верным. В общем-то верным, если учесть, чего он мог бы добиться в жизни. А эти несколько раз! Вдова — это не в счет. Несколько лет назад пришла к нему одна рыжая, чтобы вызволить из лагеря своего мужа. На что она только не шла в своем страхе! А ведь ее муж уже давно умер. Она, разумеется, этого не знала. Разудалый выдался тогда вечер. А вот когда ей вручили сигарную коробку с прахом, повела себя по-идиотски. Сама виновата, что попала за решетку. Оберштурмбаннфюрер не мог простить тех, кто плевал ему в лицо.

Он налил себе еще приличную порцию «штейнхегера». «С какой стати он вспомнил именно об этом? Ах да, в связи с Зельмой. Чего бы только у него не было! Да, он упустил кое-какие шансы. Чего только не позволяли себе другие! Достаточно вспомнить Клумпфуса Биндинга из гестапо!

Каждый день новая афера».

Нойбауэр отодвинул от себя бутылку. Дом казался ему таким пустым, словно Зельма вывезла всю мебель. «Фрейю она тоже утащила за собой. Почему у меня не было сына? Не его в этом вина, это уж точно! Ах, проклятье! — Он огляделся вокруг. — Что сейчас еще можно предпринять? Попробовать ее найти? В Кафердорфе? Но Зельма была сейчас в пути. Пока она доберется до места, может пройти много времени».

Нойбауэр обвел взглядом свои до блеска начищенные сапоги. Блистательная чета замарана предательством. Он поднялся и, тяжело ступая, прошел сквозь пустой дом на улицу. Там его ждал «мерседес».

— В лагерь, Альфред!

Машина медленно поползла по улицам города.

— Стоп! — вдруг проговорил Нойбауэр. — Альфред, в банк!

Он вышел из машины, стараясь выглядеть максимально подтянутым. Никто не должен ничего заметить. Вот так! Он не даст себя скомпрометировать! Выяснилось, что она сняла в банке половину всех денег. Когда он спросил, почему его не поставили в известность, в ответ только пожали плечами, сославшись на совместный

счет. К этому добавили, что таким образом даже хотели оказать ему любезность, ведь снятие крупных сумм с банковского счета официально не приветствуется.

— В сад, Альфред!

Пока они добрались, прошло много времени. Зато их взору в утреннем свете открылся умиротворенный сад. Во многих местах уже цвели фруктовые деревья. Ярким многоцветием напоминали о себе нарциссы, фиалки и крокусы. Как пестрые пасхальные яйца, они светились в ядовитой зелени листвы. Вот их-то в неверности не упрекнешь — они явились вовремя, заявив о себе, как положено. Природа отличалась надежностью — тут никто не сбегает.

Он направился к кроликам, которые пережевывали пищу за проволочными решетками. В их ясных красноватых глазах не было мыслей о банковских счетах. Нойбауэр просунул палец сквозь проволоку и погладил мягкие ангорские шкурки. Он хотел заказать из кроличьего меха шаль — для Зельмы. Какой же он все-таки добродушный дурак, которого все постоянно обманывают.

Он прислонился к решетке. Его возмущение в этой умиротворяющей обстановке теплого уютного крольчатника обернулось мучитель-

ным сочувствием к самому себе. Сияющее небо, распустившаяся ветка, которая раскачивалась перед входом, кроткие мордочки животных в сумеречном свете — все это способствовало его сиюминутному настроению.

Вдруг до его слуха снова донеслось грохотание. Оно было менее ритмичное, но более интенсивное, чем прежде. В его личные переживания властно рвался какой-то глухой подземный стук. Он постоянно усиливался, а вместе с ним снова возвращался страх. Но этот страх был уже не такой, как раньше. Он сидел глубже. Сейчас Нойбауэр был один и уже не мог больше заблуждаться, пытаясь убедить других и таким образом самого себя. Теперь он ощущал страх без каких-либо оговорок, он то подступал к горлу из желудка, то из горла снова перетекал в желудок. «Я не совершил ничего неправедного, — размышлял он без внутренней убежденности. — Я только исполнял свой долг. У меня есть свидетели. Много свидетелей. Один из них — Бланк. Совсем недавно я угостил его сигарой, вместо того чтобы засадить в тюрьму. Другой на моем месте просто забрал бы у него магазин. Бланк в этом сам признался, он даст показания. Я обошелся с ним прилично, он подтвердит это под присягой», — размышлял

в нем отстранение какой-то внутренний голос.

Нойбауэр резко обернулся, будто эти слова кто-то действительно произнес у него за спиной. Перед ним выстроились в ряд выкрашенные в зеленый цвет грабли и лопаты с крепкими деревянными ручками. «Эх, оказаться бы сейчас крестьянином, хозяином сада, содержателем гостиницы или вообще никем! А эта вот проклятая цветущая ветка — ей проще, цветет себе и никакой ответственности. А каково оберштурмбаннфюреру? С одной стороны подошли русские, с другой — англичане и американцы, куда тут деться? Зельме хорошо говорить. Бежать от американцев означает попасть в руки к русским, уж можно себе представить, чем все это кончится. Они ведь неспроста прошли от Москвы и Сталинграда по своей разоренной земле».

Нойбауэр вытер вспотевшие глаза. Слегка пошатываясь, он сделал несколько шагов. Требовалась большая четкость в мыслях. Нойбауэр на ощупь выбрался из крольчатника. Ощутив свежесть на дворе, он глубоко вздохнул. Но вместе с воздухом он словно вдохнул и доносившееся с горизонта беспорядочное грохотание. У него задрожало в легких, и он снова почувствовал слабость. Легко, без отрыжки, его вырвало около

дерева в окружении нарциссов.

— Это пиво, — проговорил он. — Пиво и «штейнхегер» мне не впрок. — Он окинул взглядом ворота. Альфред не мог его видеть. Нойбауэр немного постоял. Почувствовав, как под ветром у него высох пот на лбу, он нетерпеливо направился к машине.

— В бардак, Альфред!

— Куда, куда, господин оберштурмбаннфюрер?

— В бардак! — вдруг разозлившись, крикнул Нойбауэр. — Ты что, разучился понимать немецкий?

— Бордель закрыт. Сейчас в нем полевой лазарет.

— Тогда вези в лагерь.

Он сел в машину. Ясное дело — в лагерь, куда же еще?

— Как вы оцениваете обстановку, Вебер?

— Прекрасно. — Вебер спокойно посмотрел на него.

— Прекрасно? На самом деле? — Нойбауэр нащупал в кармане сигары; потом вспомнил, что Вебер их не курит. — К сожалению, у меня с собой нет сигарет. Была пачка, но исчезла. Одному Богу известно, куда я их засунул.

Он недовольно посмотрел на заколоченное

досками окно. При авианалетах стекло вылетело, а новое не подвезли. Нойбауэр не знал, что его сигареты во время неразберихи были украдены и на них с помощью рыжего писаря и Левинского ветераны второго барака на целых два дня были обеспечены хлебом.

К счастью, сохранились его тайные записи — все его филантропические указания, которые затем «ошибочно» воспринимались Вебером и другими. Нойбауэр наблюдал за Вебером со стороны. Казалось, что начальник лагеря был абсолютно невозмутим, хотя за ним водилось немало всяких грехов. Вот и эти последние случаи, когда повесили… Нойбауэра снова бросило в жар. Он почувствовал себя уверенно.

— Что бы вы стали делать, Вебер, — спросил он задушевно, — если бы, предположим, на некоторое время из тактических соображений, вы меня понимаете, значит, на короткий выжидательный период противник занял нашу территорию, что, — поспешно добавил Нойбауэр, — как часто случалось в истории, вовсе не означает поражения?

Вебер слушал его с едва заметной лукавой улыбкой.

— Для такого, как я, всегда найдется, что де-

лать, — ответил он по-деловому. — Мы снова расправим плечи, может быть, под другим именем. Ну, скажем, как коммунисты. В течение нескольких лет национал-социалистов больше не будет. Все станут демократами. Но это не так важно. По всей вероятности, я когда-нибудь и где-нибудь устроюсь работать в полиции. Может быть, даже с поддельными документами. Так и пойдет дело.

Нойбауэр ухмыльнулся. Уверенность Вебера передалась ему.

— Неплохая идея. А я? Что вы думаете, кем стану я?

— Не знаю. У вас семья, оберштурмбаннфюрер. Тут не так просто позволить себе такие перепады, в том числе нелегальное положение.

— Разумеется. — От хорошего настроения Нойбауэра снова не осталось и следа. — Знаете что, Вебер, мне хотелось бы сделать лагерный обход. Давно я уже там не был.

Когда он появился в дезинфекционном отделении, Малый лагерь уже был в курсе дела. Вернер и Левинский снова переправили большую часть оружия в трудовой лагерь; только Пятьсот девятый оставил себе револьвер. Он настоял на своем, спрятав оружие под кроватью.

Через четверть часа из госпиталя пришло удивительное сообщение: инспекционный обход не преследует карательных целей, шмона в бараках не предвидится, Нойбауэр, наоборот, настроен прямо-таки благожелательно.

Новый староста блока нервничал. Он орал и командовал.

— Только не кричи так, — сказал ему Бергер. — От твоего крика лучше не станет.

— Что?

— Что слышал!

— Я кричу, когда хочу. Выходи! Стройся! — Староста бегал вдоль барака. Собирались те, кто мог ходить. — Это не все! Должно быть больше!

— Мертвецам тоже строиться?

— Заткни пасть! Всем выйти! Лежачим больным тоже!

— Послушай. Об инспекции ничего не известно. Приказ не поступал. Поэтому незачем выгонять весь барак на построение.

Староста блока был весь в поту.

— Я делаю, что считаю нужным. Я староста блока. Где тот, кто всегда с вами тут сидит? С тобой и с тобой. — Он показал на Бергера и Бухера.

Староста блока открыл дверь в барак, чтобы проверить. Именно это Бергер хотел предотвра-

тить. Пятьсот девятого специально спрятали, чтобы он не встретился еще раз с Вебером.

— Его здесь нет. — Бергер загородил ему проход.

— Что-о? Уйди с прохода!

— Его здесь нет, — повторил Бергер, не сходя с места. — Вот и все.

Староста блока уставился на него. Бухер и Зульцбахер встали рядом с Бергером.

— Это еще что такое? — спросил староста блока.

— Его здесь нет, — проговорил Бухер. — Тебе интересно знать, как умер Хандке?

— Вы в своем уме? Подошли Розен и Агасфер.

— Вы знаете, что я могу переломать всем вам кости? — спросил староста.

— Прислушайся! — сказал Агасфер, вытянув свой костлявый указательный палец в сторону горизонта. — Все ближе и ближе.

— Он погиб не во время авианалета, — пояснил Бухер.

— Мы не ломали Хандке шею. Это сделали не мы, — сказал Зульцбахер. — Ты никогда не слышал о тайном лагерном суде?

Староста блока сделал шаг назад. Он знал, что уже случалось с предателями и доносчиками.

— И вы имеете к этому отношение? — спросил он недоверчиво.

— Будь благоразумным, — спокойно проговорил Бергер. — И не доводи себя и нас до сумасшествия. Ну кому еще захочется попасть в список тех, с кем будут сведены счеты?

— Разве кто-нибудь об этом говорил? — Староста изобразил удивление. — Если мне никто ничего не сказал, я и знать не знаю, о чем идет речь. А что, собственно, произошло? До сих пор каждый мог на меня положиться.

— Давно бы так.

— Больтке идет, — просигналил Бухер.

— Ладно, ладно. — Староста подтянул свои штаны. — Я прослежу. Вы можете на меня положиться.

Я ведь один из вас.

«Черт возьми, — подумал Нойбауэр. — И почему бомбы не упали сюда? Тогда все разрешилось бы в самом лучшем виде. Всегда случается не то, что требуется!»

— Это ведь щадящий лагерь? — спросил он.

— Щадящий, — подтвердил Вебер.

— Ну, — Нойбауэр пожал плечами. — В конце концов мы не принуждаем их работать.

— Нет. — Вебер с улыбкой представил себе, как

можно заставить работать этих призраков. Сама мысль показалась ему абсурдной.

— Блокада, — сказал Нойбауэр. — Не наша вина… противники… — он повернулся к Веберу. — Здесь вонища, как в обезьяньей клетке.

— Дизентерия, — пояснил Вебер. — По сути это место для отдыха больных…

— Вы правы, больных! — Нойбауэр сразу подхватил тему. — Больные, дизентерия, поэтому здесь хоть топор вешай. В госпитале было бы то же самое. — Он в нерешительности огляделся. — Люди даже лишены возможности помыться?

— Слишком велика опасность заражения. Эта часть лагеря поэтому более или менее изолирована от остальных. Помывочные приспособления на другой стороне.

При слове «заражение» Нойбауэр невольно сделал шаг назад.

— У нас достаточно белья, чтобы дать этим людям свежее? Ведь старое, наверное, придется сжечь, не так ли?

— Не обязательно. Его можно дезинфицировать. Белья на складе достаточно. Мы получили большую партию из Бельзена.

— Хорошо, — произнес облегченно Нойбауэр. — Итак, выдать свежее белье, подобрать необ-

ходимое количество приличных роб и штанов или еще чего-нибудь. Раздать хлорную известь и дезинфицирующие средства. Тогда все это будет выглядеть совсем по-другому. Запишите это.

Первый староста лагеря, толстый уголовник, делал услужливо записи.

— При этом обеспечить максимальную чистоту! — диктовал Нойбауэр.

— Обеспечить максимальную чистоту, — повторил лагерный староста.

Вебер подавил в себе ухмылку. Нойбауэр повернулся к заключенным.

— У вас есть все, что положено?

Ответ предопределялся двенадцатилетним пребыванием в лагере.

— Так точно, господин оберштурмбаннфюрер.

— Хорошо. Пошли дальше.

Нойбауэр огляделся еще раз. Старые черные бараки напоминали гробы. Он искал и вдруг поймал нужную ему мысль.

— Дайте указание посадить здесь что-нибудь зеленое, — сказал он. — Сейчас самое время. Несколько кустарников с северной стороны и цветы вдоль южной стены. Это улучшает настроение. Все это есть в нашем садовом хозяйстве, не так ли?

— Слушаюсь, господин оберштурмбаннфюрер.

— Итак! Немедленно приступайте к исполнению. Кстати, это можно устроить и у бараков в трудовом лагере. — Нойбауэра захватила его идея. В нем проснулся владелец сада. — Даже можно клумбу фиалок, хотя нет, примулы лучше, желтый цвет ярче…

Двое заключенных медленно повалились на землю. Никто даже не пошевелился, чтобы им помочь.

— Примулы… в нашем садовом хозяйстве найдется достаточное количество примул?

— Слушаюсь, господин оберштурмбаннфюрер. — Толстый староста лагеря стоял, вытянувшись по стойке «смирно». — Примул сколько угодно. Уже в цвету.

— Хорошо. Займитесь этим. И пусть лагерный оркестр иногда играет внизу, чтобы им здесь тоже что-нибудь перепадало.

Нойбауэр повернул обратно. Другие последовали за ним. Он чуть-чуть успокоился. У заключенных не было жалоб. Многие годы отсутствия критики приучили его считать фактом то, во что он сам хотел верить. Поэтому и теперь он ожидал от заключенных, что они увидят в нем того, кого ему хотелось: человека, который в сложных усло-

виях для них делает все, от него зависящее. Ну а что они оставались людьми, он уже давно забыл.

XXII

— Что? — спросил недоверчиво Бергер. — Вообще нет ужина?

— Вообще.

— И супа нет?

— Ни супа, ни хлеба. По прямому приказу Вебера.

— А другие? Трудовой лагерь?

— Ничего. Никакого ужина всему лагерю.

— Белье мы получили, а пищи нет?

— Примулы нам тоже дали. — Пятьсот девятый показал на два чуть заметных углубления по обе стороны двери. В них стояло несколько полуувядших растений. В полдень заключенные принесли их сюда из садового хозяйства и высадили.

— Может, они съедобные?

— И не думай! Если они исчезнут, мы целую неделю останемся без еды.

— Чего вдруг? — заметил Бергер. — После всего этого спектакля с Нойбауэром я подумал, что нам, может быть, положат в суп даже картошку.

Подошел Лебенталь.

— Это Вебер. Не Нойбауэр, Вебер страшно злит-

ся на Нойбауэра. Думает, что Нойбауэр хочет обеспечить себе прикрытие. Что, наверняка, так и есть. Поэтому Вебер везде, где может, работает против Нойбауэра. Это я узнал из канцелярии. Левинский, Вернер и другие оттуда это тоже подтверждают. А страдать от этого приходится нам.

— Многие не выдержат и умрут. Они стали разглядывать красное небо.

— Вебер сказал в канцелярии, чтобы ни у кого не было иллюзий. Уж он-то позаботится о том, чтобы держать нас на голодном пайке. — Лебенталь вынул изо рта искусственную челюсть, бегло осмотрел ее и поставил обратно.

Из барака донесся слабый крик. Весть быстро распространилась вокруг. Скелеты, покачиваясь, вышли из двери, чтобы проверить кухонные бидоны: пахнут они пищей или их обманывают. Бидоны оказались чистыми и сухими. Стенание усилилось. Многие, опустившись на грязную землю, били по ней костлявыми кулачками. Большинство же тихо уходили прочь или беззвучно лежали вокруг с раскрытыми ртами и выпученными глазами. Из дверей долетали едва слышные голоса тех, кто уже не мог встать. Это не был членораздельный крик; это был слабый хорал отчаяния, монотонное пение, в котором даже

не содержалось слов, мольбы и проклятий. Это было нечто запредельное — крохотный кусочек угасающей жизни, которая звенела, щебетала, посвистывала и скреблась, словно бараки — это огромные ящики с умирающими насекомыми.

В семь часов заиграл лагерный оркестр. Он расположился вне Малого лагеря, но настолько близко, что его было хорошо слышно. Указание Нойбауэра было выполнено незамедлительно. Первой вещью, как всегда, оказался любимый вальс коменданта «Розы с юга».

— Давайте поедать надежду, если больше нет ничего другого, — сказал Пятьсот девятый. — Давайте поедать артиллерийский огонь! Нам надо выстоять. Мы выстоим!

Малая группа присела на корточках около барака. Ночь выдалась прохладная и влажная. Но они не очень мерзли. В первые же часы в бараке умерло двадцать восемь человек; ветераны сняли с них вещи, которые могли сгодиться, и надели их на себя. Они не хотели заходить в барак: там хрипела, стонала и чавкала смерть. Три дня им не выдавали хлеба, а сегодня они остались еще и без супа. На всех нарах не прекращалась борьба, кто-то сдавался и умирал. Ветераны не хотели заходить в барак. Не желали спать в этой массе.

Смерть была, как зараза, и им казалось, что во сне перед нею они беззащитны. Вот почему они сидели снаружи, напялив на себя вещи умерших, и пристально смотрели на горизонт, откуда должна была прийти свобода.

— Одну эту ночь, — сказал Пятьсот девятый. — Только одну эту ночь! Поверьте мне. Нойбауэр узнает об этом и завтра же отменит распоряжение. У них уже нет единства, а это начало конца. Мы столько перетерпели. Ну еще эту ночь!

Все молчали. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу, как стая зверьков зимой. Они делились друг с другом не только теплом; это была многократно умноженная жизнестойкость, которая была важнее тепла.

— Давайте поговорим о чем-нибудь, — предложил Бергер. — Но чтобы оно не имело отношения к тому, что здесь. — Он повернулся к Зульцбахеру, сидевшему рядом с ним на корточках. — Зульцбахер, чем станешь заниматься, когда выйдешь отсюда?

— Я? — Зульцбахер задумался. — Раньше времени лучше не говорить. Это приносит несчастье.

— Теперь уже больше не принесет, — резко возразил Пятьсот девятый. — Все эти годы мы не говорили об этом, потому что иссушили бы себе

души. Но теперь мы должны об этом говорить. В такую-то ночь! Когда же еще? Давайте съедим имеющуюся у нас надежду. Чем ты займешься, когда выйдешь отсюда, Зульцбахер?

— Я не знаю, где моя жена. Она жила в Дюссельдорфе, а Дюссельдорф в развалинах.

— Если она в Дюссельдорфе, с нею все в порядке. Дюссельдорф занят англичанами. По радио это уже давно сообщили.

— Или она умерла, — сказал Зульцбахер.

— К этому надо быть готовым. Ну что нам известно о тех, кто остался там?

— А тем о нас, — добавил Бухер.

Пятьсот девятый посмотрел на Бухера. Он все еще скрывал от него то, что его отец умер, и то, как он умирал. На то еще есть время до освобождения. Тогда ему легче будет это перенести. Бухер еще молод, и только у него есть кто-то, с кем он выйдет отсюда. Пятьсот девятый еще успеет ему обо всем рассказать.

— Как все будет выглядеть, когда мы выберемся отсюда? — проговорил Мейергоф. — Я а лагере уже шесть лет.

— А я двенадцать, — добавил Бергер.

— Так долго? Ты попал сюда как политический заключенный?

— Нет. Просто я лечил с 1928 по 1932 год одного нациста, который впоследствии стал группенфюрером. Строго говоря, даже не я. Он приходил ко мне в часы приема и им занимался один мой друг, врач-специалист. Нацист являлся ко мне, потому что он жил в одном доме со мной. Для него так было удобнее.

— И поэтому он тебя засадил в тюрьму?

— Да. У него был сифилис.

— А твой друг, врач?

— Его он велел расстрелять. Сам я пытался ему внушить, мол, у меня нет абсолютной уверенности, что это такое, возможно, всего лишь воспаление со времен последней войны. Тем не менее он был достаточно осторожен, отправив меня за решетку.

— Как ты поступишь, если он еще жив? Бергер задумался.

— Не знаю, право.

— Я бы его убил, — заявил Мейергоф.

— И за это снова попал бы в тюрьму, да? — сказал Лебенталь. — За умышленное убийство. Еще раз лет на десять или двадцать.

— А чем ты займешься. Лео, когда выйдешь отсюда? — спросил Пятьсот девятый.

— Я открою магазин по продаже пальто. Мага-

зин добротного готового платья.

— Торговать пальто? Летом? Уже лето наступает, Лео.

— Но ведь есть и летние пальто! К ним я могу добавить костюмы. И, разумеется, плащи.

— Лео, — продолжал Пятьсот девятый. — Почему бы тебе не остаться в сфере продовольственных товаров? Потребность в них больше, чем в пальто, и ты добился в этой области великолепных успехов.

— Ты так думаешь? — Лебенталь был явно польщен. — Безусловно!

— Наверно, ты прав. Я подумаю. Взять, например, американское продовольствие. Спрос на него будет колоссальный. Вы еще помните американский шпик по окончании последней войны? Он был толстый, белый и нежный, как марципан с розовыми…

— Заткнись, Лео! У тебя с головой все в порядке?

— Мне это неожиданно пришло в голову. Может, они и в этот раз пришлют кой-чего? По крайней мере, для нас?

— Успокойся, Лео!

— А что ты собираешься делать, Бергер? — спросил Розен.

Бергер протер воспаленные глаза.

— Я поступлю в ученики к аптекарю. Оперировать такими руками? Когда прошло так много времени? — Он сжал кулаки под курткой, которую натянул на себя. — Это невозможно. Я стану аптекарем. А ты?

— Жена развелась со мной, потому что я еврей. Больше я ничего о ней не слышал.

— Тебе ведь не захочется ее разыскивать? — спросил Мейергоф.

Розен задумался.

— Наверно, она поступила так под нажимом. Что ей еще оставалось делать? Я сам ей это посоветовал.

— Может, за все эти годы она стала такой безобразной, что для тебя уже больше нет никакой проблемы, — проговорил Лебенталь. — Может, ты будешь рад, что от нее избавился.

— За это время мы тоже не стали моложе.

— Девять лет. — Зульцбахер закашлялся. — Каким это все будет, когда встретишься с кем-нибудь после столь долгой разлуки?

— Радуйся, что хоть кто-то останется для свидания.

— Столько лет спустя, — повторил Зульцбахер. — Узнает ли кто-нибудь друг друга?

Среди шарканья ног мусульман им послышались более твердые шаги.

— Внимание, — прошептал Бергер. — Осторожно, Пятьсот девятый.

— Это Левинский, — проговорил Бухер. Он тоже научился узнавать людей по походке.

Подошел Левинский.

— Что вы тут делаете? Жратвы сегодня не будет. У нас есть свой человек на кухне. Иногда ему удавалось своровать хлеба и картошки. Сегодня готовили только для бонз. Поэтому стянуть было невозможно. Вот немного хлеба. А это несколько сырых морковок. Конечно, этого мало, но нам тоже ничего раздобыть не удалось.

— Бергер, — обратился к нему Пятьсот девятый. — Раздай это.

Каждый получил по полгорбушки хлеба и морковке.

— Ешьте не торопясь. Надо жевать и пережевывать, пока не съешь. Бергер, дай им сначала морковь, а несколько минут спустя хлеб.

— Когда ешь в тайне ото всех, чувствуешь себя преступником, — заметил Розен.

— Тогда не ешь, дурень ты, — ответил ему лаконично Левинский.

Левинский был прав. Розен это понимал. Он

хотел объяснить, что эта мысль пришла ему только сегодня, в эту странную ночь, когда они размышляли о будущем, чтобы забыть о голоде, и что она связана именно с ожиданиями, но он не стал ничего говорить. Все это показалось ему чересчур сложным. И малозначительным.

— Они решились, — с трудом выдавил из себя хриплым голосом Левинский. — Зеленые тоже решились. Они хотят участвовать. Их мы оставим. Специальные дежурные, старосты блоков и помещений. Позже проведем отбор. Между прочим, среди них двое эсэсовцев. К тому же врач из лазарета.

— Сволочь он, — сказал Бергер.

— Нам известно, что он из себя представляет. Но он нам полезен. Через него мы получаем информацию. Сегодня вечером поступил приказ об отправке.

— Что? — произнесли Бергер и Пятьсот девятый в один голос.

— Транспорт. Решено вывезти две тысячи человек.

— Они собираются ликвидировать лагерь?

— Вывезти две тысячи человек. Пока.

— Значит, все же транспорт. Как раз этого мы опасались, — сказал Бергер.

— Не волнуйтесь! Рыжий писарь в курсе дела. Если они будут составлять список, вы в него не попадете. Сейчас у нас везде есть свои люди. Кроме того, стало известно, что Нойбауэр не спешит. Он все еще не дал ход приказу.

— Они будут действовать безо всякого списка, — сказал Розен. — Если им не удастся набрать необходимое количество, они сгонят людей в одно место, как они это делали у нас. А список составят задним числом.

— Не надо волноваться. Пока еще есть время. В любой момент все может измениться. Не стоит волноваться, — сказал Левинский.

Розен дрожал от страха.

— Если возникнет опасность, мы спрячем вас в лазарете. Врач сейчас закрывает на все глаза. Мы уже держим там несколько человек, жизнь которых оказалась под угрозой.

— Вы что-нибудь слышали насчет того, собираются ли отправлять женщин? — спросил Бухер.

— Нет. Они не станут этого делать. Женщин здесь и без того очень мало. Левинский встал.

— Пойдем со мной, — сказал он Бергеру. — Я хотел тебя забрать. Для того и пришел.

— Куда?

— В лазарет. Спрячем тебя на пару дней. У

нас там есть комнатка рядом с тифозным отделением; нацисты его как огня боятся. Все уже подготовлено.

— А в чем дело? — спросил Пятьсот девятый.

— В крематорской команде. Они ее завтра уничтожат. Правда, это слухи. Причислят они его к этом команде или нет, никто не знает. Я думаю, да. — Он повернулся к Бергеру. — Ты слишком много насмотрелся всего внизу. Осторожности ради пойдем со мной. Переоденься. Оставь свои вещи здесь при каком-нибудь мертвеце и возьми его вещи.

— Иди, — сказал Пятьсот девятый.

— А староста блока? Вы можете это организовать?

— Да, — неожиданно воскликнул Агасфер. — Он будет помалкивать. Мы это провернем.

— Рыжий писарь в курсе дела. Дрейер в крематории дрожит за свою шкуру. Он не станет искать тебя среди мертвецов. — Левинский с шумом втянул воздух через ноздри. — Здесь их тоже хватает. На всем пути сюда спотыкаешься о них. Пока сожгут все трупы, наверняка пройдет четыре-пять дней. Тогда появятся новые. Вокруг такая неразбериха, что никто больше ничего не знает. Главное, чтобы тебя не нашли. — По его

ищу пробежала ухмылка. — В такие времена это всегда самое главное. Подальше от опасности.

— Пошли, — сказал Пятьсот девятый. — Поищем покойника без татуировок.

Света было недостаточно. От тлеющего и беспокойного красного заката на западном горизонте было мало толку. Им приходилось низко наклоняться над руками мертвецов, чтобы выяснить, есть ли у них на руках наколотые номера. Наконец, нашли одного, примерно такого же роста, как и Бергер, и сняли с него все пещи.

— Пошли, Эфраим!

Они присели у края барака, невидимого охранникам.

— Поскорее здесь переоденься, — прошептал Левинский. — Чем меньше людей об этом знает, тем лучше. Давай сюда свою куртку и штаны!

Бергер разделся. Он был похож на призрачного арлекина на фоне неба. Принимая неожиданный набор белья, он получил и доходящие до икр дамские подштанники. Он еще натянул на себя с глубоким вырезом блузку без рукавов.

— Завтра утром включите его в список умерших.

— Да. Начальник блока эсэсовец, его не знает. А со старостой блока мы уж как-нибудь разбе-

ремся.

Левинский незаметно ухмыльнулся.

— Вы все это здорово провернули. Пошли, Бергер.

— Значит, все же транспорт, — произнес Розен, выглядывая из-за спины Бухера. Зульцбахер был прав. Не надо было затевать говорильню о будущем. Это приносит беду.

— Ерунда! Нам дали поесть. Бергер вне опасности. Нет уверенности, исполнит ли Нойбауэр полученный приказ. Ты что, требуешь гарантий на годы?

— Бергер вернется? — спросил кто-то из сидевших сзади Пятьсот девятого.

— Он вне опасности, — горько заметил Розен. — В транспорт уже не попадет.

— Заткни глотку! — резко бросил Пятьсот девятый и обернулся. Сзади него стоял Карел. — Разумеется, он вернется, Карел, — сказал Пятьсот девятый. — Почему ты не в бараке?

Карел пожал плечами.

— Я думал, у вас есть немного кожи, чтобы пожевать.

— Вот здесь кое-что повкуснее, — проговорил Агасфер. — Он отдал свой кусочек хлеба и морковку. Агасфер приберег это для Карела.

Карел стал очень медленно есть. Мгновение спустя, почувствовав на себе чужие взгляды, он встал и ушел. Когда он вернулся, больше уже не жевал.

— Десять минут, — сказал Лебенталь и посмотрел на свои никелевые часы. — Высокое достижение, Карел. Мне на это потребовалось бы десять секунд.

— Нельзя ли выменять часы на еду, Лео? — спросил Пятьсот девятый.

— Сегодня ночью нельзя ничего выменивать. Даже золото.

— Можно есть печень, — заметил Карел.

— Что?

— Печень. Свежую печень. Если ее сразу же вырезать, она съедобна.

— Откуда вырезать?

— Из мертвецов.

— Откуда ты это знаешь, Карел? — спросил Агасфер через некоторое время.

— От Блатцека.

— Кто это Блатцек?

— Блатцек, в лагере Брюнн. Он сказал, это лучше, чем умереть самому. Покойники умерли, и их все равно сожгут. Он меня многому научил. Он мне показал, как прикидываться мертвым

и как надо бежать, если сзади в тебя стреляют: зигзагом, неравномерно, то вскакивая, то припадая. А еще, как найти себе местечко в общей могиле, чтобы не задохнуться и ночью выбраться из груды тел. Блатцек многое умел.

— Ты тоже многое умеешь, Карел.

— Конечно. Иначе бы меня уже не было здесь.

— Это верно. Но давайте поразмышляем о чем-нибудь другом, — предложил Пятьсот девятый.

— Еще надо надеть на покойника вещи Бергера. ТИРЕ Это оказалось просто. Покойник не успел окоченеть.

Они наложили на него сверху несколько других трупов. Потом снова уселись на корточки. Агасфер что-то еле слышно бормотал.

— В эту ночь тебе придется много молиться, старик, — мрачно проговорил Бухер.

Агасфер поднял глаза. На мгновение он прислушался к доносившемуся издалека грохотанию.

— Когда убили первого еврея, а суда над убийцами не последовало, они попрали закон жизни, — сказал он неторопливо. — Они смеялись. Они говорили: «Ну что значат несколько евреев для великой Германии?» Они закрывали на это глаза. И вот теперь Бог ниспослал на них за это свою кару. Жизнь есть жизнь. Даже самая маленькая.

Он продолжал свое бормотание. Другие молчали. Становилось прохладнее. Они теснее прижимались друг к другу.

Шарфюрер Бройер проснулся. Еще не стряхнув с себя сон, он включил лампу около кровати. В тот же момент на его столе вспыхнули два зеленых огонька. Это были крохотные электрические лампочки, искусно вмонтированные в глазницы черепа мертвеца. Когда Бройер еще раз щелкнул выключателем, погасли все остальные лампочки — и только череп мертвеца продолжал светиться в темноте. Это был любопытный эффект. Он очень нравился Бройеру.

На столе — тарелка с крошками от пирожного и пустая кофейная чашка. Рядом лежало несколько книг — приключенческие романы Карла Мея. Литературная подкованность Бройера исчерпывалась этим и еще одним скабрезным частным сочинением о любовных похождениях какой-то танцовщицы. Зевая, он встал с постели.

На мгновение он прислушался. В камерах бункера все было спокойно. Никто не позволял себе жаловаться на свою судьбу. Уж Бройер-то внушил заключенным уважение к дисциплине.

Бройер протянул руку под кровать, достал бутылку коньяка и взял со стола бокал. Наполнил

его и выпил до дна. Потом снова прислушался. Окно было закрыто, тем не менее до него донеслось громыхание орудий. Он налил еще один бокал и выпил. Затем встал и посмотрел на часы. Было полтретьего.

Бройер натянул сапоги прямо на пижаму. Без сапог обойтись он не мог, потому что с удовольствием пинал узников носком в живот. Без сапог эффект оказывался скромным. В пижаме он чувствовал себя удобно; в бункере было очень жарко. У Бройера угля хватало. В крематории уже ощущалась его нехватка; но Бройер своевременно позаботился о дополнительных запасах для себя.

Он неторопливо прошелся по коридору. В каждой камере было окошко для наблюдения. Бройер не видел в этом необходимости. Он знал свой «зверинец» и гордился этим названием. Иногда он называл его также своим «цирком», в котором отводил себе роль дрессировщика с хлыстом.

Бройер обходил камеры, как любитель вин свои погреба. И подобно знатоку, который выбирает старейшую марку вина, Бройер решил заняться сегодня своим самым старым «постояльцем». Это был Люббе из седьмой камеры. Бройер отпер ее.

Камера поражала малыми размерами и невыносимой духотой: несуразно огромная батарея

центрального отопления была открыта на всю мощь. К трубам за руки и за ноги был прикован человек. Он висел без сознания почти над самым полом. Некоторое время Бройер разглядывал его; потом принес из коридора лейку с водой и попрыскал на узника, как на увядшее растение. Попавшая на трубы отопления вода зашипела и испарилась. Люббе не пошевельнулся. Бройер отстегнул цепи. Подпаленные руки опали вниз. Бройер вышел с лейкой в коридор, чтобы еще раз набрать воды, но остановился. Через две камеры за дверью кто-то застонал. Он отставил лейку в сторону, отпер вторую камеру и неторопливо вошел. Сначала послышалось бормотание, потом раздались глухие шорохи, напоминавшие пинки ногами; затем грохот, дребезжание, удары, толчки, потом вдруг пронзительные крики, медленно переходившие в предсмертные хрипы. Еще несколько глухих ударов, и Бройер вышел. Его правый сапог был мокрым. Он налил воды в лейку и не спеша вернулся в седьмую камеру.

— Смотри-ка! — воскликнул он. — Очухался!

Люббе распластался на полу лицом вниз. Он пытался обеими ладонями сгрести разлитую на полу воду, чтобы слизнуть ее. Он делал неловкие движения, как полумертвая жаба. Увидев перед

собой полную лейку, Люббе с едва слышным кряхтением приподнялся, задергался по сторонам и вцепился в нее. Бройер наступил ему на ладони. Люббе никак не удавалось выдернуть их из-под сапог. Тогда изловчившись, он попробовал дотянуться до лейки, его губы дрожали, голова подергивалась, от огромного напряжения из горла вылетали хриплые звуки.

Бройер разглядывал его глазами специалиста. Он видел, что силы Люббе на исходе.

— Ну ладно, лакай, — пробурчал он. — Получи свой последний обед перед смертью.

Он ухмыльнулся, довольный своей шуткой, и убрал сапог с ладоней своей жертвы. Люббе бросился на лейку с такой поспешностью, что та закачалась. Он не верил в свое счастье.

— Лакай медленно, — приговаривал Бройер. — У нас есть время.

Люббе жадно пил. Он прошел шестую ступень бройерской системы воспитания: никакой пищи в течение нескольких дней, кроме соленой селедки и соленой воды; к тому же в полной духоте да еще прикованный к трубам отопления.

— Довольно, — проговорил Бройер и выхватил лейку. — Вставай. Пошли.

Споткнувшись, Люббе прислонился к стене.

Его вырвало и потоки выпитой воды вынесло наружу.

— Вот видишь, — сказал Бройер. — Я же говорил, пить надо медленно. А ну, вперед!

Подталкивая жертву впереди себя, Бройер прошел по коридору в свой кабинет. Люббе прямо ввалился в дверь.

— Поднимайся, — скомандовал Бройер. — Садись на стул. Живо!

Люббе дополз до стула. Пошатываясь, он откинулся назад в ожидании очередной пытки. Перед глазами все плыло.

Бройер задумчиво посмотрел на него.

— Ты мой гость с самым большим стажем, Люббе. Целых шесть месяцев, не так ли?

Сидевший перед ним призрак пошатнулся.

— Правильно говорю? — спросил Бройер. Призрак кивнул.

— Солидный срок, — проговорил Бройер. — Приличный. Это здорово сближает. Я как-то даже привязался к тебе всей душой. Смешно такое говорить, но похоже на истину. Ведь я лично ничего не имею против тебя, ты это знаешь. Ты это знаешь, — повторил он после некоторой паузы. — Или нет?

Призрак снова кивнул. Он ждал, когда начнется

следующий этап пыток.

— Это направлено против всех вас. Каждый в отдельности мне абсолютно безразличен. — Бройер многозначительно кивнул и налил себе коньяка. — Абсолютно безразличен. Жаль, я думал, ты все выдержишь. У нас оставались только подвешивание за ступни ног и произвольные физические упражнения. После этого ты одолел бы всю программу и вышел бы отсюда, ты ведь это знаешь?

Призрак кивнул. Он этого не знал, но Бройер иногда действительно выпускал из камер выдержавших все пытки узников, в отношении которых не было четкого приказа об уничтожении. Здесь действовал своего рода бюрократический подход. Кому удавалось пробиться, у того оставался шанс. Это было связано с вынужденным восхищением врагом, сумевшим выдержать такие испытания. Были нацисты, которые мыслили таким образом и поэтому считали себя спортивными людьми, а также джентльменами.

— Жаль, — проговорил Бройер. — Собственно говоря, я отпустил бы тебя с огромным удовольствием. Ты ведь проявил такое мужество. Жаль, что тем не менее я вынужден тебя прикончить. Ты знаешь, почему?

Люббе молчал. Бройер закурил сигарету и открыл окно.

— Поэтому. — Он на миг прислушался. — Слышишь? — Он увидел, как Люббе следил за ним бессмысленным взглядом. — Артиллерия, — сказал Бройер. — Артиллерия противника. Они уже на подходе. Поэтому. Поэтому сегодня ночью тебя ликвидируют.

Он закрыл окно.

— Невезение, а? — Он ухмыльнулся своей косой улыбкой. — Всего за несколько дней до того, как они вызволят вас отсюда. Действительно невезение, правда?

Ему понравилась эта выдумка; Она придавала некую утонченность этому вечеру; кусочек душевной пытки в заключение.

— А что, действительно, жуткое невезение, не так ли?

— Нет, — прошептал Люббе.

— Что?

— Нет.

— Ты что, так устал от жизни?

Люббе покачал головой. Бройер удивленно посмотрел на него. Он почувствовал, что перед ним больше уже не развалина, как минуту назад. Люббе вдруг преобразился, словно накануне имел

целый день отдыха.

— Потому что теперь они доберутся до вас, — прошептал он своими разодранными губами. — До всех.

— Чушь это, чушь! — на миг Бройер переполнился гневом. Он понял, что совершил ошибку. Вместо того чтобы продолжить пытку, он оказал Люббе услугу. Но кто мог предвидеть, что этот парень не будет судорожно цепляться за жизнь? — Только ничего себе не вбивай в голову! Я тебе просто кой-чего наврал. Мы не потерпим поражения! Мы только оставляем здесь позицию! Меняется линия фронта, вот и все!

Его аргументы не были убедительными. Бройер это сам понимал. Он отпил глоток.

— Подумай о своем последнем желании, — проговорил он затем. — И тем не менее тебе здорово не повезло. Я вынужден тебя ликвидировать. Жалко тебя и себя. И все-таки жизнь была прекрасной. Ну конечно, для тебя-то нет, если быть справедливым. — Он почувствовал действие алкоголя.

Обессилевший Люббе все продолжал на него смотреть.

— Мне нравится в тебе, — сказал Бройер, — что ты не сдался. Но я вынужден тебя ликвидировать,

чтобы ты ничего не рассказал. Именно тебя, просидевшего здесь дольше других. Причем, тебя в первую очередь. Другим тоже не отмотаться, — добавил он благодушно. — Не оставлять после себя свидетелей. Старый национал-социалистский лозунг.

Он достал из выдвижного ящика стола молоток.

— Я хочу поскорее с тобой разделаться. — Он положил молоток рядом с собой. В тот же момент Люббе, пошатываясь, оторвался от стула и попытался схватить молоток своими обожженными руками. Бройер кулаком без труда оттолкнул его в сторону. Люббе упал.

— Вот видишь, — сказал он добродушно. — Всегда еще одна попытка! Ты абсолютно прав. Почему бы нет? Можешь не вставать с пола. Так даже легче. — Он приложил ладонь к уху. — Что? Что ты говоришь?

— Они всех вас — всех так же, как…

— Ах, все это ерунда, Люббе. Наверное, тебе этого хочется. Они себе такого не позволят. Они слишком утонченные люди. Меня здесь не будет еще до их прихода. А из вас уже никто не сможет что-нибудь рассказать. — Он снова выпил глоток. — Хочешь еще сигарету? — неожиданно

спросил он.

Люббе окинул его взглядом.

— Да, — сказал он.

Бройер сунул ему сигарету между кровоточивших губ.

— Вот! — От одной спички он дал прикурить ему и зажег свою.

Оба курили и молчали. Люббе понимал, что ему конец. Он прислушивался к звукам, доносившимся из окна. Бройер выпил до дна свой бокал. Потом отложил сигарету и взял в руки молоток.

— Итак, теперь за дело!

— Будь ты проклят! — прошептал Люббе. Сигарета не выпала у него изо рта. Она повисла на окровавленной верхней губе. Бройер несколько раз ударил тупой стороной молотка. Люббе медленно повалился на пол. Это было знаком доброго отношения к Люббе, что Бройер не стал бить острой стороной молотка.

Какое-то время Бройер еще посидел, погруженный в свои размышления. Затем вспомнил сказанное Люббе и почувствовал себя каким-то образом обманутым. Люббе его обманул. Он должен был бы кричать. Однако ни разу не вскрикнул даже тогда, когда Бройер подверг его медленному убиению. Он только стонал, но

это ничего не значило, это была всего-навсего телесная реакция. Это было, как громкий вздох, не более того. Из окна до него донеслись раскаты. В эту ночь кто-нибудь обязательно должен кричать, иначе всему конец. Вот, в чем дело. Теперь он это понимал. На Люббе не могло все кончиться. Иначе Люббе победил. Он не без труда встал и направился к четвертой камере. Ему повезло. Скоро чей-то испуганный голос завыл, стал умолять, кричать, причитать и только по прошествии значительного времени стал стихать и, наконец, совсем умолк.

Бройер, довольный, вернулся в свой кабинет.

— Вот видишь! Вы все еще в нашей власти, — сказал он, обращаясь к трупу Люббе, и пнул его сапогом, удар был несильный, но на лице Люббе что-то пошевелилось. Бройер нагнулся. Ему почудилось, что Люббе показывает ему серый язык. Он увидел, что во рту мертвеца продолжала гореть сигарета; от удара изо рта высыпался маленький столбик пепла. Вдруг Бройер почувствовал в себе усталость, не было желания тащить мертвеца волоком из комнаты. Поэтому он затолкал его ногами под кровать. До завтра много времени. На полу остался темный след. Бройер вяло ухмыльнулся. «А ведь когда я был

маленьким, — вспомнилось ему, — я боялся крови; все это как-то странно!»

XXIII

Трупы были уложены штабелями. За ними уже не посылали больше машину из морга. Серебряные капельки дождя повисли на их волосах, ресницах и ладонях. Громыхание на горизонте затихло. Узники до полуночи слышали орудийный огонь и стрельбу — потом все смолкло.

Взошло солнце. Небо было голубым, а ветер мягким и теплым. Шоссейные дороги за городом опустели; даже беженцы исчезли. Город казался черным и выжженным; река извивалась, как огромная блестящая змея, утолявшая свой голод собственным тлением. Войск нигде не было.

Ночью целый час шел мелкий проливной дождь, о котором сейчас напоминали несколько луж. Пятьсот девятый сидел на корточках около одной из них и случайно увидел в ней свое отражение.

Он еще ниже нагнулся над мелкой прозрачной лужицей. Он никак не мог вспомнить, когда последний раз смотрелся в зеркало; видимо, это было много лет назад. В лагере Пятьсот девятый забыл, что такое зеркало. Поэтому ему показа-

лось чужим лицо, смотревшее на него сейчас из лужи.

Его волосы представляли сплошную бледно-серую щетину. До лагеря у него были густые каштановые волосы. Пятьсот девятый знал, что они стали другого цвета; и видел, как при стрижке клоки падали на пол; но лежавшие на полу состриженные волосы как бы утрачивали связь с их обладателем. В этом лице многое казалось ему чужим — даже глаза. То немногое, что еще было живого в его переломанной челюсти и в слишком глубоко посаженных крупных глазах, — вот, пожалуй, и все, что отличало Пятьсот девятого от мертвецов.

«Значит, это я?» — размышлял он. Пятьсот девятый снова посмотрел на себя. Ему естественно было бы считать, что он внешне похож на остальных. Однако действительно он никогда так не думал. Он наблюдал других из года в год, замечая, как меняется их облик. Но поскольку он встречал их каждый день, ему не так резко бросалось это в глаза, как сегодня, когда он впервые после столь продолжительного времени увидел собственное лицо. Главное не то, что его волосы поседели и стали расти неравномерно, не то, чем стало его когда-то энергичное мясистое лицо. Пятьсот де-

вятого поразило представшее перед ним зрелище — состарившийся человек.

Еще мгновение длилось это оцепенение. В последние дни он много размышлял, но ни разу не задумывался о том, что постарел. Двенадцать лет — срок сам по себе не очень большой. Двенадцать лет в заключении — это больше. А двенадцать лет в концлагере — кто мог знать, чем это обернется впоследствии? Осталось ли у него достаточно сил? Или он рухнет, когда выйдет отсюда, как прогнившее изнутри дерево, которое при безветрии еще кажется крепким, однако ломается при первой же буре? Ибо безветрием, пусть даже длительным, ужасным, одиноким и адским, несмотря на все это, — именно безветрием была эта лагерная жизнь. Из внешнего мира сюда не долетал практически ни один звук. И что станет, если не будет больше заграждения из колючей проволоки?

Пятьсот девятый еще раз пристально вгляделся в прозрачную лужицу. «А ведь это мои глаза, — подумал он. Пятьсот девятый еще больше пригнулся, чтобы разглядеть собственные глаза. От его дыхания лужу зарябило и картинка расплылась. — А ведь это мои легкие, и они еще качают воздух. — Опустив руку в лужу, он

разогнал воду по сторонам, — а ведь это мои руки, которые могут разрушить эту картинку… Разрушить. А построить? Ненавидеть. Но способен ли я на что-нибудь еще? Одной ненависти мало. Чтобы жить, требуется нечто большее, чем ненависть».

Пятьсот девятый выпрямился. Он увидел приближающегося Бухера. «Вот у него это нечто есть», — подумал Пятьсот девятый.

— Слушай, — сказал Бухер. — Ты это видел? Крематорий больше не работает.

— На самом деле?

— Прежняя команда уничтожена. А новую, видимо, не назначили. Интересно, почему? Может…

Они посмотрели друг на друга.

— Может, больше уже нет смысла? Может, они тоже… — Бухер осекся.

— Уходят? — спросил Пятьсот девятый.

— Наверное. Сегодня утром вообще не приезжали за трупами.

Подошли Розен и Зульцбахер.

— Орудий больше не слышно, — заметил Розен. — Интересно, что бы это могло означать?

— Может, они прорвались?

— Или их отбросили. Говорят, что эсэсовцы

собираются защищать лагерь.

— Это все молва. Каждые пять минут что-нибудь новое. Если они действительно будут защищать лагерь, нас разбомбят.

Пятьсот девятый поднял глаза. «Так хочется, чтобы быстрее наступила ночь, — подумал он. — В темноте легче спрятаться. Кто знает, что еще будет? В сутках много часов, а для смерти требуются всего секунды. Много смертей, наверно, скрыто в сверкающих часах, посланных с небосвода безжалостным солнцем».

— Самолет, — крикнул Зульцбахер.

Он взволнованно показывал на небо. Мгновение спустя все увидели маленькую точку.

— Это наверняка немецкий самолет! — прошептал Розен. — Иначе была бы объявлена воздушная тревога.

Они огляделись, где бы им спрятаться. Ползли слухи о том, что немецким самолетам приказано в последний момент подвергнуть лагерь бомбардировке.

— Всего один самолет. Один-единственный!

Они остановились. Для бомбардировки, вероятно, выделили бы больше.

— Наверно, это американский разведывательный самолет, — проговорил неожиданно

появившийся Лебенталь. — В этом случае уже не объявляют воздушную тревогу.

— А ты откуда знаешь?

Лебенталь молчал. Все пристально разглядывали быстро увеличивающийся силуэт.

— Это не немецкий самолет! — сказал Зульцбахер.

Теперь они четко видели самолет. Он летел в направлении лагеря. У Пятьсот девятого было ощущение, что чей-то кулак из-под земли тянет вниз его внутренности. Казалось, будто принесенный в жертву мрачному пикирующему божеству смерти, он стоит обнаженный на платформе и не может убежать. Пятьсот девятый заметил, что другие уже лежали на земле, и не понимал, почему он оцепенел.

В этот момент прогремели выстрелы.

Самолет вышел из пике и, повернув, облетел лагерь. Выстрелы раздались из лагеря. За казармами загрохотали пулеметы. Самолет опустился еще ниже. Все наблюдали за ним, задрав головы. Вдруг самолет покачал крыльями. Казалось, что он машет им. В первый момент узники думали, что самолет подбит, но он сделал еще один круг, еще дважды покачал крыльями вверх-вниз, словно птица. После этого взмыл вверх, скрывшись

в облаках. Вслед ему прогрохотали выстрелы. Теперь стреляли даже с некоторых сторожевых башен. Но вскоре выстрелы утихли, и был слышен только шум мотора.

— Это был сигнал! — закричал Бухер.

Казалось, что самолет машет крыльями. Словно рукой.

— Это был обращенный к нам сигнал! Это точно. А что еще?

— Он давал понять, они знают, что мы здесь! Это было обращение к нам! Ничего другого быть не могло. А что ты думаешь, Пятьсот девятый?

— Я тоже так считаю.

Это был практически первый сигнал, полученный ими извне с тех пор, как они оказались в лагере. Казалось, вдруг произошел прорыв в ужасающем одиночестве всех этих лет. Они поняли, что не умерли для окружающего мира. О них не забыли. Безымянные спасители помахали им. Они больше не чувствовали себя одинокими. Это было первое видимое приветствие свободы. Они больше не ощущали себя дерьмом на земле. Несмотря на все опасности, специально ради них был послан самолет, чтобы продемонстрировать им, что о них помнят. Они больше не ощущали себя дерьмом, ненавистным и оплеванным, еще

менее значительным, нежели черви. Они снова были на земле людьми, людьми, которые стерлись из их памяти.

«Что же это со мной происходит? — подумал Пятьсот девятый. — Слезы? Я ли это? Старый человек?..»

Нойбауэр разглядывал свой костюм. Зельма повесила его в шкафу на самом видном месте. Он понял намек. Штатский костюм, он не надевал его с тридцать третьего года. На сером фоне мелкие белые крапинки «перец с солью». Смешно. Он снял костюм с вешалки и стал разглядывать. Потом снял форму, подошел к двери спальни, запер ее и примерил пиджак. Он оказался слишком узким. Нойбауэр не смог застегнуть его даже со втянутым животом. Он подошел к зеркалу. Он выглядел нелепо. Прибавил не меньше тридцати-сорока фунтов. В конце концов, это и не удивительно. До тридцать третьего приходилось здорово на себе экономить.

Странно, как исчезла с его лица решительность, когда он без формы! Оно становилось каким-то мягким и рыхлым. Именно таким он себя и чувствовал. Нойбауэр посмотрел на брюки. Они совсем не налезут. «Тогда какой смысл примерять. Да и к чему все это?» Он, как положено, сдаст

лагерь. С ним обойдутся по-военному корректно. На то ведь существуют традиции, военные правила. Ведь они сами были солдатами. Высшие офицеры. Они-то поймут друг друга.

Нойбауэр потянулся. Его интернируют, он это допускает. Однако наверняка ненадолго. Может, придется посидеть в каком-нибудь замке поблизости, в компании с господами его ранга. Он задумался, как будет сдавать лагерь. Разумеется, по-военному. Строгое приветствие. Никакого «Хайль Гитлер» с поднятой рукой. Нет, лучше без этого. Просто, по-военному, приложив ладонь к фуражке.

Он сделал несколько шагов и отсалютовал. Без натянутости, не как подчиненный. Нойбауэр прорепетировал еще раз. Не так просто было добиться правильного сочетания корректности и элегантного достоинства. Рука уходила слишком высоко вверх. Все еще чувствовалось что чертово «Хайль Гитлер». В общем-то, дурацкая манера приветствия для взрослых людей. Странно, что этому так долго следовали!

Нойбауэр еще раз прорепетировал военное приветствие. Без суеты! Не так быстро. Он посмотрел на себя. В зеркало платяного шкафа, сделал несколько шагов назад и устремился к своему

зеркальному изображению.

— Господин генерал, настоящим передаю вам… Примерно в таком духе. Раньше при этом передавали шпагу. Наполеон III под Седаном; школьные воспоминания. У него не было шпаги. Револьвер? Нет, это исключено! С другой стороны, он не мог оставить себе оружие. Сейчас все же напоминали о себе изъяны в военной подготовке. А может, заранее отстегнуть кобуру с револьвером?

Он еще раз сделал несколько шагов. Разумеется, не стоит подходить слишком близко. Остановиться надо за несколько метров.

— Господин генерал…

А может, и так: «Господин товарищ». Ну нет, если это генерал, то не годится. А если по стойке «смирно», а потом рукопожатие? Лаконично и корректно. Только не трясти руку. И, наконец, уважение противника противником. Офицера офицером. Собственно говоря, все — товарищи в широком смысле слова, хоть и из вражеских лагерей. Сражение проиграно, но после отважной борьбы. Уважение честно проигравшему.

Нойбауэр почувствовал, что в нем заговорил прежний почтовый секретарь. Он воспринял это, как исторический момент.

— Господин генерал…

Достоинство. Потом рукопожатие. Может, краткая трапеза с участием противников — рыцарей. Роммель с пленными англичанами. Жаль, что не говорю по-английски. Впрочем, в лагере было полно переводчиков среди заключенных.

Как быстро привыкаешь к старой манере военных приветствий! В сущности, он ведь никогда не был фанатичным нацистом. Скорее чиновником, верным чиновником отечества. Вебер и подобные ему, Дитц и иже с ними — вот они были нацистами.

Нойбауэр достал сигару. «Ромео и Джульетта». Лучше выкурить ее сейчас. В ящике можно оставить четыре или пять штук. Чтобы вручить потом противнику. Хорошая сигара всегда помогала наводить мосты.

Он сделал несколько затяжек. Если бы противник пожелал увидеть лагерь? Ну что ж. И если бы ему что-нибудь не понравилось — Нойбауэр только выполнял приказ. Солдаты его поняли бы.

Вдруг на него нахлынули воспоминания. Еда, вкусная, сытная еда! Вот в чем суть! Это всегда самое главное. Он был вынужден немедленно дать указание о повышении рациона. Тем самым он продемонстрировал, что, как только иссякли приказы, он стал делать все возможное для за-

ключенных. Обоим старостам лагеря он намерен дать персональное указание. Они сами были заключенными. Потом они будут свидетельствовать в его пользу.

Штейнбреннер стоял перед Вебером. Его лицо лоснилось от усердия.

— Двое узников застрелены при попытке к бегству, — доложил он. — В обоих случаях выстрел в голову.

Вебер медленно поднялся, и небрежно уселся на угол своего стола.

— С какого расстояния?

— Одного с тридцати, другого с сорока метров.

— На самом деле так?

Штейнбреннер покраснел. Он застрелил обоих узников с расстояния всего нескольких метров, чтобы на ранах не осталось следов пороха.

— И это была попытка к бегству? — спросил Вебер.

— Конечно.

Оба знали, что это не было попыткой к бегству. Так называлась любимая игра СС. У заключенного брали шапку, бросали ее за спину и требовали принести. Если при этом узник проходил мимо кого-нибудь, в него стреляли со спины из-за попытки к бегству. За это стрелявшему обычно

давали несколько дней отпуска.

— Ты хочешь в отпуск? — спросил Вебер.

— Нет.

— А почему?

— Чтобы не подумали, что я увиливаю.

Вебер поднял брови и стал медленно болтать ногой, которой опирался на стол. Солнечные лучи отражались от раскачивавшегося сапога и скользили по голым стенам, как светлая одинокая бабочка.

— Значит, ты не боишься?

— Нет. — Штейнбреннер пристально посмотрел на Вебера.

— Хорошо. Нам требуются надежные люди. Особенно сейчас.

Вебер уже давно наблюдал за Штейнбреннером. Он импонировал ему. Он был еще очень молод, в нем еще осталось что-то от фанатизма, которым когда-то славились эсэсовцы.

— Особенно сейчас, — повторил Вебер, — Теперь вам требуется СС для СС. Ты это понимаешь?

— Так точно. По крайней мере, мне так кажется.

Штейнбреннер снова покраснел. Вебер был его кумиром. Он испытывал к нему такое же слепое

почтение как младенец к индейскому вождю. Он был наслышан о мужестве Вебера в «зальных битвах» тридцать третьего года; он знал, что в двадцать девятом году Вебер был причастен к убийству пяти рабочих-коммунистов и за это отсидел четыре месяца в тюрьме. Рабочих ночью вытащили из постелей и насмерть затоптали на глазах у их родственников. Штейнбреннер слышал также о том, какие жестокие допросы устраивал Вебер о гестапо, как беспощадно он относился к врагам государства. У Штейнбреннера была одна мечта — стать таким, как его кумир. Он вырос с учением партии. Ему исполнилось семь лет, когда национал-социализм пришел к власти, и Штейнбреннер стал законченным продуктом национал-социалистского воспитания.

— Слишком многие попали в СС без тщательной проверки, — сказал Вебер. — Теперь начинается отбор. Ленивые прекрасные времена миновали. Ты это понимаешь?

— Так точно. — Штейнбреннер вытянулся по стойке «смирно».

— Здесь у нас уже есть с десяток настоящих людей. С лупой отбирали. — Вебер окинул Штейнбреннера испытующим взглядом. — Приходи сюда сегодня вечером в половине десятого.

Посмотрим, что будет дальше.

Восторженный Штейнбреннер, как по команде, сделал «кругом!» и отправился к себе. Вебер встал и прошелся вокруг стола. «Одним больше, — подумал он. — Вполне достаточно, чтобы в последний момент насолить старику, сорвав его планы». Вебер ухмыльнулся. Он давно заметил, что Нойбауэр пытался разыгрывать из себя этакого чистенького ангела и все свалить на него. Последнее Вебера не волновало, за ним водилось немало грехов — только вот не любил он таких чистеньких ангелов.

Незаметно наступил полдень. Эсэсовцы почти не показывались в лагере. Они и не догадывались, что у заключенных имелось оружие, и поэтому не проявляли особой осторожности. Хотя, будь у заключенных даже в сто раз больше револьверов, в открытом бою пулеметы не оставили бы им никаких шансов. Но эсэсовцы вдруг стали бояться самой массы заключенных.

В три часа по громкоговорителю были переданы имена двадцати узников с требованием за десять минут собраться у ворот. Это могло означать все что угодно — допрос, почта или смерть. Подпольное лагерное руководство позаботилось о том, чтобы убрать всю двадцатку из их бараков;

семеро были спрятаны в Малом лагере. Приказ был зачитан еще раз. Все названные узники были политическими. На приказ никто не откликнулся. Впервые лагерь демонстративно проявлял неповиновение. Вскоре после этого всем заключенным было приказано собраться на плацу для переклички. Подпольное лагерное руководство сообщило: «Оставаться в лагере».

На плацу для переклички узников было легче перестрелять. Вебер собирался пустить в ход пулеметы, но пока не мог решиться действовать так открыто против Нойбауэра. Через канцелярию лагерному руководству стало известно, что приказ исходит не от Нойбауэра, а исключительно от Вебера. Тот велел объявить по громкоговорителю, что лагерь не получит пищи, пока все не построятся и не будут выданы двадцать политических заключенных.

В четыре часа поступил приказ от Нойбауэра. Лагерным старостам было велено немедленно явиться к нему. Приказ был выполнен. Лагерь в тягостном напряжении ждал, вернутся ли они.

Они вернулись через полчаса. Нойбауэр показал им приказ об отправке транспорта. Уже второго. В течение часа надлежало отправить из лагеря две тысячи человек. Нойбауэр согласился

отложить отправку до следующего утра.

Подпольное лагерное руководство немедленно собралось в госпитале. Прежде всего они добились того, что изменивший эсэсовцам врач Гофман обещал употребить свое влияние на Нойбауэра, чтобы отсрочить на один лень вывоз двадцати политических заключенных и отменить перекличку на плацу. Тем самым утратило бы силу указание о невыдаче пищи. Врач сразу же ушел.

Лагерное руководство приняло решение ни в коем случае не организовывать людей для отправки с транспортом на следующее утро. Заключенные прибегнут к саботажу, попробуют спрятаться в бараках и на прилегающих улицах. Им собиралась помогать лагерная охрана, состоявшая из заключенных. Предполагалось, что эсэсовцы, за некоторым исключением, не станут при этом проявлять особую ретивость. Последним поступило решение двухсот чешских узников: если транспорт все же будет сформирован, они готовы отправиться первыми, чтобы спасти двести других, которые такое испытание уже не выдержат.

Вернер присел на корточки около тифозного отделения.

— Каждый час работает на нас, — пробормотал он. — Гофман еще у Нойбауэра?

— Да.

— Если он ничего не добьется, нам придется рассчитывать только на себя.

— С применением силы? — спросил Левинский.

— Не совсем так. Только наполовину. И только завтра. Завтра мы станем вдвое сильнее, чем сегодня. — Вернер снова взялся за свои таблицы. — Итак. Еще раз. У нас есть хлеб на четыре дня, если ежедневно будет выдаваться рацион. Мука, крупы, лапша — это…

— Хорошо, господин доктор. Беру это на себя. До завтра. — Нойбауэр посмотрел вслед начальнику госпиталя и тихо присвистнул. «Значит, ты тоже, — подумалось ему. — Пусть будет так! Чем больше, тем лучше. Можем облегчить друг другу жизнь», и он осторожно отложил приказ о транспорте в свою особую папку. Потом на портативной машинке напечатал предписание об отсрочке транспорта и тоже вложил его в папку. Он открыл сейф, вложил в него папку и запер на ключ. Приказ оказался удачным. Он еще раз вынул папку и снова раскрыл машинку. Не торопясь, напечатал новый меморандум об отмене

предписания Вебера о невыдаче пищи. Вместо этого издал собственный приказ о сытном лагерном ужине. Приказы эти хоть и второстепенные, но весьма существенные.

В казарме СС царило подавленное настроение. Обершарфюрер Каммлер с досадой думал о том, имеет ли он право на пенсию и будут ли ему выплачивать; он был неудачливым студентом, который так ничему и не научился, чтобы работать по профессии. Эсэсовец и бывший ученик мясника Флорштедт размышлял о том, что, наверно, умерли все люди, которые с 33 по 35 год прошли через его руки. Он желал, чтобы это так и было. О судьбе двадцати таких ему было известно. Он сам прикончил их бичами, ножками стола и кожаными кнутами. Однако об участи примерно десяти других он толком ничего не знал.

Коммерческому агенту шарфюреру Больте очень хотелось узнать от специалистов, распространяется ли срок давности на его финансовые растраты в гражданской профессии. У наркомана Нимана был в городе приятель с гомосексуальными наклонностями, который обещал достать поддельные документы, но Ниман ему не доверял, твердо решив оставить для себя последний укол. Эсэсовец Дуда собрался пробиваться в Ис-

панию или Аргентину: он считал, что в такие времена всегда пригодятся люди, которые ничего не боятся. Бройер умертвил в бункере католического викария Веркмейстера, подвергнув его медленному с паузами удушению. Шарфюрер Зоммер, низкорослый мужчина, испытывавший особую радость оттого, что выжимал душераздирающие крики из высокорослых узников, грустил, как увядающая девушка, по ушедшим золотым дням молодости. Полдюжины других эсэсовцев надеялись, что узники дадут им положительные характеристики; одни еще верили в победу Германии; другие были готовы перебежать к коммунистам; кое-кто уже преисполнился уверенности в том, что никогда не был настоящим нацистом; многие просто ни о чем не думали, ибо никогда этого не умели. Но почти все были убеждены, что действовали по приказу, и поэтому не чувствовали за собой никакой личной и человеческой вины.

— Более часа, — сказал Бухер.

Он посмотрел на опустевшие сторожевые башни с пулеметами. Часовые ушли, и никто не пришел им на смену. Иногда такое уже случалось ранее, но лишь на короткое время и только в Малом лагере. Теперь же охранников нигде не

было видно.

Казалось, что сутки длились одновременно пятьдесят и только три часа настолько тревожным выдался этот день. Все были страшно изнурены, у них не оставалось сил даже для разговора. Поначалу они не очень обратили внимание на то, что сторожевые башни остались без охранников. Потом это заметил Бухер. Ему же бросилось в глаза, что из трудовых лагерей исчезли часовые.

— Может, уже сбежали?

— Нет. Лебенталь слышал, что они еще здесь. Ожидание продолжалось. Охранники не появлялись.

Принесли еду. Дежурные по кухне сообщили, что эсэсовцы еще в лагере, но похоже на то, что они готовятся скоро уходить.

Раздали еду. Возникла потасовка призрачных. Изголодавшиеся скелеты пришлось оттеснить назад.

— Здесь всем хватит, — крикнул Пятьсот девятый. — Еды больше, чем обычно! Несравненно больше! Каждому достанется.

Наконец все успокоились. Самые крепкие встали цепью вокруг котла, и Пятьсот девятый приступил к раздаче. Бергера все еще прятали в

госпитале.

— Вы только посмотрите! Даже картошка! — воскликнул Агасфер. — И жилы. Просто чудо!

Суп оказался значительно гуще обычного, да и наливали его почти в два раза больше, чем всегда. Выдали также двойную порцию хлеба. По нормальным понятиям это все еще было более чем скромно, но Малому лагерю это показалось чем-то невообразимым.

— Старик сам был при этом, — сообщил Бухер. — Пока я здесь, ничего подобного не видел.

— Он хочет обеспечить себе алиби.

Лебенталь кивнул.

— Он считает нас здесь еще глупее, чем мы есть на самом деле.

— Не только это. — Пятьсот девятый поставил рядом с собой свою пустую миску. — Они даже не утруждают себя задуматься, кто мы такие. Они видят в нас тех, кого им хочется, то есть конченых людей. Так они действуют повсюду. Они все и всегда знают лучше других. Поэтому-то они проиграли войну. Им казалось, что они лучше всех знают о России, Англии и Америке.

Лебенталь громко рыгнул.

— Какой великолепный звук, — проговорил он благоговейно. — Боже праведный, уж и не

помню, когда я последний раз рыгал!

Возбужденные и усталые, узники почти не слышали собственные слова. Они находились на каком-то невиданном острове. Вокруг умирали мусульмане. Умирали, несмотря на необычно густой суп. Они медленно, паукообразно шевелились, иногда кряхтели и шептали или спокойно отходили в иной мир.

Бухер неторопливо и, насколько хватало сил, высоко подняв голову, пересек плац для перекличек и оказался около двойного ограждения из колючей проволоки, разделявшей женский барак и Малый лагерь. Прислонившись к ограждению, он позвал:

— Рут!

Она стояла по другую сторону колючей проволоки.

Вечерняя заря окрасила ее лицо, придав ему здоровый блеск, словно она уже много раз вкусно отобедала.

— Вот мы стоим здесь, — проговорил Бухер. — Стоим открыто, безо всяких забот.

Она кивнула. По ее лицу скользнуло слабое подобие улыбки.

— Да. Это впервые.

— Словно это садовая изгородь. На нее можно

облокотиться и поговорить друг с другом. Без страха. Как у садового забора весной.

Тем не менее в них еще сидел страх. Они то и дело оглядывались, посматривали на опустевшие сторожевые башни. Страх слишком глубоко сидел в них. Они это понимали. Понимали они и то, что этот страх необходимо преодолеть. Они улыбались и началось как бы соревнование, кто дольше выдержит пристальный взгляд друг друга.

В подражание им другие по мере сил стали расправлять плечи и прогуливаться вокруг. Некоторые подходили к колючей проволоке ближе, чем разрешалось. От этого узники получали какое-то непередаваемое удовлетворение. Со стороны это могло показаться ребячеством, но это было чем угодно, только не ребячеством. Они осторожно вышагивали на своих ногах-ходулях; некоторых покачивало, и они были вынуждены за что-нибудь держаться. Головы выпрямились; глаза на опустошенных лицах больше не скользили по земле, проваливаясь какой-то пустоте, — они снова начинали видеть. В их знании зашевелилось что-то полузабытое — мучительное, озадачивающее и пока еще откровенно безымянное, Узники бродили по плацу мимо сложенных штабелями

пупов, мимо сваленных в кучи своих безучастных товарищей, которые уже умерли или еще шевелились и, возможно, думали о еде.

Происходившее напоминало призрачную прогулку скелетов, в которых — несмотря ни на что — не угасла искра жизни.

Вечерняя заря поблекла. В долине буйствовали и нарывали холмы голубые тени. Охранники так и не вернулись. Надвигалась ночь. Больте на вечернюю перекличку не явился. Последние новости принес Левинский. В казармах переполох. Через день-два ожидают приход американцев. Транспорт к завтрашнему дню собрать уже не удастся. Нойбауэр уехал в город. Левинский широко ухмыльнулся.

— Теперь уже недолго! Мне надо назад! — Он взял с собой троих из тех, кого здесь прятали.

Ночь выдалась очень спокойная. Она раскинула свой огромный шатер и зажгла все свои звезды.

XXIV

Шум раздался под утро. Вначале Пятьсот девятый услышал крик. Он донесся издалека сквозь тишину. Это не было криком людей, которых пытали в застенках. Горланила какая-то подвыпившая компания.

Прогремели выстрелы. Пятьсот девятый схватился за свой револьвер. Он держал его под рубашкой. Прислушался, стараясь понять: стреляли только эсэсовцы или им уже ответили люди Вернера. Затем раздался лающий треск легкого пулемета.

Он заполз за груду трупов и стал наблюдать за входом в Малый лагерь. Было еще темно; около груды валялось так много отдельных трупов, что он незаметно прилег рядом с ними.

Пьяный рев и стрельба продолжались несколько минут. Потом они стали громче и ближе. Пятьсот девятым плотнее прижался к мертвецам. Он видел красные пулеметные очереди. Отовсюду было слышно, как пули попадают в цель. С полдюжины эсэсовцев шли по большой центральной улице и палили по баракам. Иногда

шальные пули мягко втыкались в груды трупов. Пятьсот девятый лежал, распластавшись и полностью замаскировавшись на земле.

Везде заключенные вскрикивали, как перепуганные птицы. Размахивая руками, они, как очумевшие, метались по сторонам.

— Лечь! — крикнул Пятьсот девятый. — Лечь! Притвориться мертвыми! Лежать тихо!

Одни, услышав его, бросились на землю. Другие, спотыкаясь, кинулись к бараку и столпились у двери. Большинство же, кто были снаружи, остались лежать там, где лежали.

Миновав сортир, группа направилась к Малому лагерю. Были распахнуты ворота. Пятьсот девятый увидел в темноте силуэты и искаженные лица в момент выстрелов из револьверов.

— Сюда! — крикнул кто-то. — Тащи сюда, к деревянным баракам! Зададим братьям жару. А то ведь они мерзнут! Давай сюда!

— Быстрей, сюда! Ну, Штейнбреннер. Тащите сюда бидоны!

Пятьсот девятый узнал голос Вебера.

— Тут кто-то у входа! — крикнул Штейнбреннер. Легкий пулемет выпустил очередь по темному скоплению в дверях. Люди медленно повалились на землю.

— Давно бы так! А теперь вперед!

Пятьсот девятый услышал бульканье, словно откуда-то текла вода. Он увидел темные бидоны, из которых на стены выливался бензин.

Отборная группа Вебера отмечала расставание с лагерем. В полночь поступил приказ об уходе, и основная часть войск вскоре покинула лагерь; но у Вебера и его банды еще оставалось достаточно шнапса, и они быстро напились. Они не хотели уйти просто так и решили напоследок пройтись по лагерю. Вебер приказал захватить бидоны с бензином. Они собрались оставить после себя своеобразный маяк, который еще долго напоминал бы о себе.

Каменные бараки пришлось оставить в покое, зато в старых польских деревянных бараках было все, что им требовалось.

— Фейерверк! Быстрее! — кричал Штейнбреннер.

Вспыхнула спичка, следом за нею загорелся коробок. Державший в руках коробок бросил его на землю. Другой эсэсовец опустил второй коробок в бидон, стоявший вплотную к бараку. Коробок погас. Но от светло-красного огонька первой спички побежала тонкая голубая полоска вверх по стене. Потом эта полоска, веерообразно

разойдясь на несколько газовых ручейков, превратилась в дрожащую голубую массу. В первый момент это не предвещало никакой опасности, скорее напоминало холодный электрический разряд, прозрачный и робкий, который быстро утихнет. Но потом начался треск, и в голубых, устремленных к крыше ручейках стали появляться сердцевидные желтые трепещущие огоньки. Это были уже языки пламени.

Дверь приоткрылась.

— Кто попробует выйти, уничтожать на месте! — скомандовал Вебер.

Сам он, держа под мышкой легкий пулемет, выстрелил. Едва появившаяся в дверях фигура повалилась внутрь барака. «Бухер, — подумал Пятьсот девятый. — Агасфер. Они спали у самой двери». Эсэсовец подбежал к двери, оттащил в сторону замертво упавших узников, тела которых все еще лежали перед входом, захлопнул дверь и отскочил назад.

— Теперь можно начинать! Охота на зайцев!

Снопы огня уже рвались вверх. Сквозь рев эсэсовцев прорвались крики узников. Распахнулась дверь следующей секции. Люди кувырком выкатились из барака. Вместо ртов у них были черные дырки. Прогрохотали выстрелы. Никому

не было суждено вырваться. Они застыли перед входом, как пауки в своей паутине.

Пятьсот девятый неподвижно лежал в своей ложбинке, но теперь осторожно выпрямился. На фоне огня он отчетливо видел силуэты эсэсовцев. Вебер стоял, широко расставив ноги. «Только не торопиться, — размышлял Пятьсот девятый в то время, как внутри все у него дрожало. — Постепенно, одного за другим». Он достал из-под рубашки револьвер. Потом в краткий миг затишья между ревом эсэсовцев и шуршанием огня до его слуха долетел нарастающий крик узников. Это был пронзительный, нечеловеческий крик. Не задумываясь, Пятьсот девятый прицелился Веберу в спину и с силой нажал курок.

Среди других выстрелов Пятьсот девятый не услышал свой. И Вебер не упал. Вдруг до него дошло, что он не почувствовал отдачи оружия в своей руке. Ему показалось, будто кто-то ударил его молотком в самое сердце. Револьвер не сработал.

Пятьсот девятый не почувствовал, что прокусил себе губы. Бессознательное состояние обрушилось на него, как ночь, он кусал и кусал губы, только чтобы не раствориться в черном тумане. Револьвер, видимо, отсырел, стал негод-

ным. Слезы, ярость, последнее прикосновение… И потом вдруг избавление, быстрое, едва заметное движение ладони по гладкой поверхности, маленький рычажок, который поддался, — револьвер не был снят с предохранителя.

Ему повезло. Никто из эсэсовцев не обернулся. Они не ожидали никаких сюрпризов. Они стояли, орали и палили по дверям. Пятьсот девятый поднес оружие к глазам. В мигающем свете он увидел, что теперь револьвер снят с предохранителя. У него все еще дрожали руки. Он прислонился к груде трупов и для большей надежности облокотился. Прицелился обеими руками. Вебер стоял примерно в десяти шагах, прямо перед ним. Пятьсот девятый несколько раз медленно перевел дух. Потом он затаил дыхание, насколько хватило сил, сжал руки и медленно спустил курок.

Его выстрел смешался с другими. Но Пятьсот девятый резко ощутил отдачу. Он выстрелил еще раз. Вебер, спотыкаясь, шагнул вперед, слегка огляделся, словно в страшном удивлении, и, как подкошенный, повалился на землю. Пятьсот девятый продолжал стрелять. Он прицелился еще в одного эсэсовца, у которого под мышкой был легкий пулемет. Он все нажимал на курок, хотя

уже давно кончились патроны. Но эсэсовец все не падал. Пятьсот девятый постоял еще секунду, с трудом сжимая револьвер в руке. Он был готов к тому, что его немедленно пристрелят. Но в этой беспорядочной пальбе его даже не заметили. Обессилевший, он опустился, на землю сзади трупов.

В этот момент на Вебера обратил внимание один из эсэсовцев.

— Эй! — воскликнул он. — Штурмфюрер!

Вебер стоял сзади них сбоку, поэтому они не сразу заметили, что произошло.

— Он ранен!

— Кто это сделал? Кто-нибудь из вас?

— Штурмфюрер!

Они не допускали, что в него мог кто-нибудь попасть, кроме как по ошибке.

— Черт возьми! Какой идиот…

Прогремели новые выстрелы. Но они доносились уже со стороны трудового лагеря. Видны были вспышки.

— Это американцы! — закричал один эсэсовец. — Быстрей! Надо уносить ноги!

Штейнбреннер выстрелил в направлении сортира.

— Уносим отсюда ноги! Резко вправо! Через

плац для перекличек! — крикнул кто-то. — Живее! Пока они нас здесь не отрезали!

— А как же штурмфюрер?

— Нам его не утащить!

Вспышки со стороны сортира усилились.

— Быстрей! Быстрей!

Эсэсовцы на бегу продолжали палить по горящему бараку. Пятьсот девятый встал и, покачиваясь, направился к бараку. Один раз он упал. Потом распахнул дверь.

— Выходи! Выходите! Они ушли!

— Они еще стреляют!

— Это наши! Выходите! Выходите!

Он доковылял до следующей двери и стал тащить людей за руки и ноги.

— Выходите! Выходите! Их тут больше нет!

Перелезая через лежащих, узники ломились в дверь. Пятьсот девятый торопился. Дверь в секцию «А» уже горела. Так что он не мог войти. Тогда он стал кричать что было сил. Донеслись выстрелы, шум. На плечо ему с крыши свалился кусок горящего бревна. Пятьсот девятый упал, снова вскочил, почувствовал пронзительную боль и пришел в себя, когда уже сидел на земле. Он хотел подняться, но не смог. Издали услышал крики и увидел словно на большом удалении лю-

дей; их вдруг стало много. Это были не эсэсовцы, а заключенные, которые несли на себе людей; они споткнулись о него, и тогда он отполз в сторону. Пятьсот девятый ничего больше не мог. Вдруг он почувствовал смертельную усталость. Он не хотел никому мешать. Во второго эсэсовца он не попал. Да и в Вебера не так, как надо. Все казалось впустую. Он спасовал.

Пятьсот девятый пополз дальше. Упершись в груду трупов, он почувствовал себя причастным к ним. «Он ничего не стоит. Бухер умер. Агасфер тоже. Надо было возложить это на Бухера. Передать револьвер ему. Так было бы лучше. Ну какой вышел от него толк?»

Измученный Пятьсот девятый прислонился к лежавшим в куче трупам. Почувствовав в себе какую-то боль, он провел по груди рукой, затем поднял ее. Из нее текла кровь. Он смотрел на кровоточащую руку и ничего не чувствовал. Он больше не был самим собой. Он ощущал только жару и слышал крики. Потом они куда-то отстранились от него.

Он очнулся. Барак продолжал тлеть. Пахло горелой древесиной, обуглившимся мясом и гнилью. От жары трупы потекли и стали разлагаться.

Душераздирающие крики затихли. Беско-

нечная процессия выносила обожженных и обгоревших, которым удалось спастись. Пятьсот девятому послышался откуда-то голос Бухера. «Стало быть, он остался в живых. Значит, не все было напрасно». Он осмотрелся вокруг. Некоторое время спустя он почувствовал, что рядом с ним кто-то шевелится. Прошло еще мгновение прежде, чем он узнал. Это был Вебер.

Он лежал на животе. Ему удалось отползти за груду трупов, прежде чем появился Вернер со своими людьми. Они его не заметили. Он подтянул ногу и раскинул руки. Изо рта текла кровь. Он еще был жив.

Пятьсот девятый попробовал поднять руку. Он хотел кого-нибудь крикнуть, но не было сил. Горло пересохло. Изо рта вырвался только какой-то хриплый звук. Треск горящего барака заглушал все.

Вебер уловил движение руки Пятьсот девятого. Потом встретился с ним взглядом. Оба в упор смотрели друг на друга.

Пятьсот девятый не был уверен, узнал ли его Вебер. Не мог знать он и того, что было в этой устремленной на него паре глаз. Он только вдруг почувствовал, что его глазам пришлось выдержать больше, чем этим глазам напротив. Ему

суждено дольше жить, чем Веберу. Как-то странно, но ему показалось это чрезвычайно важным, словно реальность всего, во что он верил в своей жизни, за что боролся и страдал, зависит от того, что жизнь за его челом будет биться дольше, нежели у того напротив. Это было, как дуэль и Божий суд. Если сейчас он выдержит, значит, истинно все, что казалось ему столь существенным, во имя чего он рисковал своей жизнью. Это было как последнее усилие над собой. Еще раз это было вложено в его собственные руки — и он непременно должен был выйти победителем.

Он неглубоко и осторожно вздохнул, до боли. Он видел, как у Вебера изо рта струится кровь, поэтому решил проверить, не льется ли и у него кровь из рта. Он что-то ощущал, но когда увидел на ладони всего несколько капель, вспомнил, что это кровоточили его прокушенные губы.

Вебер следил глазами за его рукой. Потом их взгляды снова встретились.

Пятьсот девятому хотелось еще раз разобраться, что тут главное и в чем суть. Понимание этого должно было придать ему силы. Оно имело отношение к самому элементарному в человеке, без чего мир бы рухнул, — сознание этого еще сидело в его уставшем мозгу. Это уничтожило бы и иное

— абсолютное зло, антихриста, смертный грех в отношении духа. «Слова, — подумал он. — Они мало что выражают. Только к чему еще слова? Он обязан был выстоять. А оно должно было сгинуть до него. Вот и все».

Странно, что никто их не заметил. «Что никто не заметил его, — мысленно добавил Пятьсот девятый. — Здесь столько трупов. Но этот вот! Он лежал полностью в тени груды мертвецов, вот в чем дело. Его форма была черного цвета, а свет не отражался от его сапог».

Люди стояли поодаль и глазели на бараки. В некоторых местах зияли проломы в стенах. Прямо на глазах сгорали многие годы, свидетели бедствия и смерти. Многие имена и настенные надписи.

Раздался грохот. Языки пламени взметнулись вверх. В потоке искр рухнула крыша барака. Пятьсот девятый увидел в воздухе горящие обломки. Казалось, что они очень медленно плавают. Один из обломков пролетел над самой грудой трупов, ударился в чью-то ногу, перевернулся и упал Веберу прямо на шею.

У Вебера задергались глаза. От его формы пошел дым. Пятьсот девятый мог бы нагнуться вперед и отбросить полено в сторону. Он, по крайней

мере, считал, что мог бы это сделать; правда, он не был уверен, все ли у него в порядке с легкими и не пойдет ли у него тогда изо рта кровь. Только по этой причине он отказался от этого, не из чувства мести; сейчас речь шла о чем-то большем, чем о мести. К тому же месть была бы слишком мелкой.

У Вебера зашевелились руки. Дернулась голова. Полено продолжало гореть у него на шее. Форма дымилась. На ней вспыхивали маленькие огоньки. Снова дернулась голова. Горящее полено сползло вперед. Вскоре стали обугливаться волосы. Пятьсот девятый внимательно посмотрел на его глаза. Они все больше выступали из глазниц. Кровь фонтаном выливалась из беззвучно дергавшегося рта. В треске догоравшего барака ничего не было слышно. Теперь голова у Вебера была обгоревшая и черная. Пятьсот девятый смотрел на нее не отрываясь. Полено медленно догорало. Кровь иссякла. Все погружалось в бездну. Ничего не осталось больше, кроме глаз. Мир сузился до глаз. Им было суждено ослепнуть.

Пятьсот девятый не знал, сколько часов или минут это длилось, — ему показалось, что неподвижные руки Вебера вдруг вытянулись. Потом его глаза перестали быть глазами, они преврати-

лись в студенистую массу. Пятьсот девятый еще какое-то время сидел молча. Потом он осторожно оперся одной рукой впереди себя, чтобы придвинуться поближе. Прежде чем сдаться, он должен был почувствовать себя абсолютно уверенным. Только в голове он еще ощущал ясность; тело было уже невесомым и, одновременно вобрав в себя всю массу земли, уже почти не подчинялось ему, не хватало сил хоть чуть-чуть продвинуть свое тело.

Пятьсот девятый наклонился вперед, поднял палец и ткнул им в глаза Веберу. Никакой реакции. Вебер был мертв. Пятьсот девятый хотел выпрямиться, но теперь уже и этого не мог сделать. Наклон вперед вызвал то, чего он боялся. Словно из земных недр, из глубин его организма что-то вырвалось и потекло. Кровь струилась легко и безболезненно. Она текла по голове Вебера. Казалось, что кровь вытекала из всего тела обратно в землю, из которой снова поднималась, уже как шуршащий фонтан. Пятьсот девятый не пытался остановить кровь. Руки его обмякли. В тумане ему привиделась исполинская фигура Агасфера перед бараком. «Значит, он все же не...» — подумалось ему еще; потом земля, его опора, превратилась в болото, которое его и по-

глотило…

Пятьсот девятого обнаружили лишь час спустя. Его начали искать, когда улеглось всеобщее возбуждение. В конце концов Бухеру пришла мысль еще раз поискать возле барака. Там его и нашли, за грудой трупов.

Бухер увидел, как подошел Левинский с Вернером.

— Пятьсот девятый умер, — сказал он. — Застрелен. Вебер тоже. Оба там лежат вместе.

— Застрелен? Разве он был снаружи?

— Да. В то время он был снаружи.

— Револьвер был при нем?

— Да.

— А Вебер тоже мертв? Значит, Вебера застрелил он, — сказал Левинский.

Они приподняли его и положили прямо. Потом перевернули Вебера.

— Да, — воскликнул Вернер. — Похоже на то. Он получил две пули в спину.

Вернер осмотрелся вокруг и увидел револьвер.

— Вот он. — Вернер поднял оружие с земли. — Пустой. Пятьсот девятый стрелял из него.

— Надо его отсюда унести, — проговорил Бухер.

— Куда? Везде полно мертвецов. Больше се-

мидесяти сгорело. Более ста ранено. Оставьте его здесь, пока не освободится место. — Вернер посмотрел на Бухера отсутствующим взглядом.

— Ты что-нибудь понимаешь в автомобилях?

— Нет.

— Нам нужен… — Вернер осекся. — О чем я тут говорю? Вы же из Малого лагеря. Нам еще нужны люди для грузовиков. Пошли, Левинский!

— Да. Чертовски жалко его.

— Ты прав…

Они пошли обратно. Левинский еще раз оглянулся. Затем пошел за Вернером. Бухер остался. Утро выдалось серым. Продолжали гореть остатки барака. «Сгорело семьдесят человек. Если бы не Пятьсот девятый, их было бы больше», — подумал он.

Он еще долго стоял на месте. Тепло от тлеющего барака было, как противоестественное лето. Бухера обдувало теплом; он ощущал его и снова забывал. Пятьсот девятый был мертв. Ему показалось, погибло не семьдесят, а несколько сот.

Старосты быстро взяли лагерь в свои руки. В обед уже заработала кухня. Узники с оружием контролировали лагерные входы на случай возвращения эсэсовцев. Был создан и уже приступил к работе комитет из представителей всех бараков,

образована группа, которой поручили в кратчайшие сроки реквизировать продукты в округе.

— Я вас подменю, — сказал кто-то Бергеру. Бергер поднял взгляд. Он настолько устал, что ничего не соображал.

— Укол, — проговорил он, протянув руку. — Иначе я свалюсь. Я совсем плохо вижу.

— Я выспался, — ответил ему кто-то. — И теперь вас сменю.

— У нас почти нет больше обезболивающих средств. Нам они срочно нужны. Люди из города еще не вернулись? Мы их отправили по госпиталям.

Профессор Свобода из Брюнна, узник чешского отделения, видел, что происходит. Вконец измотанный автомат механически продолжал работу.

— Вы сейчас должны пойти спать, — громко проговорил он.

Воспаленные глаза Бергера блестели.

— Да-а, — проговорил он и снова склонился над обгоревшим телом.

Свобода взял его за руку.

— Спать! Я вас сменю! Вы должны поспать!

— Спать?

— Да, спать.

— Хорошо, хорошо. Барак… — Бергер на мгновение очнулся. — Барак сгорел…

— Идите на вещевой склад. Там для нас подготовили несколько кроватей. Отправляйтесь туда. А через несколько часов я вас разбужу.

— Часов? Если я прилягу, то уже не проснусь. Мне еще надо… свой барак… мне надо его…

— Пошли! — решительно произнес Свобода. — Вы достаточно поработали.

Он махнул ассистенту.

— Отведите его на вещевой склад. Там есть несколько кроватей для врачей.

Он взял Бергера за руку и повернул его.

— Пятьсот девятый… — проговорил Бергер словно в забытьи.

— Да, да, — ответил ему ничего не понимавший Свобода. — Конечно, Пятьсот девятый. Все будет в порядке.

У Бергера забрали белый халат и вывели из помещения. Свежий воздух подействовал на него, как мощная волна. Его качнуло, но он устоял. Однако волна продолжала его мотать.

— Бог мой, а я ведь оперировал, — воскликнул он. Бергер измерил своего ассистента пристальным взглядом.

— Естественно, — ответил тот. — Кто же еще?

— Я оперировал, — повторил Бергер.

— Ну, разумеется. Сначала ты сделал перевязку, намазал маслом и еще чем-то, а потом сразу взялся работать скальпелем. Тебе сделали два укола и дали четыре чашки какао. Ты им здорово пригодился. Во время штурма!

— Какао?

— Да. Все это парни берегли для себя. Какао, масло и еще Бог знает что!

— Оперировал. Действительно оперировал, — шептал Бергер.

— Еще как! Я бы не поверил, если бы не увидел собственными глазами. При твоем-то весе. Но сейчас тебе надо несколько часов отдохнуть. Ты получишь настоящую постель. От шарфюрера! Шикарную! Пошли.

— А я думал…

— Что?

— Я думал, что уже больше не смогу…

Бергер посмотрел на свои руки. Он перевернул ладони и опустил их.

— Да-да… — прошептал он. — Спать.

День выдался серым. Возбуждение нарастало. Бараки гудели, как улей. Это было особое время неопределенности, невостребованной свободы, когда воздух переполнялся надеждами, слухами

и щемящим темным страхом. Ведь в любой момент могли вернуться СС или организованные отряды гитлерюгенд. Хотя найденное на складе оружие было роздано узникам, но с появлением оснащенных рот могли произойти тяжелые бои, с помощью артиллерии лагерь вообще сровняли бы с землей.

Трупы перевозили в крематорий. Другой возможности не было: их пришлось там складывать штабелями, как дрова. Госпиталь был переполнен.

В середине дня в небе вдруг появился самолет. Он выбрался из низких облаков, подступавших к городу.

Среди заключенных это вызвало переполох.

— На плац для перекличек! Все на плац, кто может ходить!

Сквозь пелену облаков прорвались еще два самолета. Они летели по окружности вслед за первым.

Моторы ревели. Тысячи лиц смотрели в небо.

Самолеты быстро приближались. Старосты часть людей отправили из трудового лагеря на плац для перекличек. Там их построили в два длинных ряда, которые образовали гигантский крест. Левинский принес из казармы несколько

простыней; по четыре узника взяли полотна в руки и стали размахивать ими, стоя по краям перекрестных «балок».

Теперь самолеты уже кружили над лагерем. Они все больше снижались.

— Смотрите! — закричал кто-то. — Крылья! Опять!

Узники замахали полотнищами и руками. Они старались перекричать рев моторов. Многие срывали с себя куртки и размахивали ими. Летчики еще раз пролетели совсем низко, снова приветствуя лагерь покачиванием крыльев, и скрылись.

Толпа отхлынула. Люди поглядывали на небо.

— Шпик, — произнес кто-то. — После войны 1914 года были пакеты со шпиком из-за океана…

Потом внизу на дороге они вдруг увидели низкий и внушавший страх первый американский танк.

XXV

Сад растворился в серебристом свете. Благоухали фиалки. Фруктовые деревья у южной стены, казалось, были усеяны розовыми и белыми бабочками.

Альфред шел впереди, за ним, тихо ступая, следовали трое. Альфред указал на сарай. Трое американцев бесшумно подкрались.

Альфред толкнул ногой в дверь.

— Нойбауэр, — сказал он. — Выходите!

Из тепловатого сумрака донеслось бормотание, похожее на хрюканье.

— Что? Кто это?

— Выходите.

— Что? Альфред, это ты?

— Да.

Нойбауэр снова хрюкнул.

— Черт возьми! Тяжелый сон! Мне что-то приснилось. — Он откашлялся. — Чушь какая-то снилась. Это ты мне сказал «выходите»?

Один из солдат бесшумно встал рядом с Альфредом. Вспыхнул карманный фонарик.

— Руки вверх! Выходите отсюда!

В бледном свете фонарика они увидели полевую кровать, на которой сидел полураздетый Нойбауэр. Беспрестанно мигая, он таращил глаза на резкий круг света.

— Что-о? — спросил он злобно. — Что это такое? Кто вы?

— Руки вверх! — проговорил американец. — Ваше имя Нойбауэр?

Нойбауэр слегка поднял руки и кивнул.

— Начальник концентрационного лагеря Мелльерн? Нойбауэр снова кивнул.

— Выходите!

Нойбауэр видел наставленный на него темный ствол автоматического пистолета. Он встал и так высоко поднял руки, что дрожащие пальцы уперлись в низкий потолок сарая.

— Мне надо одеться.

— Выходите, вам говорят!

Нойбауэр нерешительно сошел с места. Он был в рубашке и штанах, на ногах сапоги. Он выглядел мрачным и заспанным. Один из солдат быстро ощупал его.

Нойбауэр бросил взгляд на Альфреда.

— Это ты их сюда привел?

— Да.

— Иуда!

— Но вы не Христос, Нойбауэр, — медленно возразил Альфред. — А я не нацист.

Вернулся американец, который был в сарае. Он покачал головой.

— Пошли, — распорядился говоривший по-немецки. Это был капрал.

— Можно я надену мундир? — спросил Нойбауэр. — Он висит в сарае. За крольчатником.

Капрал на мгновение замешкался. Потом он ушел и вернулся со штатской курткой в руках.

— Пожалуйста, не эту, — объяснил Нойбауэр. — Я ведь солдат. Пожалуйста, мундир моей формы.

— Вы не солдат. ТИРЕ Нойбауэр моргнул.

— Это моя партийная форма.

Капрал вернулся и принес мундир. Он ощупал его и передал Нойбауэру. Тот надел мундир, застегнул пуговицы, вытянулся и сказал:

— Оберштурмбаннфюрер Нойбауэр. Я в вашем распоряжении.

— Хорошо, хорошо. Вперед.

Они шли по саду. Нойбауэр заметил, что неправильно застегнул мундир. Он еще раз расстегнул его и поправил пуговицы. «Все в последний момент пошло не так. Вебер, предатель, своим поджогом хотел ему подставить подножку. Он предпринял самочинные действия, это нетрудно

будет доказать». Вечером Нойбауэра уже не было в лагере. Он узнал об этом по телефону. Тем не менее чертовски горькая история, именно теперь. А потом еще Альфред, второй предатель. Он просто не явился. Нойбауэр остался без транспорта, когда собирался бежать. Войска уже ушли — в лес сбежать он не мог и спрятался в саду. Думал, здесь его искать не станут. Хорошо еще, что быстро сбрил усы-щеточку под Гитлера. Альфред, вот негодяй!

— Садитесь вот сюда, — сказал капрал, указывая на сиденье.

Нойбауэр залез в машину. «Они, наверно, называют это джип, — подумал он. — Люди приветливы. Скорее даже корректны. Один из них, возможно, американец немецкого происхождения». Нойбауэр слышал о немецких братьях за границей. Союз у них там или что-то в этом роде.

— Вы хорошо говорите по-немецки, — осторожно заметил он.

— Надо думать, — холодно ответил капрал. — Я ведь из Франкфурта.

— О! — только и выговорил Нойбауэр. Видимо, это действительно чертовски невезучий день. Вот и кроликов стащили. Когда он пришел в крольчатник, дверцы в клетку были раскрыты.

Это был дурной знак. «Наверно, их сейчас уже жарит на огне какой-нибудь мерзавец», — подумал Нойбауэр.

Лагерные ворота были широко распахнуты. На скорую руку пошитые флаги висели перед бараками. По большому громкоговорителю передавали объявления. Вернулся один из грузовиков с бидонами, полными молока.

Перед комендатурой остановилась машина, в которой привезли Нойбауэра. Ее встречал американский полковник с несколькими офицерами; полковник отдавал приказания. Нойбауэр вышел из машины, поправил свою форму и сделал шаг вперед.

— Оберштурмбаннфюрер Нойбауэр в вашем распоряжении. — Он приветствовал по-военному, без «Хайль Гитлер».

Полковник посмотрел на капрала.

— Is this the son of a bitch? — спросил полковник. — Put him to work over there. Shoot him, if he makes a false move.[note 3]

— Так точно, сэр.

Нойбауэр напряженно вслушивался.

— Пошли! — сказал капрал. — Работать. Уби-

---

note notes: Note3

Это тот самый сукин сын? Отправьте его туда, пусть поработает. Если будет вести себя неправильно, пристрелите его *(англ.)*.

рать трупы.

Нойбауэр все еще надеялся на нечто другое.

— Я — офицер, — пролепетал он. — В ранге полковника.

— Тем хуже.

— У меня есть свидетели! Я действовал гуманно! Спросите людей из лагеря!

— Я думаю, нам потребуется несколько человек, чтобы люди в лагере не разорвали вас на куски, — заметил капрал. — Меня бы это устроило. Пошли, вперед!

Нойбауэр еще раз посмотрел на полковника. Тот больше не обращал на него внимания. Двое шли рядом с ним, третий сзади.

Через несколько шагов его узнали. Трое американцев расправили плечи. Они ожидали бури и теснее сжались вокруг Нойбауэра. Тот начал потеть. Он смотрел прямо перед собой; по его походке было видно, что ему одновременно хотелось шагать и быстрее и медленнее.

Но ничего не происходило. Узники останавливались, провожая Нойбауэра взглядом. Никто не накинулся на него; люди даже образовали специально для него коридор. Никто не приблизился к нему. Никто ничего не сказал. Никто не накричал на него, не швырнул в него камнем. Никто не

бросился с палкой. Они только смотрели на него. Образовав коридор, люди смотрели и смотрели на него весь долгий путь до Малого лагеря.

Вначале Нойбауэр облегченно вздохнул, потом стал усиленно потеть. Он что-то бормотал, не поднимая глаз. Но он чувствовал на себе пристальные взгляды, ощущал их на себе, как бесчисленные глазки в огромной тюремной двери, словно он уже за решеткой, а все вокруг наблюдают за ним холодно и внимательно.

Его бросило в жар. Он ускорил шаг, взгляды людей прилеплялись к нему все сильней. Он ощущал их на своей коже. Они были, как пиявки, сосущие кровь. Он отряхнулся. Однако не мог стряхнуть их с себя. Они прошли сквозь его кожу и повисли на его жилах.

— Я только… — бормотал он. — Долг… я ничего не… я всегда был… ну что им, собственно, надо?..

Нойбауэр взмок, когда они добрались до того места, где стоял двадцать второй барак. Шестеро пойманных эсэсовцев работали там вместе с несколькими специальными дежурными. Неподалеку стояли американские солдаты с автоматами в руках.

Нойбауэр как-то резко остановился. Он увидел перед собой на земле несколько черных скеле-

тов.

— Что… что это такое?

— Не прикидывайтесь дурачком, — с гневом ответил капрал. — Это тот самый барак, который вы подожгли. Здесь должно быть еще, по крайней мере, тридцать трупов. Пошли раскапывать кости!

— Такой приказ… я не отдавал.

— Ну, разумеется.

— Меня здесь не было… ничего об этом не знаю. Это самовольно сделали другие…

— Ну, конечно. Всегда другие. А те, кто сдох здесь за все эти годы? К этому вы тоже не имеете отношения?

— Это был приказ. Долг…

Капрал обратился к стоявшему рядом человеку.

— В ближайшие годы чаще всего будут звучать вот эти отговорки: «Я действовал по приказу» и «Я ничего об этом не знал».

Нойбауэр не слушал его.

— Я всегда старался делать все, что было в моих силах…

— А это, — горько заметил капрал, — станет уже третьей отговоркой! Пошли! — вдруг воскликнул он. — Пора браться за дело! Вытаскивайте трупы

из-под развалин. Думаете, это просто — удержаться, чтобы не переломать вам кости?

Нойбауэр нагнулся и стал неуверенно ковырять в развалинах.

Их подвозили в тачках, на грубо сколоченных носилках, складывали в коридорах казармы СС, срывали с них завшивевшие лохмотья, сжигали рвань, после чего доставляли в душевые СС.

Многие не понимали, что с ними собирались сделать; они тупо сидели и лежали в коридорах. Некоторые ожили только тогда, когда пар прорвался сквозь открытые двери. Они закряхтели и в страхе стали отползать назад.

— Мыться! Мыться! — кричали их товарищи. — Вам надо помыться.

Но все было тщетно. Вцепившись друг в друга, скелеты со стоном потянулись, как раки, к выходу. Для них мытье и пар были синонимом газовых крематорских камер. Им показали мыло и полотенце. Никакой реакции. Они и это уже проходили: так заманивали узников в газовые камеры. Только после того, как мимо них провели первую группу помытых узников и те кивками и словами подтвердили, что это горячая вода и купание, а не газ, они успокоились.

Пар клубами валил с облицованных кафелем

стен. Теплая вода была, как теплые руки. Погрузившись в эту воду, узники, тонкими руками и распухшими суставами приподымались и плескались в ней. Всякое затвердевшее на теле дерьмо стало отмокать. Скользившая по иссушенной коже мыльная пена растворяла грязь.

Тепло проникало глубже, чем до костей. Теплая вода! Они забыли, что это такое. Они лежали в воде, осязая ее, и для многих она впервые стала символом свободы и избавления.

Бухер сидел рядом с Лебенталем и Бергером. Тепло пропитывало их. Это было какое-то животное ощущение счастья. Счастье возрождения; это была жизнь, которая возникла из пепла и которая теперь возвращалась в замерзшую кровь и в доведенные до изнеможения клетки. В этом было что-то растениеподобное; водяное солнце, которое ласкало и будило считавшиеся мертвыми зародыши. Вместе с грязными корками кожи растворялись грязные корки души. Они ощущали защищенность. Защищенность в элементарном: в тепле. Как пещерный человек перед первым огнем.

Им раздали полотенца. Они насухо вытирались, с удивлением рассматривая свою кожу. Она все еще была бледной и пятнистой от голода, им

же она казалась нежно-белой.

Им принесли со склада чистые вещи. Они ощупывали и разглядывали их, прежде чем надеть. Потом их отвели в другое помещение. Мытье оживило, но вместе с тем очень утомило. Хоть и вялые, они были готовы поверить в другие чудеса.

Помещение, уставленное кроватями, их мало удивило. Окинув взглядом кроватные ряды, они хотели проследовать дальше.

— Вот, — сказал сопровождавший их американец. Они уставились на него.

— Это для нас?

— Да. Чтобы спать.

— Для какого количества?

Лебенталь показал на ближайшую кровать, потом на себя и Бухера и спросил:

— Для двоих? — Потом показал на Бергера и поднял три пальца. — Или для троих?

Американец ухмыльнулся. Он подошел к Лебенталю и тихонько подтолкнул его к первой кровати, потом Бухера — ко второй, а Бергера и Зульцбахера — к стоявшим рядом.

— Вот так, — проговорил он. — Каждому по кровати! С одеялом!

— Я сдаюсь, — объявил Лебенталь. — Подушки

тоже есть.

Им дали гроб. Это был легкий черный ящик нормальных размеров.

Но для Пятьсот девятого он оказался чересчур широким. Поэтому можно было бы запросто положить рядом кого-нибудь еще. Впервые за долгие годы он один получил так много места.

Там, где стоял двадцать второй барак, ему вырыли могилу. Решили, что это самое подходящее место для него. Когда его туда принесли, уже вечерело. Лунный серп повис на пепельном небе. Люди из трудового лагеря помогали опустить гроб в могилу.

У них была только маленькая лопата. Каждый подходил и бросал свой ком земли в могилу. Агасфер подошел слишком близко к краю могилы и соскользнул вниз. Они вытащили его наверх. Другие узники помогли им закопать могилу.

Они возвращались. Розен нес лопату. Когда проходили мимо двадцатого барака, оттуда как раз выносили труп. Двое эсэсовцев протаскивали его через дверь. Розен остановился перед ними. Они хотели его обойти. Впереди шел Ниман, наркоман. Американцы поймали его за городом и привезли сюда. Это был шарфюрер, тот самый, от которого Пятьсот девятый спас Розена. Розен

отошел немного назад, поднял лопатку и ударил ею Нимана в лицо. Он замахнулся еще раз, но тут подскочил дежурный американский солдат, который осторожно взял лопату из его дрожащих рук.

— Come, come, we'll take care of that later.note 4

Розен дрожал. Ниману не очень досталось; только ссадина на лице. Бергер взял Розена за руку.

— Пошли. На это у тебя не хватит сил.

Розен разрыдался. Зульцбахер взял его за другую руку.

— Его будут судить, Розен. За все.

— Убить! Убить их надо! Иначе все впустую! Иначе они снова вернутся!

Они оттащили его в сторону. Американец отдал Бухеру лопатку. Они пошли дальше.

— Странно, — проговорил Лебенталь некоторое время спустя. — А ты ведь всегда был одним из тех, кто не хотел мести.

— Оставь его, Лео.

— Я его уже оставил.

Каждый день узники покидали лагерь. Угнанных в Германию для принудительных работ

---

note notes: Note4

Иди, иди, мы позаботимся об этом позже *(англ.).*

иностранных рабочих, которые могли ходить, вывозили группами. Часть поляков осталась. Они не хотели попасть в русскую зону. Почти все из Малого лагеря были истощены; их надо было подкормить. Ну а многие просто не знали, куда ехать. Их родственники были рассеяны и убиты; их собственность разворована; их родные места — разорены. Они были свободны, но они не знали, что делать с этой свободой. Они оставались в лагере. У них не было денег. Они помогали приводить в порядок бараки. Им дали кровати, их кормили. Они ждали и пока формировались в группы.

Они понимали: ничто и нигде их не ждет. Были и такие, кто так не считал. Поэтому они отправлялись на поиски. Каждый день их видели, как в надежде на получение продуктовых карточек они спускались в город с удостоверением гражданской администрации и военных властей лагеря в кармане и с кой-какими неопределенными надеждами в сердце.

Многое сложилось по-другому. Перспективы на освобождение казались просто немыслимыми, поэтому большинство просто не задумывалось об этом. Теперь же эта перспектива неожиданно стала явью, а за ней вдруг не оказалось земного

рая с чудесами, обретением, воссоединением и волшебным смещением минувших лет в то довоенное время. Эта перспектива стала явью, однако за нею тянулся шлейф одиночества, печальных воспоминаний и потерянности, а впереди — пустыня и зыбкая надежда. Они спускались с горы. И названия нескольких мест, нескольких других лагерей, имена нескольких человек, а также иллюзорное «может быть» были всем тем, с чем связывали они свои надежды. Они надеялись разыскать одного, а может быть, двух, но чтобы всех — на это не смел рассчитывать почти никто.

— Лучше уйти отсюда, как только сможешь, — сказал Зульцбахер. — Перемен ждать не приходится, и чем дольше здесь проторчишь, тем сложнее будет. Не успеем оглянуться, как окажемся в лагере — для людей, которые не знают, куда же им, в конце концов, надо.

— Ты уверен, что все это выдержишь?

— Я набрал десять фунтов веса.

— Этого недостаточно.

— Я не стану особо напрягаться.

— И куда ты собираешься? — поинтересовался Лебенталь.

— В Дюссельдорф. Поищу там свою жену…

— А как думаешь добраться до Дюссельдорфа? Туда уже ходят поезда?

Зульцбахер пожал плечами.

— Я не знаю. Но здесь еще двое, им надо в те же места. В Золинген и Дуйсбург. Будем добираться вместе.

— Это твои старые знакомые?

— Нет. Но это уже что-то. Главное, не быть одному.

— Да, это верно.

— Я тоже так думаю. Он пожал другим руки.

— А есть что будешь? — спросил Лебенталь.

— Запаса хватит на два дня. В дороге обратимся за помощью к американским властям. Как-нибудь перебьемся.

Вместе с двумя другими, которым надо было в Золинген и Дуйсбург, он стал спускаться вниз с горы. Только один раз он махнул рукой. И исчез из вида.

— В общем он прав, — заметил Лебенталь. — Я тоже ухожу. Сегодня вечером я уже буду в городе. Мне надо поговорить с одним человеком, который готов стать моим компаньоном. Мы собираемся открыть дело. У него есть капитал. У меня — опыт.

— Правильно, Лео.

Лебенталь достал из кармана пачку американских сигарет и угостил всех.

— Это будет крупное дело, — объяснил он. — Американские сигареты. Как после той войны. Важно вовремя начать.

Он стал разглядывать цветную упаковку.

— Лучше всяких денег, скажу вам. Бергер улыбнулся.

— Лео, — сказал он, — с тобой все в порядке.

— Я никогда не считал себя идеалистом. — Лебенталь недоверчиво посмотрел на него.

— Не обижайся. Я это говорю без задних мыслей. Ты довольно часто помогал нам.

Лебенталь улыбнулся, польщенный.

— Если что-то можешь, надо делать. Всегда хорошо иметь рядом бизнесмена, знающего толк в практическом деле. Если я чем-нибудь могу вам быть полезным…

— А какие у тебя планы, Бухер? Ты хочешь остаться здесь?

— Нет. Я жду, пока Рут немного окрепнет.

— Ясно. — Лебенталь достал из кармана американскую авторучку и что-то написал. — Вот мой адрес в городе. Если…

— Откуда у тебя американская ручка? — спросил Бергер.

— Обмен. Американцы гоняются за лагерными сувенирами.

— Что?

— Они собирают сувениры. Все, что угодно. Пистолеты, значки, кнуты, флаги — это выгодный бизнес. Я хорошенько позаботился и запасся всем необходимым, что их интересует.

— Лео, — сказал Бергер. — Хорошо, что ты есть. Лебенталь кивнул, нисколько не удивившись.

— Пока что ты побудешь здесь?

— Да, я останусь здесь.

— Значит, иногда мы будем видеться. Ночью я в городе, а чтобы поесть, буду приезжать сюда наверх.

— Я так и думал.

— Ясное дело. Сигарет у тебя хватит?

— Нет.

— Вот. — Лебенталь вынул из кармана две целых пачки и дал Бергеру и Бухеру.

— Что у тебя еще есть? — спросил Бухер.

— Консервы. — Лебенталь посмотрел на свои часы. — Мне пора…

Он достал из-под своей кровати новый американский плащ и надел его. По этому поводу никто уже не сказал ни слова. Если бы у ворот его ждала машина, это тоже никого бы не удивило.

— Не потеряйте адрес, — сказал он Бухеру. — Было бы жаль, если бы мы больше не встретились.

— Не потеряем.

— Мы уходим вместе, — сказал Агасфер. — Я с Карелом.

Перед ними стоял Бергер.

— Побудьте здесь еще пару недель, — попросил Бергер. — Вы ведь еще недостаточно окрепли,

— Мы хотим прочь отсюда.

— Вы знаете, куда?

— Нет.

— Почему же тогда собираетесь уходить?

Агасфер изобразил неопределенный жест.

— Мы достаточно долго пробыли здесь.

На нем была старомодная темно-синяя крылатка, своего рода пальто с пелериной, не доходившей до пояса. Ее достал ему Лебенталь, который уже открыл дело. Эта крылатка принадлежала одному учителю гимназии, погибшему при последнем авианалете. На Кареле был полный набор американского обмундирования.

— Карелу надо уходить отсюда, — сказал Агасфер. Подошел Бухер. Он внимательно осмотрел костюм Карела.

— Что с тобой случилось?

— Американцы его усыновили. Полк, который

первым сюда прорвался. Они послали за ним джип. Я с ними немного проеду.

— Они тебя тоже усыновили?

— Нет. Просто они меня немного подвезут.

— А потом?

— Потом? — Агасфер окинул взглядом раскинувшуюся под ними долину. Его пальто развевалось на ветру. — Тут столько лагерей, где у меня были знакомые…

Бергер посмотрел на него. «Лебенталь одел его, как надо, — подумал он. — Сейчас тот похож на пилигрима. Он будет странствовать по лагерям. От одной могилы к другой. Только кто из узников мог позволить себе роскошь иметь могилу? Тогда что он собирается искать?»

— Знаешь что, — проговорил Агасфер. — Иногда встречаешь людей совершенно неожиданно где-нибудь на улице.

— Да, старик.

Они посмотрели обоим вслед.

— Странно, что мы все так разбредемся, — произнес Бухер.

— Ты тоже скоро уходишь отсюда?

— Да. Но мы не можем просто так терять друг друга.

— Ничего не поделаешь, — проговорил Бер-

гер. — Ничего не поделаешь.

— Нам надо будет снова встретиться. После всего, что было здесь. Когда-нибудь.

— Нет.

Бухер поднял глаза.

— Нет, — повторил Бергер. — Мы не вправе этого забывать. Однако мы не должны делать из этого культ. Иначе мы навсегда останемся в тени этих проклятых сторожевых башен.

Малый лагерь опустел. Его хорошенько вычистили, а обитателей разместили в трудовом лагере и в казармах СС. Для этого потребовались потоки воды, мыла и дезинфицирующих средств; однако над ними все еще висел запах смерти, грязи и беды. В ограде из колючей проволоки были сделаны проходы.

— Ты уверена, что у тебя хватит сил? — спросил Бухер Рут.

— Да.

— Тогда отправимся в путь. Какой сегодня день?

— Четверг.

— Четверг. Хорошо, что дни снова получили имена. Здесь у них были только числа. В неделе семь. Все похожие один на другой.

Лагерная администрация выдала им докумен-

ты.

— Куда же нам отправиться? — спросила Рут.

— Туда. — Бухер показал на склон горы, где стоял белый домик. — Сначала туда, посмотрим на него вблизи. Он нам принес удачу.

— А потом?

— Потом? Вернемся сюда. Здесь дадут что-нибудь поесть.

— Давай не будем возвращаться Больше никогда.

Бухер удивленно посмотрел на Рут.

— Хорошо. Подожди. Я заберу наши вещи.

Их было немного; зато у них был хлеб на несколько дней и две банки сгущенного молока.

— Может, действительно пойдем? — спросила она.

Бухер увидел напряжение в ее лице.

Они простились с Бергером и направились к проходу, сделанному в ограждении из колючей проволоки. Они уже несколько раз были за пределами лагеря, хотя и не очень далеко. Но каждый раз, неожиданно оказавшись на другой стороне, они вновь испытывали одинаковое волнение. Им казалось, что здесь незримо присутствуют и электрический ток, и пулеметы, точно пристреленные к голой полоске земли вокруг. Ими

овладел страх, когда они сделали первый шаг по ту сторону ограждения из колючей проволоки. Но там им открылся бесконечный мир.

Они медленно шли рядом. Был мягкий пасмурный день. Не один год им приходилось ползать, бегать и пробираться крадучись. Теперь, распрямившись, они шагали спокойно, не страшась. Никто больше не стрелял сзади. Никто не кричал. Никто не избивал их.

— Это непостижимо, — проговорил Бухер. — Каждый раз снова.

— Да. От этого становится прямо-таки страшно.

— Не оглядывайся. Тебе хотелось обернуться?

— Да. Это страх все дает о себе знать. Словно кто-то сидит в голове и крутит ею.

— Давай попробуем это забыть, пока мы способны на это.

— Ладно.

Продолжая идти, они пересекли одну дорогу. Их взгляду открылся зеленый луг, усеянный желтыми примулами. Они часто видели их из лагеря. На какой-то миг Бухер вспомнил жалкие высохшие примулы Нойбауэра около двадцать второго барака. Он стряхнул с себя эти воспоминания.

— Давай пройдем через луг.

— А это можно?

— Я считаю, нам можно многое. К тому же мы не желаем больше испытывать страх.

Они ощущали траву под своими ногами и на своих ботинках. Ведь и этого они были лишены. Их уделом была жесткая земля плаца для перекличек.

— Свернем-ка влево, — предложил Бухер.

Они увидели куст орешника и, раздвинув ветви, ощутили его листву и почки. И это было для них новым.

— Пошли, теперь можно вправо, — сказал Бухер. Со стороны могло показаться ребячеством, но они испытывали от этого глубокое удовлетворение. Оба могли делать, что хочешь. Никто им ничего не приказывал. Никто не кричал и не стрелял. Они обрели свободу.

— Это, как во сне, — проговорил Бухер. — Страшно только, что вдруг проснешься и снова перед тобой барак и вся эта мерзость.

— Здесь и воздух другой. — Рут глубоко вздохнула. — Воздух-то живой. Не мертвый.

Бухер внимательно посмотрел на Рут. На ее лице появился небольшой румянец, а глаза вдруг заблестели.

— Да, это живой воздух. Он пахнет. Он не воня-

ет. Они остановились около тополей.

— Здесь можно присесть, — сказал он. — Никто нас не прогонит. Если мы захотим, можно даже потанцевать.

Они присели. Стали разглядывать жуков и бабочек. Ведь в лагере были только крысы и голубые мухи. До них доносилось журчание ручья рядом с тополями. В прозрачном ручье быстро текла вода. В лагере им всегда не хватало воды. Здесь же она просто текла, без пользы. Ко многому приходилось привыкать заново.

Они прошли дальше вниз по откосу. Им некуда было спешить, и они часто отдыхали. Потом показалась лощина, и когда они, наконец, оглянулись назад, лагеря уже не было видно.

Они долго сидели и молчали. Лагерь и разрушенный город исчезли. Они видели перед собой только луг, а над ним мягкое небо. Они чувствовали тепловатый ветерок на своих лицах, и казалось, что он сдувает черную паутину прошлого и отбрасывает ее теплыми руками. «Наверное, именно так все должно начинаться, — подумал Бухер. — С самого начала. Не с озлобления, воспоминаний и ненависти. С самого простого. С ощущения жизни. Не с того, что ты все же жив, как в лагере. Просто, что продолжаешь жить».

Он почувствовал, что это не бегство. Бухер помнил, что так желал от него Пятьсот девятый: чтобы он был одним из тех, кто не сломается и все преодолеет для того, чтобы свидетельствовать и бороться. Вместе с тем он неожиданно почувствовал, что ответственность, которую на него возложили мертвые, только тогда перестанет быть непосильной ношей, когда прибавится это ясное глубокое ощущение жизни и он воспримет его. Это ощущение понесет его и придаст удвоенную силу; как выразился Бергер при прощании: «Не забывать и вместе с тем не допустить, чтобы эти воспоминания тебя погубили».

— Рут, — проговорил он, задумавшись. — Если начать издалека, так, как мы, нам ведь уготовано еще много счастья.

Сад был пуст; но приблизившись к белому домику, они увидели, что за ним разорвалась бомба. Она разрушила всю его тыльную часть. Не пострадал только фасад. Сохранилась даже резная входная дверь. Они открыли ее, но она вела лишь к куче мусора.

— Это никогда не было домом. Все время.

— Хорошо, что мы не знали о разрушении.

Они посмотрели на него. Они верили — пока стоит этот дом и они будут целы. Они верили в

иллюзию. В развалину с фасадом. В этом заключалась ирония и одновременно определенное утешение. Это помогало им, и это было главное.

Они не увидели там мертвых. Скорее всего, дом покинули. Сбоку под развалинами они обнаружили узкую дверь на кухню, Печь оказалась целой, на ней стояло даже несколько сковородок и кастрюль. Печную трубу можно было легко закрепить и протянуть через разбитое окно.

— Ее можно затопить, — сказал Бухер. — На дворе сколько хочешь дров.

Он поковырялся в мусоре.

— Здесь внизу есть матрацы. Через несколько часов их можно будет откопать. Сразу же и начнем.

— Но это не наш дом.

— Он ничей. Пару дней можно здесь пожить. Для начала.

Вечером у них уже было на кухне два матраца. Они нашли также запачканные известью одеяла и крепкий стул. В ящике стола было несколько вилок, ложек и нож. В печи горел огонь. Дым через печную трубу выходил прямо в окно. Бухер продолжал рыться в развалинах.

Рут нашла осколок зеркала и незаметно сунула его в карман. Сейчас она стояла у окна и смотре-

лась в это зеркальце. Рут слышала крики Бухера и отвечала ему. Но она не отрывала глаз от своего отражения. Седые волосы, ввалившиеся глаза, скорбный рот с большими щербинами. Она долго и безжалостно всматривалась в зеркало. Потом швырнула его в огонь.

Вошел Бухер. Он еще разыскал подушку. А небо стало цвета зеленого яблока, опустился очень тихий вечер. Когда они смотрели через окно с выбитыми стеклами, до их сознания вдруг дошло, что они одни. Они почти утратили это восприятие. Лагерь — это неизменно толпы людей, переполненный барак и даже переполненный сортир. Хорошо было иметь товарищей, но так угнетала невозможность побыть наедине. Это было, как каток, который сплющил собственное «я» в коллективное «мы».

— Как-то странно вдруг оказаться наедине, Рут.

— Да. Словно из всех людей мы остались последними.

— Не последними. А первыми.

Они разложили матрацы так, чтобы можно было видеть небо сквозь распахнутую дверь. Открыли консервы и стали есть; потом они сели рядышком и смотрели, как над кучей мусора догорал закат.

1952 г.